

ДЖОРДЖ ГОРДОН БАЙРОН



БАЙРОН

1



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1974

ДЖОРДЖ ГОРДОН
БАЙРОН

✧ СОЧИНЕНИЯ В ТРЕХ ТОМАХ ✧

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1974

ДЖОРДЖ ГОРДОН
БАЙРОН

✧ СОЧИНЕНИЯ В ТРЕХ ТОМАХ ✧
ТОМ ПЕРВЫЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ

*

ПОЭМЫ

Переводы с английского

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1974

И(Англ)
Б 17

Редакционная коллегия:
О. Афонина, М. Кургинян, В. Левик

Вступительная статья
М. Кургинян

Комментарии
О. Афонинной

Оформление художника
А. Лепятского

Б $\frac{70404-121}{028(01)-74}$ 158-74

© Издательство «Художественная литература», 1974 г.



Дж. Г. Байрон
Портрет худ. Сэндерса. 1807 г.



ПУТЬ БАЙРОНА-ХУДОЖНИКА

Властитель наших дум...— так вскоре после смерти Байрона сказал о нем Пушкин в стихотворении «К морю». Созданный в пушкинских строках облик великого английского поэта — возвышен, поэтичен и исторически точен.

Байрон пленял своих современников, как идущий новыми путями художник, как передовой мыслитель, как яркая, самобытная личность.

Поэт родился 22 января 1788 года. Отец его, блестящий аристократ, промотал большую часть состояния и вскоре умер. Детство Байрона прошло в Шотландии, на родине матери — Кэтрин Гордон, дочери богатых землевладельцев — в маленьком городке Эбердине. Байрону едва исполнилось десять лет, когда после смерти двоюродного деда он унаследовал старинный замок Ньюстед и титул лорда, дающий право, достигнув совершеннолетия, занять место в верхней палате английского парламента.

Находясь в закрытой школе в Харроу, а затем в Кэмбриджском университете, Байрон пишет стихи и в 1809 году дает первый бой ополчившимся на его ранние произведения косным и необъективным критикам. В том же году Байрон отправляется в путешествие на Восток: по Португалии, Испании, Греции, Албании, Турции.

Годы после возвращения (1812—1816) — пора роста славы Байрона, вышедшей далеко за пределы Англии. В это же время

формируются его резко оппозиционные, демократические убеждения, которые нашли отражение не только в творчестве, но и в речах, произнесенных в парламенте (1812—1813 гг.).

Первое выступление было посвящено защите рабочих-луддитов и прозвучало как обвинение господствующим классам Англии. «Нигде, даже под игом самой деспотической державы, я не видел столь безвыходной, столь отчаянной нужды, какую я обнаружил, вернувшись к себе на родину...» — говорил Байрон. Вторая речь освещала бесправие ирландского народа и зло высмеивала лицемерие английских законодателей. Третье, последнее, выступление ставило вопрос о неприкосновенности личности парламентского депутата. Не только проблемы и темы, затронутые в речах, но и некоторые стилиевые особенности, присущие Байрону-оратору (например, сочетание риторичности и разговорности, пафоса и иронии), найдут близкие соответствия и дальнейшее обогащение в его поэтическом творчестве.

В 1815 году Байрон женился на Анне Изабелле Милбэнк. Период очень недолгого супружества кончился уходом жены, разлукой с маленькой дочерью и открытой войной, которую объявил ему, пользуясь этой семейной драмой как поводом для сведения политических и литературных счетов, весь «высший свет» английского общества. Навсегда уехав из Англии, Байрон жил сначала в Швейцарии, где началась его дружба с Шелли, потом в Италии (в Венеции, Равенне, Пизе, Генуе). В 1819 году он сближается с карбонариями — членами распространенных тогда по всей стране тайных организаций, готовящими восстание против австрийского владычества в Италии. Отношение Байрона к этому движению нашло отражение во многих его произведениях, в дневнике и письмах тех лет, а также в обращении «К неаполитанским повстанцам» (1820 г.).

После разгрома карбонариев (1822 г.) Байрон принял участие в освободительной борьбе греческого народа против Турции. Вооружив на собственные средства отряд греческих патриотов, он отправляется в Грецию. Достигнув конечного пункта своего пути — города Миссолонги, Байрон заболел тяжелой лихорадкой, но не согласился покинуть лагерь. Болезнь осложнилась, и 19 апреля 1824 года, едва достигнув тридцати шести лет, Байрон умер в осажденном греческом городе.

Творчество Байрона было с первых же шагов безраздельно связано с проблемами своего времени. Новизну содержания, новые подходы к изображению жизни, открытия в области художественных средств и форм несло в себе каждое его произведение,

утверждая принципы романтизма — этого «первого детища», как назвал его Белинский, литературы XIX века.

Вместе с тем Байрон, так же как другие романтики, отправлялся от очень широких традиций. Романтики в большей мере, чем их предшественники — просветители, — обращались к национальной старине, к народному творчеству, к литературе средних веков и Возрождения. Живя и творя в пору глубоких изменений, происшедших в общественной и духовной жизни Европы в результате французской революции, романтики ощутили свою эпоху как закономерный этап в духовном развитии человечества, общества и личности. Им было свойственно стремление проникнуть в «тайны» истории, в природу действующих в ней объективных, «роковых», как они считали, сил, познать степень их власти над человеком. Так понимаемый историзм становится одним из главных принципов романтического мироощущения и романтической поэтики.

Общим идейным истоком романтизма было неприятие сложившегося после французской революции буржуазного общества. Но критика восторжествовавшей буржуазной «прозы» велась с противоположных позиций. Идеал реакционных романтиков — разрушенный в ходе революции феодальный мир, идеализируемый в своей патриархальной «чистоте», «духовности» и «человечности». Идеал революционного романтизма — мир, освобожденный от тирании и рабства, свободная, духовно богатая личность. Романтики этой магистральной линии воплотили не только разочарование в результатах французской революции, но и пафос непримиримого протеста, исторического оптимизма. Питательной почвой их творчества были вспыхивающие тогда по всей Европе, легко побеждаемые реакцией, но непримиримые по отношению к существующему строю революционные и национально-освободительные движения.

Ведущие художники романтизма создали творческий метод и поэтику, способные раскрыть важные стороны современной исторической ситуации, поднять проблемы «всеобщих» судеб человечества, углубиться во внутренний мир человека, в анализ его нравственных возможностей. Метод и поэтика романтизма обнаружили тенденцию к бурной эволюции, к перерастанию собственных пределов, к предвосхищению некоторых принципов, средств и форм познания и отражения жизни, последовательный переход к которым произошел в критическом реализме, знаменующем принципиально новый этап литературного развития.

В первых лирических опытах Байрона, изданных до путешествия на Восток, нетрудно обнаружить следы разнородных влияний.

Гедонистически-эротические мотивы, характерные для Томаса Мура, звучат, например, в стихотворениях «К Элизе», «Подражание Катулле», «Первое лобзание любви»; светская изысканность Роджерса ощущается в строках «К Анне», «В альбом»; легендарно-героическая «народность», идущая от Макферсона, дает себя знать в таких стихотворениях, как «Прощание с Ньюстедским аббатством», «Лохнагар», «Дамет»; рассудительно-дидактические нотки, присутствующие, например, в стихотворениях «Гранта», «Джорджу, графу Делавару», напоминают о высоко ценимой Байроном поэзии Александра Попа и всей просветительской традиции вообще. Еще более явственно выступает воздействие на юного Байрона поэзии английского и европейского сентиментализма («Когда бы я мог в морях пустынных...», «Стихи, написанные под старым вязом на кладбище Харроу»), а также некоторых стилевых особенностей поэзии Роберта Бернса — ее непринужденной разговорности, смелой прямоты при обращении к «запретным темам», легкой иронии. Здесь на память приходят прежде всего такие стихи Байрона, как «Строки мистеру Ходжсону», «Наполняйте стаканы!», «К моему сыну», «Эпитафия самому себе».

Само разнообразие традиций, от которых шел юный поэт, говорит о том, что ни одна из них его не поработила.

Поэт мечтает о полной тревоге и буре, содержательной, яркой жизни. Он ощущает в себе огромные духовные силы, способность пойти против течения, бросить вызов царящим в обществе предрассудкам («Строки, адресованные преподобному Бичеру...», «К Музе вымысла»). Стремление преодолеть всякие утешительные иллюзии о жизни, о людях, о любви, готовность вынести нравственные испытания — таков пафос ранней поэзии Байрона. С наибольшей силой он прозвучал в ту пору во многих стихах, посвященных Мэри Чаворт («Воспоминание», «Ты счастлива!», «Стансы к некоей даме, написанные при отъезде из Англии»). Отношения с Мэри остаются одной из тем и более поздней лирики Байрона («Сон», «Поединок»).

Бесплодные места, где был я сердцем молод,
Анслейские холмы! —

так звучат в переводе А. Блока первые строки знаменитого стихотворения «Отрывок, написанный вскоре после замужества мисс Чаворт» (1805). Настрой этого поэтического зачина обещает дальнейшее нарастание элегического мотива, но ближайшая строка резко его пресекает:

Нет прежних светлых мест, где сердце так любило
Часами отдыхать.

Такого рода перелом тональности, суровость обуздания собственного эмоционального порыва, контраст между настроением и мыслью, не оставляющей места иллюзиям, предвещает доводимую до предельной, гиперболической резкости альтернативность стиля зрелого Байрона, проявившуюся во всех жанрах его творчества.

В ответ на враждебную критику первых своих стихов, помещенную в журнале «Эдинбургское обозрение», Байрон пишет сатирическую поэму «Английские барды и шотландские обозреватели» (1809), являющуюся своеобразным эстетическим манифестом молодого поэта, направленным прежде всего против реакционных романтиков. Однако пафос поэмы не в беспощадных приговорах, а в чувстве неудовлетворенности настоящим положением литературы и прежде всего — собственными опытами. Так влетает эгегический мотив в традиционный жанровый строй сатирико-дидактической поэмы, обновляя его изнутри.

В «Английских бардах» и в сатирических поэмах, относящихся к периоду 1811—1813 годов («По стопам Горация», «Проклятие Минервы», «Поездка дьявола», «Вальс.—Хвалебный гимн, сочиненный эсквайром Горасом Горнэм»), происходит слияние обличительной интонации с «исповедально»-лирической и вместе с тем расширение области сатиры: обличение не отдельных пороков отдельных лиц, а общего состояния той или иной сферы духовной или политической жизни кладется в ее основу.

Новым словом не только в творчестве Байрона, но и в литературе романтизма становится лиро-эпическая поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда», созданная во время путешествия по Востоку (1809—1811) и продолженная в Швейцарии и Италии (1816—1817) после посещения Бельгии, горных районов Швейцарии и Рима.

Как указывал Байрон, вышедшее из употребления в современном ему литературном языке наименование «чайльд» (что означает — дворянин, еще не посвященный в рыцари) почерпнуто им из средневековых английских баллад («Чайльд-Уотерс», «Чайльд-Чильдерс») и соответствует старой форме стиха, избранной для поэмы — девятистрочной строфе, построенной на сложном чередовании рифм и на строгом сочетании пятистопного и, в последней строке, шестистопного ямба. Строфа эта была открыта для английской литературы поэтом XVI века Эдмундом Спенсером.

Ироническая «архаичность», с одной стороны, подчеркнула современность героя поэмы, с другой — дистанцию между ним и самим поэтом, упорно отрицавшуюся многими критиками, настаивавшими на их тождестве. Текст поэмы свидетельствует, однако, о сложном и изменчивом соотношении автора и героя в системе лиро-эпического повествования: в процессе создания «Паломниче-

ства Чайльд-Гарольда» поэт перерастает ту ступень жизненного и духовного опыта, на которой остается его герой.

Неудовлетворенность окружающей действительностью, стремление узнать людей, жизнь, найти свое место в ней и испытать свои духовные возможности и силы — таковы близкие самому Байрону цели паломничества Чайльд-Гарольда. И в этом его «паломник» принципиально отличается не только от героев рыцарских романов, но и от героев просветителей, сентименталистов, штюмеров.

Тоска и разочарование Гарольда более «всеобща»: они не находятся в зависимости от оскорбленного самолюбия, семейных конфликтов, несчастной любви и других личных мотивов, которые играют немалую роль у его предшественников. Герой Байрона не вступает в борьбу с обществом, но его бездействие и созерцательность — не позиция пассивности, как, например, у Рене Шатобриана, находящего идеал в отшельничестве и религии. Специфичность образа — незавершенность: Чайльд-Гарольд призван запечатлеть сам момент пробуждения самосознания человека нового времени, когда он начинает ощущать на самом себе и в окружающем его мире последствия глубокой исторической ломки и осознавать вызванные ею непримиримо трагические противоречия как характерную черту своей современности.

Необыкновенно богаты, многообразны воплощаемые в поэме — то от лица героя, то непосредственно от автора — впечатления от каждого этапа путешествия. Роскошь девственной природы и величие памятников искусства, знаменитое поле Ватерлоо, решившее судьбу наполеоновской армии, и картины патриархальных нравов албанцев, жестокость правителей и самоотверженность борьбы народов — все это дано в картинах и описаниях точных, ярких и динамичных. Но они отнюдь не исчерпывают содержания поэмы. Описательное начало неотделимо от бурного, страстного, искрящегося то иронией, то восхищением, то горечью, то презрением лирического каскада чувств, дум, воспоминаний, предчувствий и признаний. Именно нерасторжимое единство этих двух начал определило масштабность поэмы Байрона, новой по своей идее и форме.

В современной Байрону литературе не было произведения, с такой широтой и остротой отразившего бурные процессы современной общественной и духовной жизни. В «Чайльд-Гарольде» нет свойственного чистому эпосу равномерно распределяемого внимания ко всем предметам, находящимся в поле зрения повествователя. Окружающий мир воспроизведен в поэме то через специфическую реакцию героя, ищущего во всех предстающих перед ним явлениях созвучия своему разочарованию и своей скорби, то через призму восприятия автора, который не просто наблюдает,

а скорее требовательно и пытливо «допрашивает» все доступное его взору и мысли: события, людей, настоящее, прошлое, природу и само мироздание.

Байрон задается вопросом о причинах социальных бедствий и национального упадка, о непрочности и недолговечности человеческого счастья, задумывается над противоречивостью и загадочностью исторического процесса. В третьей песни «Чайльд-Гарольда» — самой интимной и лиричной из всей поэмы — Байрон выражает глубокую неудовлетворенность собою, терзается сомнениями в значении своего творчества, видя свою заслугу лишь в том, что удостоился ненависти «света».

Немало горьких строк по поводу ничтожности и жестокости жизни в четвертой песни. Тяжела участь человека:

Смерть, голод, рабство, тысячи невгод
И зримых слез,— и хуже — слез незримых,
Кипящих в глубине сердец неизлечимых.

Но Байрон не утверждает на пессимистической позиции. Обращенный к истории, обществу, человеку, мирозданию, трагический «допрос», пронизывающий всю поэму, завершается признанием за человеком активной роли в истории,— борясь со злом, человек выступает как не равносильный, но равноправный его противник. Такова основная мысль поэмы, утверждаемая всем ее своеобразным художественным строем.

Формы лиро-эпического повествования получают развитие в созданных в течение 1813—1816 годов знаменитых «восточных поэмах»: «Гяур», «Абидосская невеста», «Корсар», «Лара», «Осада Коринфа», «Паризина». Восток в поэмах Байрона — это не только мир необычной, экзотической красоты, но и место господства жестокого произвола.

В поэмах повествование ведется объективно и нарушается лишь отдельными лирическими отступлениями.

В отличие от созерцателя — Гарольда,— герои восточных поэм на себе самих ощутили жестокие удары, неизлечимые раны, которые наносят жизнь, общество, государство, семья. Чувствуя в душе своей громадные силы, кипящие страсти, жажду деяний и подвигов, они становятся на путь непримиримой борьбы, мести, преступления, бросая вызов обществу, богу, самой судьбе.

Гордый титанизм свободолюбивой личности как неугасимый отсвет революционного пламени и индивидуализм как неизбежное клеймо господствующего духа общества — такое сочетание было возможно именно в романтическом образе, отражающем борьбу общественных сил эпохи в отвлечении от их реальной конкретно-исторической расстановки.

Образ байроновского бунтаря, восхитив передовых читателей своего времени, вместе с тем стал очень скоро и не удовлетворять тем требованиям, которые ставили перед своим собственным творчеством и современной им большой литературой великие современники Байрона, отходящие от позиции романтизма.

Критика поэм Байрона, ведущаяся с позиций нового метода, при всей ее правомерности прошла, однако, мимо того факта, что развенчание романтического индивидуалиста начато в самих «восточных поэмах». От поэмы к поэме Байрон уделяет все больше места показу взаимоотношений главного героя с «беззаконным отрядом», с помощью которого он осуществляет свою борьбу. Члены этих отрядов («Абидосская невеста», «Корсар») выше вождя по своим стремлениям и идеалам; они превосходят его и внутренней силой. После поражения не Коврад показывает пиратам пример стойкости, а они возвращают ему душевную силу и волю к борьбе.

Шумит совет! Всех планов и не счесть,
Они кричат: «Спасенье! Выкуп! Месть!»

В «Ларе» отношение героя поэмы к своим сторонникам охарактеризовано прямо от автора: в саркастических строках Байрон сближает Лару с расчетливыми демагогами, умеющими ввести в заблуждение темный и измученный народ. Точка зрения главных героев восточных поэм не тождественна точке зрения автора, идее произведения в целом.

«...Стать первым человеком, не диктатором, не Суллой, но Вашингтоном или Аристидом — вождем по праву таланта и истины...» — записывает Байрон в дневнике в период работы над поэмами. Здесь сформулирован, по существу, идеал не столько «вождя», сколько личности: на самоутверждение и возвышение над людьми имеет право личность, обладающая подлинной незаурядностью и владеющая истиной, способной открывать новые пути.

С огромным нравственным и политическим накалом проблема эта обсуждается в стихотворениях, явившихся откликом на падение Наполеона, предопределенное, как считает теперь Байрон, его духовной мелкостью и проводимой им политикой попрания прав народов и человека («Ода к Наполеону Бонапарту», «Звезда Почетного легиона» и др.).

В еще более резком, уничижительном тоне Байрон характеризует представителей правящей верхушки Англии. Сочетание разящей насмешки, горькой иронии, прямых страстных обличений определяет характер многих произведений политической лирики Байрона, усвоивших стилевые черты и его ранней сатиры, и оп-

позиционных парламентских выступлений. Олицетворением «самозванного», ничтожного правителя предстает в стихах Байрона принц-регент, будущий король Генрих IV («Строки к плачущей леди», «На посещение принцем-регентом королевского склепа»). Несколькими тонкими, острыми штрихами создаются Байроном как бы силуэтные портреты лидеров политических партий, министров, заискивающих перед правящей кликой промышленников («Эпитафия Вильяму Питту», «Эпиграмма на Вильяма Коббета», «На самоубийство британского министра Кэстелри», «Эпиграмма на адрес медников»).

Не ограничиваясь уничижительной характеристикой отдельных лиц, Байрон в ряде стихотворений («Любовь и золото», «На смерть поэта Джона Китса», «Строки, написанные при получении известия о болезни леди Байрон»), занимающих промежуточное положение между политической и интимной лирикой, воссоздает духовную атмосферу, царящую в обществе: грубая меркантильность, страх перед свободной творческой мыслью, лицемерие и ханжество — таковы ненавидимые поэту свойства окружающей его среды.

В скорбных и гневных строках зрелой лирики Байрона его стих приобретает сосредоточенную, сдержанную энергию, лаконизм, драматическую напряженность, которые придают ему силу разящих ударов, авторитетность и беспрекословность приговора высочайшей инстанции.

Нравственная порочность общества и политическая несостоятельность правителей получают обобщенную характеристику и в знаменитых стихах, посвященных выступлениям луддитов — «Ода авторам билля против разрушителей станков» (1812) и «Песня для луддитов» (1816). В «Оде...» содержатся прямые обращения к борющимся за свои права и свободу массам; в стихотворении-песне обличение дается от лица самих восставших: они низвергают ложных кумиров, проклинают угнетение и рабство, призывают к свободе. Так же как более ранняя «Песня греческих повстанцев» (1811), «Песня для луддитов» воссоздает собирательный образ борцов против тирании, свидетельствующий об укреплении веры Байрона в возможности народа. Образ «грозных мстителей» и здесь не приобретает исторической конкретности. Но он как бы «закрепляет» ту критичность по отношению к характеру гордого мятежника-индивидуалиста, которая наметилась в «восточных» поэмах.

Стремительность творческого развития Байрона можно наблюдать во всех сферах его творчества.

Небольшие по объему монологические поэмы «Шильонский узник» (1816), «Жалоба Тассо» (1817), «Мазепа» (1818), философ-

ские стихи на библейские («Видение Валтасара», «Поражение Сеннахериба», «Юлиан») и античные мотивы («Аристомен»), а также вступившая в пору расцвета любовная и интимная лирика — стихотворения, посвященные Тирзе (лицо, скрытое под этим именем, осталось неизвестным), жене, Терезе Гамба-Гвиччиоли, сводной сестре Байрона — Августе, друзьям, отмечены осложнением непримиримости столкновения лирического «я» с внешними обстоятельствами, внутренней неудовлетворенностью, ситуацией перелома, кризиса, стремлением выйти за пределы своего внутреннего мира, определить свое место в мире большом.

Вспомним знаменитые, Лермонтовым воссозданные строки:

Я говорю тебе: я слез хочу, певец,
Иль разорвется грудь от муки.

И грозный час настал — теперь она полна,
Как кубок смерти, яда полный.

Для лирического «я» в поэзии Байрона характерна именно эта двойственность живущих в нем стремлений — с одной стороны, замкнуться в своем внутреннем мире, допуская в него лишь немногих избранных: безвременно скончавшуюся Тирзу, сестру, безмяннных друзей и подруг, — только тех, которые далеки от мелкости и пошлости жизни: «...Я твой, а не их», — говорит поэт Августе. С другой стороны, лирическому «я» свойственна страстная, просто яростная потребность находить выходы из внутреннего «царства» в широкий мир. Характерно в этом смысле установление непосредственных контактов между «я» и Временем, Смертью («Эвтаназия», «К времени»). Поэт утверждает независимость в отношении этих всевластных сил человеческого бытия: «Но заключительную сцену // И ты не в силах изменить», — заявляет он, обращаясь к Времени; вместе с тем в процессе монологического «обращения» к этим «стихиям» мироздания поэт ищет и достигает сближения с ними.

Двойственность позиции к внешнему миру проявляется и в сфере человеческих взаимоотношений: поэт непримиримо враждует с общепринятыми понятиями морали, но вместе с тем, беспощадно осуждая и себя и жену, верит в неизбежность, вечность нравственных уз: супружества, отцовства. Субъективно они могут быть разорваны до конца, но объективно, в высшем, духовном смысле, оказываются неупразднимыми («Прости»).

Поэту ведомы глубокая печаль, тяжесть воспоминаний, сожалений. Но он не склонен видеть в страданиях высокой и непонятой души некое общечеловеческое значение. Он чуть приметно развенчивает таинственную печаль, которая питается

неведомыми внутренними муками и терзаниями («Экспромт в ответ другу»).

Байрон ищет и находит новую для себя форму раскрытия внутреннего мира лирического «я»: посредством образов природы — «Стансы» («Ни одна не станет...»), «Не бродить нам вечер целый...», «Стансы к реке По», «Стансы на музыку». Байрон не прибегает ни к очеловечению сил природы, ни к мифологическим олицетворениям и метафорам, что было свойственно многим его современникам. Он идет путем органических и вместе с тем очень свободных, широких ассоциаций:

Ни одна не станет в споре
Красота с тобой.
И, как музыка на море,
Сладок голос твой!

Море шумное смирилось
Будто звукам покорилось,
Тихо лоно вод блестит,
Убаюкан, ветер спит.

Ни в этой, ни в следующей строфе стихотворения нет непосредственного сближения психологического состояния лирического «я» и природы, но именно благодаря такой свободной и как бы неопределенной связи между ними раскрывается новое состояние поэта: способность к более широкому взгляду на мир, умудренность, светлая радость.

Более полно предстает в эти годы и другая сторона специфической для Байрона формы лирического монолога: сочетание лирической «исповедальности» и драматической напряженности, действительности можно проследить буквально в каждом из названных и неназванных стихов. Не говоря уже о философской лирике на библейские и античные мотивы, представляющей собою как бы собрание напряженнейших драматических фрагментов — ситуация выбора, решения, нравственной альтернативы лежит в основе, организует лирическое переживание самых «бессюжетных», казалось бы, чисто лирических по теме стихов: «К Тирзе», «Еще усилье — и постылый...», «Подражание португальскому» и многих других.

Потребность в синтезе жанровых начал была вообще органична для поэзии Байрона, так же, впрочем, как и других ведущих поэтов романтизма, мобилизующих весь арсенал художественных средств на осмысление невиданно сложной «новизны» эпохи, в тайны которой они стремились проникнуть.

Особенно явственно эта характерная для романтиков тенденция к «слиянию» жанров осуществлена Байроном в философско-символической драматической поэме «Манфред» (1816—1817),

близкой первым частям «Фауста» Гете и поэме Шелли «Королева Маб» по своему строению и теме.

Манфред проникает в тайны мира, при помощи магии подчиняет себе духов природы и вершителей судеб человеческих, но он не может заставить их служить целям добра. Манфред находится в глубоком разрыве с обществом, презирает власть, успех, отрекается от религии. Презрение его распространяется, однако, на ограниченность и низменность человеческой природы вообще. Индивидуализм сказывается в нем еще сильнее, чем в героях поэм; раздирающие его внутренние противоречия безвыходны, неразрешимы.

Так же как стихотворение «Тьма», в котором создана картина космической катастрофы и истребительной взаимной ненависти, охватившей людей, «Манфред» отражает момент кризиса в мироощущении и творчестве Байрона, ясно свидетельствуя о необходимости восполнения характера героя и идеалов самого поэта новым позитивным содержанием. Это именно и происходит в итальянский период творчества Байрона: он падает на годы новой, высоко поднявшейся волны социального протеста и национально-освободительного движения, к которому Байрон был лично причастен.

Существенный сдвиг можно проследить на близкой «Манфреду» по жанровой форме философско-символической драме «Каин» (1821), сюжет которой взят из библейской легенды о братоубийце и смело переосмыслен Байроном. Бунт Каина в драме Байрона трагичен: герой одинок в своей борьбе против деспотизма бога, в стремлении к знаниям, в утверждении права человека определять свою судьбу, совершать нравственный выбор, быть судьей и карателем зла. В отличие от Манфреда, отрицание и борьба, через которые проходит Каин,— не бесплодны: он обрел способность к раскаянию и духовному возрождению, любовь к людям, путь к знанию и счастью.

Проблема преодоления индивидуализма решается и в исторических драмах Байрона (1820—1822 гг.): «Марино Фальеро, дож Венеции», «Сарданапал», «Двое Фоскари», «Вернер, или Наследство».

Исторические трагедии Байрона почти не шли на сцене и не стали образцом новой романтической трагедии. Но в начале 20-х годов прошлого века они были среди немногих драматических произведений, которые противостояли мещанской мелодраме, трагедиям «кошмара» и развивали в известной мере лучшие традиции драматургии Гете и Шиллера.

Жанр трагедии возник в творчестве Байрона далеко не случайно, как это представлял иногда сам поэт. Обращение к нему

было подготовлено той ролью, которую играло драматическое начало в лирике и в поэмах Байрона, и растущим стремлением к преодолению субъективности формы и идеалов, воплощенных в предшествующем творчестве. Стремление к преодолению этих черт метода и поэтики не сочеталось у Байрона с теми или иными идеями примирения с окружающим миром.

Трагедия «Марино Фальеро», написанная в разгар итальянских событий, посвящена венецианскому дожу (герцогу) Фальеро, казненному в 1355 году за участие в заговоре против существующего политического режима. Марино Фальеро — первый герой Байрона, бунт которого порожден не только субъективными потребностями незаурядной, свободолюбивой личности. Наряду с субъективными, романтическими предпосылками в трагедии раскрыты и объективные, исторические предпосылки бунта Фальеро, характерные для изображаемой эпохи. Однако в трагедии Байрона, как и вообще в романтической драме, отражающий исторические обстоятельства конкретный конфликт не исчерпывает содержания той всеобъемлющей внутренней коллизии, в которой находится романтический герой с не удовлетворяющей его действительностью. Фальеро ощущает себя не только участником политического заговора — он борется против сил мирового зла, против неотвратимости рока. Отсюда — особое значение монолога, слабо связанного с ходом действия, что ясно свидетельствует о силе лирического начала в драматургии Байрона и в драме романтизма вообще.

Именно благодаря специфическому сочетанию лирического и драматического начала достигается психологическая сложность и глубина, присущие образу Фальеро и в еще большей мере — Сарданапала, самого разностороннего, контрастного и «живого» из всех предшествующих ему романтических характеров. Тенденции к объединению разнородных жанровых и стилевых начал характерны не только для исторических трагедий.

Интересна в этом смысле занимающая промежуточное место между лирическим стихотворением и поэмой «Ода к Венеции» (1818), проникнутая горечью об утрате «волшебным городом» своего былого величия и сатирически повествующая о современном его состоянии. Еще более безраздельно слиты элегическая и сатирическая ноты в поэме «Пророчество Данте» (1819), стилизованной под форму «Божественной комедии» (Байрон использует в ней почти незнакомую английской поэзии его времени Дантову терцину). Поэма представляет собою речь великого зачинателя западноевропейского Возрождения, обращенную к потомкам, содержащую воспоминания о великом прошлом и призыв не мириться с унижительным настоящим. Критика ведется как бы с историче-

ской дистанции, что обостряет и расширяет возможности сатиры. Из речи-монолога возникает трагический и суровый облик поэта-пророка, целиком посвятившего свой поэтический дар служению высочайшим нравственным и гражданским идеалам.

Почти одновременно с «Пророчеством Данте» создается веселая, легкомысленная «венецианская повесть» «Беппо» (1818). Она не содержит ни одного прямого порицания в адрес героев. Но это не мешает тому, что каждой строкою, каждым словом своего отточенно острого, легкого, динамичного стиха Байрон разит и уничижает весь изображаемый им мир лживых, похотливых и трусливых людей, неспособных на большие чувства, самостоятельную мысль, смелый поступок. В «Беппо» не просто используется прием скрытой иронии, но вводится форма разоблачения изнутри, с позиций «объективного» и даже «сочувствующего» повествователя, намного углубляющая и усиливающая возможности сатиры.

Пародируя в сатире «Видение суда» (1822) одноименную поэму Р. Саути, посвященную прославлению умершего короля Георга III, Байрон использует еще более богатую художественную гамму: задорные шутки, комические ассоциации, тонкую, разящую иронию и сокрушительный, непримиримый сарказм.

Отправляясь от основных эпизодов «божественного» сюжета Саути, Байрон изображает комическое судилище над умершим королем, старающимся проникнуть в рай, и создает при этом широкую картину бедствий и несчастий, связанных с его царствованием.

С большей силой, приобретая порою трагический оттенок, ирония звучит в сатире «Ирландская аватара» (1821), разоблачающей национальную политику Георга IV и забывших о национальной чести прислуживающих ему политикам.

Иные художественные средства применены Байроном в политической сатире «Бронзовый век» (1823). Уже само ее название говорит о широком использовании мифологических образов, черпаемых Байроном из античной и библейской мифологии, из английского фольклора, средневековой литературы и теснейшим образом переплетенных с рассыпанными по всей поэме намеками на обстоятельства, события и лица, принадлежащие современной политической ситуации. Создается своеобразнейший, нерасчленимый сплав ассоциаций, лишь приближенно передаваемый переводами на другие языки.

В созданных в эти годы сатирах Байрона сказалась зрелость мысли и мастерства поэта, его стремление раскрыть реальные корни существующей общественно-политической ситуации. Но важнейшей для него проблемой оставалась проблема путей и перс-

пектив борьбы с господствующими силами эпохи «торжества укротительства». Соответственно этому определялось основное направление творческих исканий поэта: поиски путей создания характера, воплощающего идею протеста и вместе с тем не оторванного, подобно герою предшествующих произведений, от действительности, его окружающей.

Эта главнейшая художественная проблематика творчества Байрона последних лет нашла особенно полное претворение в задуманном как очень обширное полотно, но прерванном на семнадцатой песни, произведении «Дон-Жуан» (1818—1824). В особенностях жанровой и стилиевой формы «Дон-Жуана» находит продолжение отнюдь не только лиро-эпическая линия творчества Байрона, но и сатирическая, и лирическая, и даже ораторская и эпистолярная. Необыкновенно многообразен язык романа — обороты, типичные для лирической патетики, «натуралистические» прозаизмы, архаическая фразеология, ораторские и публицистические приемы. Все это тонет в стихии живого разговорного языка, открытого здесь в еще неизвестных поэтических ресурсах.

В «Дон-Жуане» Байрон проявил себя и как истинный виртуоз стиха. Немногие произведения мировой литературы могут соперничать с ним в богатстве рифм и мастерстве использования классической строфы («Дон-Жуан» написан октавой) при обращении к столь многообразному и сложному содержанию.

Называя своего героя именем Дон-Жуана, давно ставшим нарицательным наименованием развратника и богохульщика, Байрон тем самым заявлял, что его произведение направлено против господствующей морали и норм «благопристойного общества». Вместе с тем самым именем своего героя Байрон давал понять, что создаваемый им образ далек от образа романтического бунтаря. Очень далек байроновский Дон-Жуан и от своих литературных предшественников (Дон-Жуанов Тирсо де Молины, Мольера). Байрон создал характер, отвечающий внутренним, органическим целям своего произведения. Отнесение событий романа к концу XVIII века — условно: эта хронология самым явным образом нарушается в ходе повествования.

Подобно Чайльд-Гарольду, герой новой поэмы — странник. Но причина, заставившая Дон-Жуана покинуть родную Испанию, не имеет ничего общего с побуждениями, лежащими в основе паломничества Гарольда: не неудовлетворенность окружающим и стремление к познанию мира, а любовное приключение, обернувшееся весьма неприятными для него последствиями, положило начало странствованиям. Морской шторм и кораблекрушение, прекрасный остров — владение отважных пиратов, невольничий рынок, гарем турецкого султана, поле битвы, двор Екатерины II, великосвет-

ские гостиные Лондона — со всем этим Дон-Жуан знакомится не как размышляющий наблюдатель: он постоянно и действительно включен в события и вынужден активно определять свои позиции и отношения.

Лирическое начало имеет огромное значение в «Дон-Жуане», но решающую формообразующую роль играет все-таки повествование о жизненном пути и внутреннем формировании героя, что является одним из проявлений «романной» природы этой поэмы Байрона.

Лирико-эпическое повествование обнаруживает здесь новые свои возможности: рассказ ведется как бы от двух лиц — от самого поэта, стоящего на позиции непримиримой критики, и некоего условного рассказчика, принимающего мир «как он есть» и не верящего в его улучшение. Такое разделение позиций создаст неограниченные возможности и для разностороннего комментирования злоключений героя, и для в разной тональности подаваемых рассуждений о важных сторонах общественной жизни, острых политических вопросах, о состоянии литературы, о нравах, вкусах, быте, — словом, о жизни в самом широком смысле слова.

Скрытый маской простодушия или цинизма сарказм, мягкий юмор, глубокая горечь, страстная нетерпимость, умудренная примиренность — таковы эмоциональные оттенки, которые, присутствуя в «Дон-Жуане» в самых неожиданных сочетаниях, подчинены, так же как все стилевые особенности этого своеобразнейшего произведения, поискам достойной человека жизненной позиции; они-то и составляют единый содержательный стержень и фабульной, и лирической «частей» поэмы-романа Байрона.

В «Дон-Жуане» резко очерчены противоположные отношения к объективным обстоятельствам: несмирившейся перед властью обстоятельств, гибнущей Гайдэ противостоит эпизодический персонаж — англичанин Джонсон, внушающий Жуану мудрость циничного примирения со злом. И та же противоположность позиций в лирических отступлениях: скептические утверждения рассказчика-комментатора, порою почти буквально повторяющего Джонсона, соседствуют с выражением горячей веры Байрона в возможности и будущее человека, в торжество справедливости и высокие общественные идеалы.

Нам новый век узреть не суждено,
Но вы, вкушая радость мирозданья,
Поймете ль вы, что было так темно,
Так мерзостно людей существованье!

Проходящий через все произведение конфликт двух противоположных жизненных позиций призван разрешить главный ге-

рой — точнее, сама логика развития этого центрального образа романа. Очень часто Дон-Жуан не делает даже попытки противостоять обстоятельствам. И все же образ Дон-Жуана опровергает позицию скепсиса и приспособления. От полусознательного неприятия не имеющих социально-политической значимости сторон жизни он идет ко все более осознанному протесту против таких явлений, как война, порабощение, ханжество и лицемерие высшего английского общества, которому посвящены последние, самые глубокие и обличительные главы произведения.

Невозможно и неплототворно гадать о том, выполнил бы Байрон однажды высказанное намерение сделать своего героя участником французской революции. Но образ Дон-Жуана, несомненно, был призван утвердить неприятие существующих обстоятельств и протест против социального зла, как естественный и неизбежный нравственный выбор, к которому приходит ничем не выдающийся, заурядный человек в результате не умозрительного познания мира, а практического столкновения с окружающей его действительностью. Центральным для «Дон-Жуана» оказывается отношение не человек и мир, а человек и общество, человек и среда; и именно этот сдвиг в художественном видении поэта определил то качественное обновление всех сторон содержания и формы, которое внес в творчество Байрона «Дон-Жуан».

Характерно, что Пушкин, порицавший субъективность более ранних произведений Байрона, отметил «удивительное шекспировское разнообразие» последней его поэмы.

Новаторские искания в области метода и поэтики, так ярко воплощенные в «Дон-Жуане», гораздо слабее заявили о себе в таких произведениях, как поздняя поэма «Остров», драмы «Небо и земля» и «Преображенный урод», очевидно, недаром оставшихся незавершенными. Зато лирические шедевры поздней поры творчества Байрона («Стансы, написанные по дороге между Флоренцией и Пизой», «Стансы на индийскую мелодию», «Графине Блессингтон», «Из дневника в Кефалонии», «Последние строки, обращенные к Греции», «Любовь и смерть», «В день, когда мне исполнилось тридцать шесть лет») тоже демонстрируют качественно новые черты в мирозерцании, методе и поэтике Байрона, внесенные в них тем общим духом обновления, которым была отмечена личная жизнь поэта и общественная атмосфера Европы начала 20-х годов.

В названных стихотворениях Байрон обретает новое понимание отношений личности и мира, которое преломляется в наметившейся еще ранее поэтике специфического соотнесения далеких друг от друга явлений: «Тираны дают мир,— я ль уступлю?»

Именно художественный эффект, тающийся в свободе ассоциативных связей, оказался способным выразить диалектическую сложность отношений поэтического «я» и объективного мира — не только мира природы, как в более ранних стихах, но и мира общественных страстей, идеалов и интересов, становящегося органической частью личных, интимных переживаний поэта.

Творчество Байрона открывало перед английской и мировой литературой неизведанные до той поры пути. И старшие и младшие современники Байрона — Рылеев, Пушкин, Гете, В. Скотт, Гюго, Стендаль, Мицкевич, У. Фосколо, Леопарди, Лермонтов, Петефи, Бальзак — на протяжении всей своей жизни, высмеивая «байронизм», как эпигонство, «моду», обращались к поэтическому опыту Байрона, то следуя за ним, то критикуя его, но постоянно ощущая необходимость преемственной связи между собственными исканиями и тем дерзновенным и плодотворным новаторством, которым обогатил литературу автор «Чайльд-Гарольда», «Каина», исторических трагедий, «Дон-Жуана», новой по своему содержанию и строю лирики.

Для последующих литературных поколений поэтика Байрона, так же как других выдающихся представителей романтизма, переставая быть непосредственной традицией, не теряла значения прочно и органично усвоенного наследия, обладающего непреходящей художественной ценностью.

Пророчески звучат сейчас слова Т. Маколея, одного из немногих английских критиков, сумевших объективно оценить Байрона: «Его поэзия пройдет через строгую оценку... многое, чем восхищались современники, будет отвергнуто... но... после самого строгого исследования останется еще многое, что может погибнуть только вместе с английским языком».

М. Кургинян





К Э...

Пускай глупцы кругом острят
О нашей Дружбе. Бог свидетель:
В союзе знатность и разврат,
С Любовью дружит Добродетель.

Быть может, род мой и высок,
И титул мой под стать поместью,
Но не завидуй мне, дружок,
Гордись достоинством и честью.

Моя душа с твоей сошлась,
Твой ранг на мне не ляжет грязью.
А геральдическая связь
Ничто перед сердечной связью.

Ноябрь 1802

ПРОЩАНИЕ С НЬЮСТЕДСКИМ АББАТСТВОМ

Зачем воздвигаешь ты чертог, сын
крылатых дней? Сегодня ты глядишь
со своей башни; но пройдет немного
лет — налетит ветер пустыни и завоет в
твоем опустелом дворе.

Оссиан

Свищут ветры, Ньюстед, над твоею громадой,
Дом отцов, твои окна черны и пусты.
Вместо розы репейник растет за оградой,
И татарник густой заглушает цветы.

Не воскреснуть суровым и гордым баронам,
Что водили вассалов в кровавый поход,
Только ветер порывистый с лязгом и звоном
Старый щит о тяжелые панцири бьет.

Старый Роберт на арфе своей иступленно
Не взгремит, вдохновляя вождя своего,
Сэр Джон Хористон спит возле стен Аскалона,
И недвижна рука менестреля его.

При Креси Поль и Хьюберт в кровавой долине
За отчизну и Эдварда пали в бою;
Предки славные! Англия помнит поныне
Вашу гибель, ваш подвиг и славу свою!

Под знаменами Руперта храбрые братья
Землю Марстона полили кровью своей
И посмертно скрепили кровавой печатью
Верность роду несчастных своих королей.

Тени храбрых! Настала минута прощанья,
Ваш потомок уйдет из родного гнезда.
Только память о вас унесет он в скитанья,
Чтоб отважным, как вы, оставаться всегда.

И хотя его взор затуманен слезами,
Эти слезы невольные вызвал не страх:
Он уедет, чтоб славой соперничать с вами,
И о вас не забудет в далёких краях.

Ваша слава незыблема. Спите спокойно:
Ваш потомок клянется ее не ронять.
Хочет жить он, как вы, и погибнуть достойно,
И свой прах с вашим доблестным прахом смешать.

ОТРЫВОК, НАПИСАННЫЙ ВСКОРЕ ПОСЛЕ ЗАМУЖЕСТВА
МИСС ЧАВОРТ

Бесплодные места, где был я сердцем молод,
Анслейские холмы!
Бушуя, вас одел косматой тенью холод
Бунтующей зимы.

Нет прежних светлых мест, где сердце так любило
Часами отдыхать,
Вам небом для меня в улыбке Мэри милой
Уже не заблестать.

1805

ВОСПОМИНАНИЕ

Конец! Все было только сном.
Нет света в будущем моем.
Где счастье, где очарованье?
Дрожу под ветром злой зимы,
Рассвет мой скрыт за тучей тьмы,
Ушли любовь, надежд сиянье...
О, если б и воспоминанье!

1806

СЕРДОЛИК

Не блеском мил мне сердолик!
Один лишь раз сверкал он, ярко,
И рдеет скромно, словно лик
Того, кто мне вручил подарок.

Но пусть смеются надо мной,
За дружбу подчинюсь злословью:
Люблю я все же дар простой
За то, что он вручен с любовью!

Тот, кто дарил, потупил взор,
Боясь, что дара не приму я,
Но я сказал, что с этих пор
Его до смерти сохраню я!

И я залог любви поднес
К очам — и луч блеснул на камне,
Как блещет он на каплях рос...
И с этих пор мила слеза мне!

Мой друг! Хвалиться ты не мог
Богатством или знатной долей,
Но дружбы истинной цветок
Взрастает не в садах, а в поле!

Ах, не глухих теплиц цветы
Благоуханны и красивы,
Есть больше дикой красоты
В цветах лугов, в цветах вдоль нивы!

И если б не была слепой
Фортуна, если б помогала
Она природе — пред тобой
Она дары бы расточала.

А если б взор ее прозрел
И глубь души твоей смиренной,
Ты получил бы мир в удел,
Затем что стоишь ты вселенной.

1806

К М. С. Г.

В порыве жаркого лобзанья,
К твоим губам хочу припасть;
Но я смирю свои желанья,
Свою кощунственную страсть!

Ах, грудь твоя снегов белее:
Прильнуть бы к чистоте такой!
Но я смиряюсь, я не смею
Ни в чем нарушить твой покой.

В твоих очах — душа живая, —
Страшусь, надеюсь и молчу;
Что ж я свою любовь скрываю?
Я слез любимой не хочу!

Я не скажу тебе ни слова,
Ты знаешь — я огнем объят;
Твердить ли мне о страсти снова,
Чтоб рай твой превратился в ад?

Нет, мы не станем под венцами,
И ты моей не сможешь быть;
Хоть лишь обряд, свершенный в храме,
Союз наш вправе освятить.

Пусть тайный огонь мне сердце гложет,
Об этом не узнаешь, нет,—
Тебя мой стон не потревожит,
Я предпочту покинуть свет!

О да, я мог бы в миг единый
Больное сердце облегчить,
Но я покой твой голубиный
Не вправе дерзостно смутить.

Нет, нам не суждены лобзанья,
Наш долг — самих себя спасти.
Что ж, в миг последнего свиданья
Я говорю — навек прости!

Не мысля больше об усладе,
Твою оберегаю честь,
Я все снесу любимой ради;
Но знай — позора мне не снести!

Пусть счастья не сумел достичь я,—
Ты воплощенье чистоты,
И пошлой жертвой злоязычья,
Любимая, не станешь ты!

1806

СТРОКИ, АДРЕСОВАННЫЕ ПРЕПОДОБНОМУ БИЧЕРУ
В ОТВЕТ НА ЕГО СОВЕТ ЧАЩЕ БЫВАТЬ В ОБЩЕСТВЕ

Милый Бичер, вы дали мне мудрый совет:
Приобщиться душою к людским интересам.
Но, по мне, одиночество лучше, а свет
Предоставим презренным повесам.

Если подвиг военный меня увлечет
Или к службе в сенате родится призванье,
Я, быть может, сумею возвысить свой род
После детской поры испытанья.

Пламя гор тихо тлеет подобно костру,
Тайно скрытое в недрах курящейся Этны;
Но вскипевшая лава взрывает кору,
Перед ней все препятствия тщетны.

Так желание славы волнует меня:
Пусть всей жизнью моей вдохновляются внуки!
Если б мог я, как феникс, взлететь из огня,
Я бы принял и смертные муки.

Я бы боль, и нужду, и опасность презрел —
Жить бы только—как Фокс; умереть бы—как Чэтам,
Длится славная жизнь, ей и смерть не предел:
Блещет слава немеркнущим светом.

Для чего мне сходиться со светской толпой,
Раболепствовать перед ее главарями,
Льстить хлыщам, восторгаться нелепой молвой
Или дружбу водить с дураками?

Я и сладость и горечь любви пережил,
Исповедовал дружбу ревниво и верно;
Осудила молва мой неистовый пыл,
Да и дружба порой лицемерна.

Что богатство? Оно превращается в пар
По капризу судьбы или волей тирана.
Что мне титул? Тень власти, утеха для бар.
Только слава одна мне желанна.

Не силен я в притворстве, во лжи не хитер,
Лицемерия света я чужд от природы.
Для чего мне сносить ненавистный надзор,
По-пустому растрачивать годы?

1806

ДАМЕТ

Бесправный, как дитя, и мальчик по летам,
Душою преданный убийственным страстям,
Не ведая стыда, не веря в добродетель,
Обмана бес и лжи сочувственный свидетель,
Искусный лицемер от самых ранних дней,
Изменчивый, как вихрь на вольности полей,
Обманщик скромных дев, друзей неосторожных,
От школьных лет знаток условий света ложных,—
Дамет изведаль путь порока до конца
И прежде остальных достиг его венца.
Но страсти, до сих пор терзая сердце, властно
Велят ему вкушать подонки чаши страстной;
Пронизан похотью, он цепь за цепью рвет
И в чаше прежних нег свою погибель пьет.

1806

ДЖОРДЖУ, ГРАФУ ДЕЛАВАРУ

Друг другу мы дороги были когда-то;
Привязанность в детстве кратка, но верна;
Меня вы любили любовью брата,
И столь же была моя дружба нежна.

Но дружба изменчива; дружбе возможно
Погибнуть мгновенно в порыве одном;
Она, как любовь, велика и тревожна,
Но все ж не горит негасимым огнем.

Мы с вами нередко по Иде бродили.
Не скрою, что радости ведали мы!
Дни нашей весны так безоблачны были,
Но близятся бури суровой зимы.

Прошедшего память не вызовет ныне,
Нам юность не будет мила с этих пор.
Коль сердце кольчугой сковала гордыня,
То прежняя радость — отныне позор.

Но, Джордж, дорогой (все ж я вас уважаю,
Я близких моих не унижу, о нет!),
Упущенный случай вернуть вам желаю,
Пусть снимет раскаянье данный обет.

Корить вас не буду. Хоть дружба остыла,
Но злоба не знается с сердцем моим;
Спокойная мысль мою душу смягчила:
Мы оба не правы, и оба простим.

Вы знали, что сердцем, душою, делами
Я вам послужил бы — явись лишь нужда!
Что я, не считаясь с пространством, с годами,
Любви был и дружеству предан всегда.

Вы знали — но думать о прошлом не нужно;
Порвалась непрочная дружества нить,
И поздно грустить вам, вздыхая недужно,
О друге, что вы не смогли оценить.

Расстанемся — встретиться можем мы снова.
Раскаянье мне вас вернет, может быть.
Хочу одного лишь — возврата былого.
Мы с вами о ссоре должны позабыть.

1806

К ЭЛИЗЕ

Элиза! Признать не хотят мусульмане,
Что есть и у женщин душа, — а напрасно:
Лишь взгляд на тебя, и, как солнце в тумане,
Откроется истины облик прекрасный.

О, будь хоть крупца ума у пророка,
Неужто он выгнал бы женщин из рая?
Бесплотные гурии — много ли прока
От призраков, жительниц горнего края?

Неужто бы он повелел безрассудно:
«Да будут четыре жены у мужчины!»?
Прожить без души вам, пожалуй, нетрудно,
Но есть для обиды у вас все причины.

На этот обычай все сетуют горько:
Мужьям — не по силам, а женам — досада.
Однако, признаться, верна поговорка:
«Хоть женщины — ангелы, брак — хуже ада».

Подобная мысль есть и в Новом завете.
О холостяки! О свободе радея,
Прочтите, пока вы не пойманы в сети,
Вторую с двадцатой главой от Матфея.

Довольно мы здесь, на земле, пострадались
От жен, чей характер сварлив и неистов.
На небе ж нет брака — живи, не печалься! —
Так сказано в тексте у евангелистов.

И если — о, ужас! — святые, преставясь,
Окажутся, как и при жизни, под игом
Постылых своих престарелых красавиц, —
Весь рай загудит, растревоженный, мигом.

Мою правоту подтвердят, без сомненья,
И Марк, и Матфей, и сам Павел-апостол:
Развод — вот единственный путь усмиренья
Мятежных мужей, натерпевшихся вдосталь.

Супруг и супруга — в разладе глубоко.
Но женщина неразделима с мужчиной.
Снимите с нас цепи, и, хлынув потоком,
Любовь нас навеки сольет воедино.

Пусть даже себя назовете вы сами
Бездушными — я вам поверю едва ли.
Прекрасные, вы рождены небесами,
Без вас бы эдемские розы увяли.

9 октября 1806

ГРАНТА

(Беглые наброски)

Борись с помощью подкупов, — и во
всем будешь первенствовать.

Лесаж, твой бес — такая гиль! —
Мне снится стал в часы ночные.
Лукавый внес меня на шпиль
Собора пресвятой Марии.

Тут стену он отверз, там кров,
И я узнал, кто в старой Гранте
Ценой продажных голосов
Спешит добиться мест и мантий.

Все ныне так, как искони:
Враждуют Пальмерстон и Петти;
Готовясь к выборам, они
Друг другу расставляют сети.

Меж тем сейчас и кандидат
И избиратель спят спокойно,
Внося в политику свой вклад
Благочестиво и достойно.

Лорд Г., уйми напрасный страх!
Коллеги встанут друг за друга:
Ведь повышения в чинах —
Известно всем — даются туго.

А за поддержку как-никак
Возможны теплые местечки,
И в предвкушенье этих благ
Собратья смиренны, как овечки.

Пока их лагерь, недвижим,
Затих обманчиво, как кратер,
Мы на студентов поглядим,
'Тех, что лелеет Alma Mater.

Вот кто-то в комнате сырой
Корпит над книгой до рассвета.
Бесспорно, создан сей герой
Для премий университета.

Ему и слава и почет!
Он в прилежании воспитан,
И все, что только ни взбредет
На ум профессорам, зубрит он.

Свечой гоня ночную мглу,
Он чертит ромбы и трапеции,
Отстукивает по столу
Трохей и дактиль Древней Греции.

Он чуть живой: не ест, не пьет,
Почти не спит. Зато отныне
Он важно диспуты ведет,
Хоть и на варварской латыни.

Он всех историков забыл,
Он изменил созданьям музыки,
Чтоб одолеть сложенье сил
Или квадрат гипотенузы.

Оставим бремя сих забот
Тому, кого манит награда.
Нам обозреть настал черед
Учащихся иного склада.

С утра разврату предана,
Шумит компания большая,
Играет в кости допоздна,
Вином рассудок заглушая.

Другое дело в наши дни
Сектантов-методистов племя:
За нас лишь молятся они
Да на реформы тратят время.

Но столько хвастают они
И так горды своим смиреньем,
Что не поверят в наши дни
Их самохвальным завереньям.

А вот и бледный луч зари,
И вдруг раздался говор гулкий.
То, облачившись в стихари,
Галдят студенты в переулке.

Зовущий колокола звон
Колеблет пелену тумана,
И место уступает он
Волшебной музыке органа.

Хор певчих толщу стен потряс.
О боже, как они запели!
Подобным исполненьем нас
Убьют святые менестрели.

Но слушать их придет ли кто?
Сбежишь от карканья такого!
Коль новички они, и то
Им в преисподней печь готова.

Когда бы оказался тут
Давид и слышал, как тупицы
Его псалмы у нас поют,
О, как бы мог он разъяриться!

У древних вавилонских рек
Велев евреям петь в неволе,
Тиран их осудил навек
Скорбеть об этой горькой доле.

Запеть им было невдомек
На лад монахов Альбиона.
Вся вражья сила наутек
Пустилась бы из Вавилона.

Боюсь, рассказ дослушать мой
Ни у кого не станет мочи.
Чернил уж нет. Исчезни, рой
Видений, детиц полуночи!

Прогулка кончилась моя.
Пробили много раз куранты.
Устал читатель, да и я.
Прощайте, шпили старой Гранты!

28 октября 1806

ПОДРАЖАНИЕ КАТУЛЛУ

(Елене)

О, только б огонь этих глаз целовать
Я тысячи раз не устал бы желать.
Всегда погружать мои губы в их свет —
В одном поцелуе прошло бы сто лет.

Но разве душа утомится, любя.
Все льнул бы к тебе, целовал бы тебя,
Ничто б не могло губ от губ оторвать:
Мы все б целовались опять и опять;

И пусть поцелуям не будет числа,
Как зернам на ниве, где жатва спела.
И мысль о разлуке не стоит труда:
Могу ль изменить? Никогда, никогда.

16 ноября 1806

СТИХИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЛЕДИ, ПРИСЛАВШЕЙ АВТОРУ
ЛОКОН ЕГО И СВОИХ ВОЛОС, ПЕРЕВЯЗАННЫХ ВМЕСТЕ,
А ТАКЖЕ НАЗНАЧИВШЕЙ ЕМУ СВИДАНИЕ В СВОЕМ САДУ
ДЕКАБРЬСКОЙ НОЧЬЮ

Два этих локона, поверьте,
Связуют нас до самой смерти
Прочней, чем все пустые клятвы,
Хоть их услышите стократ вы.
Уж позади все испытанья:
Обеты, слезы, расставанья.
Зачем же попусту стенать нам,
Зачем друг друга ревновать нам
С одной лишь мыслью фантастической
Любовь представить романтической?
Есть персонаж у Шеридана,
Как вы, дитя самообмана.
Тут вы могли бы состязаться
В уменье пламенно терзаться.
Свой ум опасной пищей потчуя,
Вы пожелали, чтобы ночью я,
Окоченевший на морозе,
Вас долго ждал в смиренной позе
Под обнаженной сенью сада,
За что винить Шекспира надо,
Пославшего при лунном свете
Ромео в сад к его Джульетте.
Как жаль, что барды нам доселе
Страсть у камина не воспели!
Зима под рождество Христово
В Британии весьма сурова.
Другое дело — жить в Италии.
Там ночью нега и так далее...
Влечет любовь и нас, но все ж она
Всегда изрядно подморожена.
Поскольку дело в нашем климате,
Вы мой совет, быть может, примете:

Свидашь в полдень мы назначим,
Под солнцем, хоть и не горячим.
А если привлекает ночь вас,
Я вовсе посетить не прочь вас
В покоях, где, таясь от стужи,
Любить могли бы мы не хуже,
Чем летом, под листвою зеленой
В садах Аркадии хваленой.
И если бы затем — о боже! —
Я вами был отвергнут все же,
То уж тогда, на пальцы дуя,
Всю ночь томился бы в саду я.

1806

ЛОХНАГАР

Пусть в этом уютном саду по тропинке
Меж розами бродит избранник судьбы!
Верните мне горы, где дремлют снежинки
И мощно стихии встают на дыбы.
Священны вершин каледонских громады,
Любовь и свободу сулящие в дар;
Ручьи там не плещут, но бьют водопады,
Спадая в ущелье твое, Лохнагар.

Не там ли блуждал я в шотландском берете
И с клетчатым пледом на детских плечах;
Не там ли в сосновом бору на рассвете
Вверялся преданьям о давних вождах?
Я брел и не мыслил сворачивать к дому,
Пока не кончался заката пожар,
И путь открывался светилу ночному
Над сумрачной кручей твоей, Лохнагар.

«О тени усопших! Не вы ль надо мною
Скликались, затеяв с грозою игру?»
Конечно! То с пением мчатся герои,
Ликуя, гарцуют на горном ветру.
Все глубже зимы ледяное дыханье,
И праотцев хор — это грома удар,
И в тучах рисуются их очертапья,—
Им весело в бурях твоих, Лохнагар!

«Могли ли вы ждать, что порыв ваш бесплоден,
Что рок вашу храбрость на гибель обрек?»
Ах, все вы погибли в бою за Куллоден,
Победа не вам присудила венки.
Но слава достойных найдет и в могиле:
Ваш прах упокоил в пещерах Бремар,
Волыничик и дудочник вас не забыли,
Речей ваших отзвук хранит Лохнагар.

Увы! Я покинул обитель свободы;
Но голые скалы без трав и цветов
Досель мне милей укрощенной природы
И мирных красот альбионских садов.
Давно мы в разлуке, но сердце поныне
Во власти унылых таинственных чар.
О, вновь бы брести мне по дикой долине
К тебе, величавый седой Лохнагар!

1806

К АННЕ

О Анна! Меня вы обидой сразили.
Я думал, что гнев мой навек заклеил вас,
Но женщины вечно над нами царили:
На вас я взглянул и — едва не простил вас.

Я верил, что вновь не смогу уважать вас,
Но с вами в разлуке не прожил бы дня;
При встрече хотел подозреньем терзать вас —
Улыбкой своей вы смирили меня.

Я клялся, юнец, ослеплен возмущеньем,
Жестоко и вечно презреньем казнить вас...
При встрече сменился мой гнев восхищеньем,
И ныне желаю, как прежде, любить вас.

Красавица, с вами возможна ли ссора?
Смирненно теперь о прощенье молю вас
И только скажу в заключение спора:
Неверною станьте, когда разлюблю вас!

16 января 1807

К ЛЕДИ

О, если бы судьба моя
Сплелась с твоей, как нам мечталось,
Я пил бы радость бытия,
А не похмельную усталость.

Я порицаем, я судим
За безрассудств моих безмерность,
Никто не ведает, что им
Причиною твоя неверность.

И я, как ты, был чист душой,
И я страстей не слышал зова.
Но ты обет забыла свой
И осчастливила другого.

Быть может, в ваш союз разлад
Мое вмешательство внесло бы?
Но, твой избранник, мне он свят,
К нему питать не смею злобы.

Навек похищен мой покой
Твоею прелестью рассветной.
Что я нашел в тебе одной,
Искал потом во многих — тщетно!

Прощай, обманщица, прощай!
Увы, бесплодны сожаленья.
Душа, не жди, не вспоминай,
Проси у Гордости забвенья.

Гроза почтенных матерей,
Жрец надоевшей мне свободы,
Я в хладном хаосе страстей
Растрчивал пустые годы.

А стань моею ты,— тогда
Лицо, что ныне то и дело
Пылает пятнами стыда,
Румянцем бы счастливым рдело.

Я так любил тебя, так ждал,
Когда свои мы судьбы свяжем,
Грядущее воображал
Я буколическим пейзажем.

Теперь сошел я с той тропы,
Я у других забот в неволе,
И в шум бессмысленной толпы
Я прячусь от тоски и боли.

Но все ж забыться не могу!
Проснусь ли я, смежу ли веки —
Мысль неотвязная в мозгу:
Я разлучен с тобой навеки.

1807

* * *

Когда б я мог в морях пустынных
Блуждать, опасностью шутя,
Жить на горах, в лесах, в долинах,
Как беззаботное дитя, —
Душой, рожденной для свободы,
Сменить наперекор всему
На первобытный рай природы
Надменной Англии тюрьму!

Дай мне, судьба, в густых дубравах
Забыть рабов, забыть вельмож,
Лакеев и льстецов лукавых,
Цивилизованную ложь,
Дай мне над грозным океаном
Бродить среди угрюмых скал,
Где, не знаком еще с обманом,
Любил я, верил и мечтал.

Я мало жил, но сердцу ясно,
Что мир мне чужд, как миру я.
Ищу, гляжу во тьму — напрасно:
Он скрыт, порог небытия!
Я спал — и видел жизнь иную,
Мне снилось: вот он, счастья ключ!
Зачем открыл мне ложь земную
Твой, Правда, ненавистный луч!

Любил я — где мои богини?
Друзья — друзей пропал и след.
Тоскует сердце, как в пустыне,
Где путнику надежды нет.

Порою боль души глухую
Смирит вино на краткий срок,
И смех мой весел, я пирую,
Но сердцем — сердцем одинок.

Как скучно слушать за стаканом
Того, кто нам ни друг, ни враг,
Кто приведен богатством, саном
В толпу безумцев и гуляк.
О, где же, где надежный, верный
Кружок друзей найти б я мог?
На что мне праздник лицемерный,
Веселья ложного предлог!

А ты, о Женщина, не ты ли
Источник жизни, счастья, сил,
Но я — все чувства так остыли! —
Твою улыбку разлюбил.
Без сожалений свет мишурный
Сменил бы я на мир другой,
Чтоб на груди стихии бурной
Желанный обрести покой.

Туда, к великому безлюдью!
Я к людям злобы не таю,
Но дух мой дышит полной грудью
Лишь в диком, сумрачном краю.
О, если б из юдоли тесной,
Как голубь в теплый мир гнезда,
Уйти, взлететь в простор небесный,
Забыв земное навсегда!

1807

К МУЗЕ ВЫМЫСЛА

Царица снов и детской сказки,
Ребяческих веселий мать,
Привыкшая в воздушной пляске
Детей послушных увлекать!
Я чужд твоих очарований,
Я цепи юности разбил,
Страну волшебную мечтаний
На царство Истины сменил!

Проститься нелегко со снами,
Где жил я девственной душой,
Где нимфы мнятся божествами,
А взгляды их — как луч святой!
Где властвует Воображенье,
Все в краски дивные одев.
В улыбках женщин — нет уменья
И пустоты — в тщеславье дев!

Но знаю: ты лишь имя! Надо
Сойти из облачных дворцов,
Не верить в друга, как в Пилада,
Не видеть в женщинах богов!
Признать, что чужд мне луч небесный,
Где эльфы водят легкий круг,
Что девы лживы, как прелестны,
Что занят лишь собой наш друг.

Стыжусь, с раскаяньем правдивым,
Что прежде чтил твой скиптр из роз.
Я ныне глух к твоим призывам
И не парю на крыльях грез!
Глупец! Любил я взор блестящий
И думал: правда скрыта там!
Ловил я вздох мимолетающий
И верил деланным слезам.

Наскучив этой ложью черствой,
Твой пышный покидаю трон.
В твоём дворце царит Притворство,
И в нём Чувствительность — закон!
Она способна вылить море —
Над вымыслами — слез пустых,
Забыв действительное горе,
Рыдать у алтарей твоих!

Сочувствие, в одежде черной
И кипарисом убрано,
С тобой пусть плачет непритворно,
За всех кровь сердца льет оно!
Зови поплакать над утратой
Дриад: их пастушок ушел.
Как вы, и он пылал когда-то,
Теперь же презрел твой престол.

О нимфы! вы без затрудненья
Готовы плакать обо всем,
Гореть в порывах исступленья
Воображаемым огнем!
Оплачете ль меня печально,
Покинувшего милый круг?
Не вправе ль песни ждать прощальной
Я, юный бард, ваш бывший друг?

Чу! близятся мгновенья рока...
Прощай, прощай, беспечный род!
Я вижу пропасть недалеко,
В которой вас гибель ждет.
Вас властно гонит вихрь унылый,
Шумит забвения вода,
И вы с царицей легкокрылой
Должны погибнуть навсегда.

1807

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ ПОД СТАРЫМ ВЯЗОМ НА КЛАДБИЩЕ ХАРРОУ

Родная сень! К земле клоня листы,
Под вешним ветром тихо ропщешь ты,
А я — один — сижу в тени твоей,
Где встарь шумел веселый круг друзей —
Тех, кто, быть может, в дальней стороне
О прошлых днях грустит, подобно мне.
Сюда взойдя извиистой тропой,
Как сладостно люблюсь я тобой,
Мой старый вяз, чей шелест влек меня
Мечтать на склоне меркнущего дня!
Здесь надо мною тот же темный свод,
Здесь тот же мир, лишь я теперь не тот.
А ветви тихо стонут в вышине,
О днях былых напоминая мне,
И говорят: пока ты здесь, поэт,
Прими последний дружеский привет!

Я знаю, в час, назначенный судьбой,
Остынет грудь, страстей умрет прибой.
И мнится мне: отрадней смерти ждать —
Ах, если смерть отрадной может стать!

Коль сердцу там могила суждена,
Где лучшие ты ведал времена,
Где молод был, где счастлив был не раз —
Там будет легче встретить смертный час.
Пускай же здесь, где праздновал весну,
В краю надежд утраченных, засну,
Простерт под зыбким пологом листвы,
Благословленный шелестом травы,
Укрытый мхом, знакомым с детских лет,
Покрыт землей, что сберегла мой след,
Овеян снами юности моей,
Оплаканный друзьями юных дней,
Их тесным кругом в памяти храним
И позабытый миром остальным.

2 сентября 1807

К МОЕМУ СЫНУ

Взор синий, золото кудрей —
Ты слепок с матери твоей,
Ты все сердца к себе привлек
Улыбкой, ямочками щек,
А для меня в них мир другой —
Мир счастья, сын мой дорогой!

Но ты не Байрон, так кого ж,
Мой мальчик, ты отцом зовешь?
Нет, Вильям, от забот отца
Не откажусь я до конца,
И мне простит мой грех один
Тень матери твоей, мой сын.

Укрыли прах ее цветы,
Чужою грудью вскормлен ты.
Насмешкой встречен, наг и сир,
Без имени вошел ты в мир,
Но не грусти, ты не один,
С тобою твой отец, мой сын.

И что мне злой, бездушный свет!
Природой пренебречь? О нет!
Пусть моралисты вне себя,
Дитя любви, люблю тебя.

От юных радостей один
Отцу остался ты, мой сын.

Недопит кубок жизни мной,
Не блещет волос сединой,
Так младшим братом будь моим,
А я, мой светлый херувим,
Всю жизнь, какая мне дана,
Как долг, отдам тебе сполна.

Пусть молод, ветрен я, ты все ж
Во мне всегда отца найдешь,
И мне ль остыть, когда мою
В тебе я Элен узнаю,
И мне, как дар счастливых дней,
Мой сын, ты дорог тем сильнее.

1807

РАССТАВАНИЕ

Помнишь, печалась,
Склонясь пред судьбой,
Мы расставались
Надолго с тобой.

В холоде уст твоих,
В сухости глаз
Я уж предчувствовал
Нынешний час.

Был этот ранний
Холодный рассвет
Началом страданий
Будущих лет.

Удел твой — бесчестье.
Молвы приговор
Я слышу — и вместе
Мы делим позор.

В толпе твое имя
Тревожит любой.
Неужто родными
Мы были с тобой?

Тебя называют
Легко, не скорбя,
Не зная, что знаю
Тебя, как себя.

Мы долго скрывали
Любовь свою,
И тайну печали
Я так же таю.

Коль будет свиданье
Дано мне судьбой,
В слезах и молчанье
Встречусь с тобой!

1808

* * *

Нет времени тому названья,
Его вовек не позабыть,
Когда все чувства, все желанья
Для нас слились в одно — любить!

Когда уста твои впервые
Слова любви произнесли,
Моей души терзанья злые
К тебе, я знаю, не дошли.

И как мне тяжело, грустно было,
Когда любовь ушла твоя,
Когда беспечно ты забыла
О том, что вечно помню я!

Одно осталось утешенье:
Мне довелось из уст твоих
Услышать слово сожаленья
О днях, для сердца дорогих.

О да, и добрая и злая,
Хоть вновь любить не можешь ты,—
Теперь я все тебе прощаю
За ту минуту доброты.

И вновь я счастлив, как бывало:
Душа не хочет помнить зла.
Какой бы ты теперь ни стала,
Ты лишь моей в те дни была!

10 июля 1808

* * *

Умру, оплаканный тобой, —
О леди, молви это снова!
Но нет — души твоей покой
Я не хочу смущать. Ни слова.

Печально сердце; все мечты
Развеяны, как горстка пыли.
Когда погибну, только ты
Придешь вздохнуть к моей могиле.

И все ж, пронзая полог туч,
Во тьме душевного ненастья,
Отныне мне сияет луч
Твоей заботы и участия.

О леди! Каждая слеза,
Что ты прольешь, — двойное благо
Отверженному, чьи глаза
Давно не орошала влага.

Теперь в груди моей — зима,
В ней веет стужей ледяною;
И даже красота сама,
Увы, бессильна надо мною.

Умру, оплаканный тобой, —
О леди, молви это снова!
Но нет: души твоей покой
Я не хочу смущать. Ни слова.

12 августа 1808

Зачем напоминаешь вновь
О днях, когда любили мы?
Их не забыть — нет, не забыть,
Пока не отпылает кровь
В жестоком холоде зимы
И мы не перестанем быть!

Забыть ли мне, забыть ли нам,
Как золотом твоих волос
Играл я, погружась в мечты?
Пусть нет возврата прежним дням,—
Я в памяти своей пронес
Твои прекрасные черты.

И мнится мне: на грудь мою
Склонилась ты; полупризыв,
Полуупрек таит твой взгляд.
Мы отдаемся забвению,
Два пламени соединив,
И сердце с сердцем бьется в лад.

Но вот затихла ты — и вмиг
Глаза твои — лазурный день! —
Сокрылись под завесой век.
На ослепительный твой лик
Густых ресниц ложится тень,
Как ворона крыло — на снег.

Мне снился сон: своей рукой
Судьба соединила нас,—
И было на душе светлей,
Чем въявь в объятиях другой:
Прекрасней я не видел глаз
В безумном бытии страстей.

Зачем же говоришь с тоской
О тех — давно минувших — днях?
Их тень нас волновать властна,
Пока под каменной плитой
Не упокоится наш прах,
Бесчувственный, как и она.

13 августа 1808

ТЫ СЧАСТЛИВА

Ты счастлива,— и я бы должен счастье
При этой мысли в сердце ощутить;
К судьбе твоей горячего участия
Во мне ничто не в силах истребить.

Он также счастлив, избранный тобою —
И как его завиден мне удел!
Когда б он не любил тебя — враждою
К нему бы я безмерно кипел!

Изнемогал от ревности и муки
Я, увидав ребенка твоего;
Но он ко мне простер с улыбкой руки —
И целовать я страстно стал его.

Я целовал, сдержавши вздох невольный
О том, что на отца он походил,
Но у него твой взгляд,— и мне довольно
Уж этого, чтоб я его любил.

Прощай! Пока ты счастлива, ни слова
Судьбе в укор не посылаю я.
Но жить, где ты... Нет, Мэри, нет! Иль снова
Проснется страсть мятежная моя.

Глупец! Я думал, юных увлечений
Пыл истребят и гордость и года.
И что ж: теперь надежды нет и тени —
А сердце так же бьется, как тогда.

Мы свиделись. Ты знаешь, без волненья
Встречать не мог я взоров дорогих:
Но в этот миг ни слово, ни движенье
Не выдали сокрытых мук моих.

Ты пристально в лицо мне посмотрела;
Но каменным казалось оно.
Быть может, лишь прочесть ты в нем успела
Спокойствие отчаянья одно.

Воспоминанье прочь! Скорей рассейся
Рай светлых снов, снов юности моей!
Где ж Лета? Пусть они погибнут в ней!
О сердце, замолчи или разбейся!

2 ноября 1808

ДАМЕ, КОТОРАЯ СПРОСИЛА, ПОЧЕМУ Я
ВЕСНОЙ УЕЗЖАЮ ИЗ АНГЛИИ

Как грешник, изгнанный из рая,
На свой грядущий темный путь
Глядел, от страха замирая,
И жаждал прошлое вернуть,

Потом, бродя по многим странам,
Таить учился боль и страх,
Стремясь о прошлѳм, о желанном
Забывать в заботах и делах,—

Так я, отверженный судьбою,
Бегу от прелести твоей,
Чтоб не грустить перед тобою,
Не звать невозвратимых дней,

Чтобы, из края в край блуждая,
В груди своей убить змею.
Могу ль томиться возле рая
И не стремиться быть в раю!

2 декабря 1808

* * *

Прости! Коль могут к небесам
Взлетать молитвы о других,
Моя молитва будет там,
И даже улетит за них!
Что пользы плакать и вздыхать?
Слеза кровавая порой
Не может более сказать,
Чем звук прощанья роковой!..

Нет слез в очах, уста молчат,
От тайных дум томится грудь,
И эти думы вечный яд,—
Им не пройти, им не уснуть!
Не мне о счастье бредить вновь,—
Лишь знаю я (и мог снести),
Что тщетно в нас жила любовь,
Лишь чувствую — прости! прости!

1808

СТАПСЫ К НЕКОЙ ДАМЕ,
НАПИСАННЫЕ ПРИ ОТЪЕЗДЕ ИЗ АНГЛИИ

Пора! Прибоя слышен гул,
Корабль ветрила развернул,
И свежий ветер мачту гнет,
И громко свищет, и поет;
Покину я мою страну:
Любить могу я лишь одну.

Но если б быть мне тем, чем был,
Но если б жить мне так, как жил,
Не рвался я бы в дальний путь!
Я не паду тебе на грудь
И сном блаженным не засну...
И все ж люблю я лишь одну.

Давно не видел я тот взгляд,
Причину горя и отград;
Вотще я не жалел труда
Забуть о нем — и навсегда;
Да, хоть я Альбион клянупу,
Любить могу я лишь одну.

Я одинок средь бурь и гроз,
Как без подруги альбатрос.
Смотрю окрест — надежды нет
Мне на улыбку, на привет;
В толпе я шумной потону —
И все один, люблю одну.

Прорезав пенных волн грядупу,
Я на чужбине дом найду,
Но, помня милый, лживый лик,
Не успокоюсь ни на миг
И сам себя не обманупу,
Пока люблю я лишь одну.

Любой отверженный бедняк
Найдет приветливый очаг,
Где дружбы иль любви тепло
Его бы отогреть могло...
Кому я руку протяпупу,
Любя до смерти лишь одну?

Я странник, — но в какой стране
Слеза прольется обо мне?
В чьем сердце отыскать бы мог
Я самый скромный уголок?
И ты, пустив мечту ко дну,
Смолчишь, хоть я люблю одну.

Подробный счет былых потерь —
Чем были мы, что мы теперь —
Разбил бы слабые сердца,
Мое же стойко до конца,
Оно стучит, как в старину,
И вечно любит лишь одну.

И чернь тупая не должна
Вовек узнать, кто та «одна»;
Кем презрена любовь моя,
То знаешь ты — и стражду я...
Немногих, коль считать начну,
Найду, кто б так любил одну.

Плениться думал я другой,
С такой же дивною красой,
Любить бы стало сердце вновь,
Но из него все льется кровь,
Ему опять не быть в плену:
Всегда люблю я лишь одну.

Когда б я мог последний раз
Увидеть свет любимых глаз...
Нет! Плакать я не дам о том,
Кто страждет на пути морском,
Утратив дом, мечту, весцу,
И все же любит лишь одну.

1809

НАПОЛНЯЙТЕ СТАКАНЫ!

Песня

Наполняйте стаканы! Не правда ль, друзья,
Веселей никогда не кипела струя!
Пьем до дна — кто не пьет? Если сердце полно,
Без отравы веселье дарит лишь вино.

Все я в мире изведаль, что радует нас,
Я купался в лучах темнопламенных глаз,
Я любил,— кто не любит? — но даже любя,
Не назвал я ни разу счастливым себя.

В годы юности, в бурном цветенье весны,
Верил я, что сердца неизменно верны,
Верил дружбе,— кого ж не пленяла она? —
Но бывает ли дружба вернее вина!

За любовь приходит разлуке черед,
Солнце дружбы зашло, но твое не зайдет,
Ты стареешь,— не всем ли стареть суждено? —
Но лишь ты чем старше, тем лучше, вино.

Если счастье любовь уготовила нам,
Мы другому жрецу не откроем свой храм,
Мы ревнуем,— не так ли? — и друг нам не друг.
Лишь застольный чем больше, тем радостней круг.

Ибо юность уходит подобно весне,
И прибежище только в пурпурном вине,
Только в нем — ведь недаром! — признал и мудрец
Вечной истины кладезь для смертных сердец.

Упущеньем Пандоры на тысячи лет
Стал наш мир достояньем печалси и бед.
Нет надежды,— но что в ней? — целуйте стакан,
И нужна ли надежда! Тот счастлив, кто пьян!

Пьем за пламенный сок! Если лето прошло,
Нашу кровь молодит винограда тепло.
Мы умрем,— кто бессмертен? — но в мире ином
Да согреет нас Геба кипящим вином!

1809

СТРОКИ МИСТЕРУ ХОДЖСОНУ

Ходжсон, в путь, да поживее!
Снят запрет, отплыть пора.
Парус поднят, мерно веет
Благодатный бриз — ура!
Вымпелами грот увенчан,
Салютуют пушки нам;

Час разлуки! Вопли женщин,
Матросни божба и гам;
Гневны лица —
Негде скрыться
От таможенных шпиков;
Мышка еле
Влезет в щели
Меж тюков и сундуков.
Где приткнуться? — вот забота
Пред отплытьем пакетбота.

Лодочник, отдай швартовы!
Пассажиры собрались,
Вот багаж, и все готовы,
Эй, на весла навались!
— Осторожней, тут спиртное!
— Ах, мне плохо! — Плохо вам?
Знайте, будет хуже вдвое,
Черт бы вас побрал, madame!
Крики, слезы
И угрозы
Слуг, матросов, дам, господ,
Ахи, взвизги,
Страхи, брызги —
Все слилось в водоворот.
Да, нелегкая работа
Догрести до пакетбота.

Наконец-то мы у цели!
Правит судном бравый Кид;
Мы каюты осмотрели —
Кто плюется, кто рычит:
— Эта вот дыра — каюта?!
— Гнома негде уложить!
— Есть тут три квадратных фута?
— Кто здесь, к черту, сможет жить?!
— Кто? Да каждый
Самый важный,
Самый знатный из вельмож!
— Что? Вельможа?
Правый боже!
Он с селедкой станет схож!
Нет, уюта не найдете —
Шум, жара на пакетботе.

Флетчер, Меррей, Боб упали
У фальшборта, как мешки;
Ну-ка, привяжи их, парень,
На собачьи поводки!
При последнем издыханье,
Проклиная все вокруг,
Завтрак вместе со стихами
Выблевал Хобхауз в люк,
Словно в Лету...
— Мочи нету!
— Что, помочь сложить стишки?
— Чашку чаю!
— Погибаю!
— Дьявол! Лезут вон кишки!
Где тут выдержать! Умрете
На проклятом пакетботе.

Курс проложен до Стамбула;
Не собьемся ли с пути?
Встречным ветром вдруг задуло,
В щепки может разнести.
«Жизнь — сплошная клоунада», —
Учит философский том;
Значит, нам смеяться надо,
И смеяться вновь — потом;
В поле, в море,
В счастье, в горе,
Над природой и людьми;
Пей стаканом —
Смейся пьяным,
Что уж лучше, черт возьми!
Доброе вино в почете —
Хватит всем на пакетботе.

Фалмут, 30 июня 1809

ДЕВУШКА ИЗ КАДИКСА

Не говорите больше мне
О северной красе британки;
Вы не извели вполне
Все обаянье кадиксанки.

Лазури нет у ней в очах,
И волоса не золотятся;
Но очи искрятся в лучах
И с томным оком не сравнятся.

Испанка, словно Прометей,
Огонь похитила у неба,
И он летит из глаз у ней
Стрелами черными Эреба.
А кудри — ворона крыла:
Вы б поклялись, что их извивы,
Волною падая с чела,
Целуют шею, дышат, живы...

Британки зимне-холодны,
И если лица их прекрасны,
Зато уста их ледяны
И на привет уста безгласны;
Но Юга пламенная дочь,
Испанка, рождена для страсти —
И чар ее не превозмочь,
И не любить ее — нет власти.

В ней нет кокетства: ни себя,
Ни друга лаской не обманет;
И, ненавидя и любя,
Она притворствовать не станет.
Ей сердце гордое дано:
Купить нельзя его за золото,
Но неподкупное — оно
Полюбит надолго и свято.

Ей чужд насмешливый отказ;
Ее мечты, ее желанья —
Всю страсть, всю преданность на вас
Излить в годину испытанья.
Когда в Испании война,
Испанка трепета не знает,
А друг ее убит — она
Врагам за смерть копьём отмщает.

Когда же, вечером, порхнет
Она в кружок веселый танца,
Или с гитарой запоеет
Про битву мавра и испанца,

Иль четки нежною рукой
Начнет считать с огнем во взорах,
Иль у вечерни голос свой
Сольет с подругами на хорах —

Во всяком сердце задрожит,
Кто на красавицу ни взглянет,
И всех она обворожит,
И сердце взорами приманит...
Осталось много мне пути,
И много ждет меня приманки,
Но лучше в мире не найти
Мне черноокой кадиксанки!

1809

В АЛЬБОМ

Как одинокая гробница
Вниманье путника зовет,
Так эта бледная страница
Пусть милый взор твой привлечет.

И если после многих лет
Прочтешь ты, как мечтал поэт,
И вспомнишь, как тебя любил он,
То думай, что его уж нет,
Что сердце здесь похоронил он.

14 сентября 1809

СТАНСЫ, НАПИСАННЫЕ У АМВРАКИЙСКОГО ЗАЛИВА

Я вижу Аквиум. Над ним
Луна сияет величаво...
Здесь Египтянке отдал Рим
Свое владычество и славу.

Здесь сотни воинов лежат
На дне лазурного залива,
Здесь был венок героя смят
В угоду женщине красивой...

О Флоренс, Флоренс! Я влюблен!
Я, как Орфей, вздыхаю страстно:
Извечно прост любви закон:
Я смел и юн, а вы прекрасны!

В те дни, когда для милых фей
Гремела песнь и сталь сверкала,
Могли б вы прелестью своей
Привлечь Аптониев немало!

Пусть я отдать не в силах вам
Миров и царств, мой друг бесценный,
Но вас, клянусь, я не отдам
За все сокровища вселенной!

14 ноября 1809

НАПИСАНО ПОСЛЕ ТОГО, КАК Я ПРОПЛЫЛ
ИЗ СЕСТОСА В АБИДОС

Леандр декабрьскою порою,
Едиборствуя с волной
(Все девы помнят о герое!),
Переплывал пролив ночной.

Слепил он, пылкий, к нежной Геро
Под рев раскатов грозových;
Поток твой буйный, о Венера,
Их разделял — как жаль мне их!

А я сейчас, в разгаре мая,
Больного века сын больной,
Продрогнув до костей, чихая,—
Я возомнил, что я герой.

По сведениям недостоверным,
Штурмуя вплавь за валом вал,
Он был любовником примерным;
А я — я славу штурмовал.

Кто пострадал сильней? Доселе
Мстят боги за излишний пыл:
Он жизнь утратил, я — веселье,
Он утонул, а я простыл.

9 мая 1810

ЭПИТАФИЯ САМОМУ СЕБЕ

Природа, юность и всеильный бог
Хотели, чтобы я светильник свой разжег,
Но Романелли-врач в своем упорстве страшен;
Всех трех он одолел, светильник мой погашен!

3 октября 1810

ПЕСНЯ ГРЕЧЕСКИХ ПОВСТАНЦЕВ

О Греция, восстань!
Сиянье древней славы
Борцов зовет на брань,
На подвиг величавый.

К оружию! К победам!
Героям страх неведом.
Пусть за нами следом
Течет тиранов кровь.

С презреньем сбросьте, греки,
Турецкое ярмо,
Кровью вражеской навеки
Смойте рабское клеймо!

Пусть доблестные тени
Героев и вождей
Увидят возрожденье
Эллады прежних дней.

Пусть встает на голос горна
Копьеносцев древних рать,
Чтоб за город семигорный
Вместе с нами воевать.

Спарта, Спарта, к жизни новой
Подымайся из руин
И зови к борьбе суровой
Вольных жителей Афин.

Пусть в сердцах воскреснет
И нас объединит
Герой бессмертной песни,
Спартанец Леонид.

Он принял бой неравный
В ущелье Фермопил
И с горсточкою славной
Отчизну заслонил.

И, преградив теснины,
Три сотни храбрецов
Омыли кровью львиной
Дорогу в край отцов.

К оружию! К победам!
Героям страх неведом.
Пусть за нами следом
Течет тиранов кровь.

1811

СТИХИ,
НАПИСАННЫЕ ПРИ РАССТАВАНИИ

О дева! Знай, я сохраню
Прощальное лобзанье
И губ моих не оскверню
До нового свиданья.

Твой лучезарный нежный взгляд
Не омрачится тенью,
И слезы щек не оросят
От горького сомненья.

Нет, уверений не тверди,—
Я не хочу в разлуке
Напрасно воскрешать в груди
Спасительные звуки.

И ни к чему водить пером,
Марая лист несмело.
Что можно выразить стихом,
Коль сердце онемело?

Но это сердце вновь и вновь
Твой образ призывает,
Лелеет тайную любовь
И по тебе страдает.

Март 1811

ПРОЩАНИЕ С МАЛЬТОЙ

Прощай, смешная Ла-Валетта!
Прощай, жара в преддверье лета!
Прощай, дворец, пустой и скучный!
Прощай, провинциал радушный!
Прощай, торговец нерадивый!
Прощай, народ многоречивый!
Прощай, мой карантин, причина
Злой лихорадки, злого сплипа!
Прощайте улочек ступени
(По вам взбираться нет терпенья).
Прощайте слухи (не дивись им:
Наш пакетбот опять без писем).
Прощай, мой Питер, ты не скоро
Научишь танцевать майора.
Прощай, театр, где отчего-то
Нас, господа, брала зевота.
Прощайте, местные кумиры!
Прощайте, красные мундиры
И лица красные военных,
Самодовольных и надменных!
Я еду, а когда — бог знает, —
Туда, где выси дым пятнает,
Где над домами вечный мрак,
Где скверно так же — и не так.

Нет, не прощайте, до свиданья,
Сыны лазурного сиянья!
На Понта берегах спокойных
Не помнят о вождях и войнах;
Зато балы, кружки, обеды
Для нас — бои, для дам — победы.
(О Муза, каюсь, виноват
И пошлой рифме сам не рад.)

Теперь помянем миссис Фрейзер.
Но не забудь признаний гейзер:
Когда бы я свой стих ценил
Дороже этих вот чернил,
Я строчки две без промедленья
Ей преподнес бы в умиленья.
Нет нужды! Жизнь ее светла,
Давно приелась ей хвала

За щедрость сердца, живость чувства
И грациозность без искусства.
Не ей, счастливой, благодать
В досужих песенках искать.

Что ж, Мальта, раз ты приняла нас,
Не мне бранить тебя за странность,
На духоту твою сердиться,
О гарнизонная теплица!
Гляжу в окошко, озадачен,
На что сей остров предназначен;
Затем в моем уединенье
Беру перо, берусь за чтение,
Глоताю горькое лекарство
В усугубление мытарства,
Ночной колпак тяну на лоб...
О боже! Так и есть: озноб.

26 мая 1811

ПОСЛАНИЕ ДРУГУ
В ОТВЕТ НА ПРИЗЫВ
БЫТЬ ВЕСЕЛЫМ И «ГНАТЬ ПЕЧАЛЬ»

«Гони печаль» — ко мне стремглав
Влетел девиз твоих забав.
Не спорю, он меня живил,
Когда в отчаянье, без сил,
Разгулом боль свою глуша,
«Гнала печаль» моя душа.
Но в этот час страданье будит
Все то, что было, есть и будет.
Все то, что я любил когда-то,
Изжито, отнято, изъято...
И что скрывать, мы оба знаем,
Что сам я стал неузнаваем.
Но если дружеская связь
Меж нами не оборвалась
И тягу к высшему началу
Душа в пирах не потеряла —
Увещевай, хвали, кори,
Но о любви не говори.

Тому, чьи чувства — взаперти,
Легко ли путь к сердцам найти?
Едва ли грустный мой рассказ
Проймет кого-нибудь из вас,
Едва ли стоит теревить
Любви оборванную нить...
Моя невеста не со мной
Стояла в церкви под фатой.
Ее ребенок мне кивал —
Я с болью в сердце узнавал
Резной овал знакомых губ,
Который с детства был мне люб.
Ее победный, гордый взгляд
Моим страданьям был бы рад.
Но по-актерски безупречно
Я укрывал свой жар сердечный
И, вопреки желаньям страстным,
Умел казаться безучастным.
Ребенка гладил по лицу,
Завидуя его отцу,
Но в каждой ласке виден был
Моей любви нетленный пыл.

Но хватит слов. Я не ропщу
И дальних странствий не ищу,
И в тихой гавани, угрюм,
Обрел покой мой пленный ум.
Но если трудный час настанет
И «май Британии увянет»,
Молва шепнет тебе, пожалуй,
О том, кто, в злобе небывалой
Чураясь славы и похвал,
В грехах от века не отстал,
Кто в честолюбье непреклонном
Противоборствовал законам,
Кто вписан на страницы книг
Как самый ярый бунтовщик.
Но ты один поймешь причину.
Его падения в пучину.

11 октября 1811

К ТИРЗЕ

Ни камень там, где ты зарыта,
Ни надпись языком немым
Не скажут, где твой прах... Забыта!
Иль не забыта — лишь одним.

В морях, на корабле бегущем
Я нес любовь сквозь все года.
Нас жизнь и Прошлым и Грядущим
Хотела сблизить... Никогда!

Я отплывал. Я ждал — хоть взглядом
Ты скажешь: «Мы навек друзья!»
Была бы легче боль — и ядом
Не стала бы тоска моя.

Когда часы текли к кончине,
Когда без мук она пришла,
Того, кто верен и донине,
Ужель ты сердцем не ждала?

Как мной, была ль ты кем любима?
И кто в последний горький час
Следил, как смерть неумолимо
Туманит блеск прекрасных глаз?

Когда же от земной печали
Ты отошла в иной приют,
Чьи слезы по щекам бежали,
Как по моим они бегут?

И как не плакать! О, виденья
Тех зал, тех башен, где с тобой
Я знал и слезы умиленья,
Еще не кинут в даль судьбой,

И взгляд, незримый для другого,
И смех, в глазах мелькавший вдруг,
И мысль, понятную без слова,
И дрожь соединенных рук,

И робкий поцелуй, которым
Дарит Любовь, смиряя Страсть,
Когда пред ясным, чистым взором
Желанье вмиг теряет власть,

И речи звук, вливавший радость,
Когда я был угрюм и тих,
И этих райских песен сладость,
Которой нет в устах других.

Залог, что мы тогда носили, —
Где твой? — на сердце мной храним.
Страданье нес я без усилий
И в первый раз клонюсь под ним.

Оставив мне лишь кубок яда,
Ушла ты рано в мир другой,
И нет возврата, — и не надо,
Когда лишь там, в гробу, покой.

Но если чистых душ селенья
Того, кто чужд пороку, ждут,
О, дай мне часть благословенья
И вырви из юдольных пут.

И научи терпеть, прощая, —
Таким был ранним твой урок,
Такой была любовь земная,
Что встреча в небе — наш залог.

11 октября 1811

* * *

1

Нет, не хочу ни горьких слов,
Ни слов, ласкавших прежде слух!
Бегу от этих берегов
И навсегда к их песням глух.
Те звуки рождены в былом,
И воскрешать его — нет сил.
Забывать, не вспоминать о том,
Каким я стал, каким я был!

2

Их пел волшебный голос тот,
Но так давно умолкнул он,
И мне слышнее что ни год
В них скорбный погребальный звон.

Да, Тирза, да, в них образ твой,
Но ты мертва, мертва,— с тех пор
Где сердцу был созвучный строй,
Там для него нестройный хор.

3

Все смолкло! Но звучит опять
Тот голос — эхо лучших дней.
Я не хочу ему внимать,
Он умер, умер вместе с ней.
Но вдруг мне снится вновь: жива!
Я слышу речь ее во сне.
Проснусь — хочу понять слова,
Но внемлю мертвой тишине.

4

О Тирза, явь ли то иль сон,
Ты стала для меня Мечтой —
Ушедшей вдаль, за небосклон,
Звездой над зыбкой глубиной.
И кто сквозь горе и беду
Шагает, бурями гоним,
Тот помнит яркую звезду,
В ночи сиявшую над ним.

6 декабря 1811

* * *

1

Еще усилье — и, постылый,
Развеян гнет бесплодных мук.
Последний вздох мой тени милой —
И снова в жизнь и в тот же круг.
И даже скуке, в нем цветущей,
Всему, что сам отверг, я рад.
Тому не страшен день грядущий,
Кто в прошлом столько знал утрат.

Мне нужен пир в застолье шумном,
 Где человек не одинок.
 Хочу быть легким и бездумным,
 Чтоб улыбаться всем я мог,
 Не плача ни о ком... Когда-то
 Я был другим. Теперь не то.
 Ты умерла, и нет возврата,
 И мир ничто, где ты — ничто.

Но лире скорбь забыть едва ли.
 Когда улыбка — маска слез,
 Она насмешка для печали,
 Как для могилы — свежесть роз.
 Вино и песня на мгновенье
 Сотрут пережитого след.
 С безумством дружно наслажденье,
 Но сердце — сердцу друга нет.

Нам звезды кроткими лучами
 Отраднй мир вливают в грудь.
 Я сам бессонными ночами
 Любил глядеть на Млечный Путь.
 На корабле в Эгейском море
 Я думал: «Эта же луна
 И Тирзу радует». Но вскоре
 Светила ей на гроб она.

В ознобе, мучась лихорадкой,
 Одной я мыслью был согрет:
 Что Тирза спит, как прежде, сладко
 И что моих не видит бед.
 Как слишком позднюю свободу —
 Раб стар, к чему менять судьбу! —
 Я укорять готов Природу
 За то, что жив, а ты — в гробу.

Той жизни, что казалась раем,
 Ты, Тирза, мне дала залог.
 С тех пор он стал неузнаваем,
 Как от печали, он поблек.
 И ты мне сердце подарила,
 Увы, оно мертво, как ты!
 Мое ж угасло и остыло,
 Но сберегло твои черты.

Ты, грустно радующий взоры,
 Залог прощальный лучших дней!
 Храни Любовь — иль грудь, к которой
 Ты прижимаешься, разбей!
 Что боль, и смерть, и безнадежность
 Для чувств, не сдавшихся годам!
 За ту святую к мертвой нежность
 Я ста живых любовь отдам.

1812

ЭВТАНАЗИЯ

Пусть рано, поздно — то мгновенье
 Придет — и вступит Смерть в мой дом.
 Тогда овей меня, Забвенье,
 Всепримиряющим крылом.

Наследства ждущей алчной своре
 Закрой к усопшему пути.
 Ни плакальщиц в притворном горе,
 Ни близких сердцу не зови.

Без шума из земного круга,
 Без лишних слов уйду во тьму,
 Не беспокоя даже друга,
 Не портя пира никому.

А ты, Любовь, без жалоб тоже,
 Ту силу, что дана Любви,
 И мне, как дар на смертном ложе,
 И ей — кто будет жить — яви.

Дай видеть мне, моя Психея,
Твою улыбку до конца,
И стихнет боль моя, слабея
При виде милого лица.

Но ты, как жизнь, уйти готова,
А слезы из прекрасных глаз
Обманут в смутный миг живого,
Но ранят сердце в смертный час.

Так пусть угасну одинокий,
Без жалоб, без речей, без слез.
Ведь многих в Вечность миг жестокий
На мягких крыльях перенес.

Уходят все. А Время нудит:
«Пора! Умри!» И замкнут круг.
А там — а там тебя не будет,
Ты завершил дорогу мук.

Он близок, день, зовущий к тризне,
Сочти же блага прошлых дней,
И ты поймешь: кем ни был в жизни,
Не быть, не жить — куда верней.

1812

! * *

1

Мертва! Любимой, молодой
Угасла в цвете лет,
Чаруя нежной красотой,
Которой равных нет.
Где б ни был прах твой — пусть он скрыт,
Иль праздный люд пад ним шумит,—
Я не ищу твой след
И не хочу в тоске бессильной
Глядеть па холмик твой могильный.

2

То место, где укрылась ты,—
Не знаю, где оно.
Сорняк на нем или цветы —
Теперь не все ль равно!

Но знаю: все, что я любил,
Чем жил, дышал и счастлив был —
Все в тлен обращено.
И знаю без похвал надгробных:
Мертва — и нет тебе подобных!

3

Да, я любил, люблю тебя,
Ты для меня — одна!
Ты умерла, меня любя,
И в смерти мне верна.
Где смерть прошла, навеки там,
Назло наветам, лжи, годам,
Любовь освящена.
И я — каким ни стал бы дальше —
Для мертвой чужд измен и фальши.

4

Я в праздник жизни был с тобой
Теперь оди я, верь.
Закаты, звезды, волн прибой —
Не для тебя теперь.
Но так завиден мне твой сон,
Что, подавив сердечный стон,
Я не считал потерь.
Стареть — всему закон в подлунной,
Ты ж для меня осталась юной.

5

Зачем красивейшим цветам
Дано так мало дней?
Цветок не сорван — значит, сам
Увянет тем быстрее.
Но если должен лепесток
За лепестком поблекнуть в срок,
Сорви — и не жалеи!
Не жди, покуда благородство
И красоту уьет уродство.

Такою старость предстает
 В распаде красоты.
 Чем краше день, тем хуже гнет
 Растущей темноты.
 Наш день, ярчайший в беге дней,
 Светился красотой твоей
 До гробовой черты.
 Так ярче, наземь упадая,
 Звезда блистает золотая.

О слезы, слезы! — где их взять
 Забывшему покой?
 Не быть с тобою, не стоять,
 Не плакать над тобой!
 Не целовать кудрей кольцо,
 Не видеть, не глядеть в лицо,
 Не поддержать рукой!
 Не выразить любви у гроба,
 Которой мы лишились оба!

Что ж лучше, — пусть в могиле ты! —
 Что радостней, ответь,
 Чем быть хоть силою мечты
 С тобой, с тобой и впредь,
 Чем знать, что вопреки судьбе
 Все то сберег я, что в тебе
 Не может умереть,
 Что не вернуть любви, и все же
 Лишь ты *живая* — мне дороже.

Февраль 1812

* * *

Когда твой образ в шумный день
 Как бы тускнеет предо мной,
 Ты вновь, возлюбленная тень,
 Ко мне приходишь в час ночной.

И я, минувшим унесен,
Тоскую в грустной тишине,
И вновь из сердца рвется стон,
Таившийся при ярком дне.

Прости! Когда средь людных зал,
Смеясь тоске наперекор,
Я миг веселью отдавал,
Себе готовя злой укор,—
Ты не была забыта мной,
Была с тобой душа моя,
Хоть я шутил — тебе одной
Принадлежавший вздох тая.

Пусть мой стакан опорожнен —
Я не лекарство от забот,
Но яд искал, которым он,
Быть может, боль души убьет.
Я муку в нем топил свою,
Противоборствуя судьбе,
Но тот фиал я разобью,
Где тонет память о тебе.

Когда б ушла из сердца ты,
Другой заполнится ль оно?
Кто принесет на гроб цветы
Для той, кто умерла давно?
Нет, нет! Хранить покой могил —
Вот гордость одиноких дней!
И если мир тебя забыл,
Я мертвой буду тем верней.

Ты также плакала не раз
О том, кто лишь тобой любим,
Кто, не оплакан в смертный час,
Уйдет во тьму для всех чужим.
Мечта, взлелеянная мной,
Так ослепительна была!
Но нет, не для любви земной
Из рая в мир ты низошла.

14 марта 1812

ОДА АВТОРАМ БИЛЛИЯ
ПРОТИВ РАЗРУШИТЕЛЕЙ СТАНКОВ

О Райдер и Элдон, достойную лепту
Внесли вы, чтоб Англии мощь укрепить!
Но хворь не излечат такие рецепты,
А смогут, пожалуй, лишь смерть облегчить.
Орава ткачей, это стадо смутьянов,
От голода воя, на помощь зовет —
Так вздернуть их оптом под дробь барабанов
И этим исправить невольный просчет!

Нас грабят они беспардонно и ловко,
И вечно несыты их жадные рты —
Так пустим немедленно в дело веревку
И вырвем казну из когтей нищеты.
Сборка машины труднее зачатия,
Прибыльней жизни паршивый чулок.
Делу торговому и демократии
Виселиц ряд расцвести бы помог.

Для усмиренья отродий плебейских
Ждут приказанья двадцать полков,
Армия сыщиков, рой полицейских,
Свора собак и толпа мясников.
Иные вельможи в свои преступленья
Втянули бы судей, не зная стыда.
Но лорд Ливерпуль отказал в одобренье,
И ныне расправу вершат без суда.

Но в час, когда голод о помощи просит,
Не всем по нутру выносить произвол
И видеть, как ценность чулка перевозносят
И кости ломают за сломанный болт.
А если расправа пойдет не на шутку,
Я мыслей своих не намерен скрывать,
Что первыми надо повесить ублюдков,
Которым по вкусу петлей врачевать.

Март 1812

СТРОКИ К ПЛАЧУЩЕЙ ЛЕДИ

Плачь, дочь несчастных королей,
Бог покарал твою страну!
И если бы слезой своей
Могла ты смыть отца вину!
Плачь! Добродетельной мольбе
Внимает страждущий народ —
За каждую слезу тебе
Он утешенье воздает!

Март 1812

ЛЮБОВЬ И ЗЛАТО

Я не откроюсь пред тобой,
Хоть ты юна, мила, вольна!
Ты злой неведомой волшбой
Живого чувства лишена.

Но как волшба к тебе влечет,
Как пробуждает страсти дрожь,
И ложь за правду выдает,
И правду обращает в ложь!

Сомненьем всяк бывал смятен,
Но ты объята им вдвойне:
Любовь из сердца гонишь вон,
Не веришь всем, не веришь мне.

Не знаешь, что в чужих сердцах,
Разврат иль чистая мольба —
Такой в тебя вселила страх
Непобедимая волшба!

Сияешь ты в толпе друзей,
Но ум жеманный не поймет,
Кто их к стопам твоим сильнее
Склоняет, Плутос иль Эрот.

Природы зов, обман искусств
Влекут их к алтарю любви;
Но ты достойна лучших чувств,
Чем чувства их или мои.

Пойми, тебя злосчастный рок,
Украсив, сотворил слепой
И на торги тебя обрек
Своей недоброй щедротой.

И каждый день корыстный плут
Лукаво льнет к твоим устам;
Я вижу, как тебя ведут
На приношенье в чуждый храм.

Прощай! Я должен утаить
Слова, рожденные мечтой.
Хоть можно все в тебе любить,
Я не откроюсь пред тобой.

1812—1813

К ВРЕМЕНИ

О Время! Все несется мимо,
Все мчится на крылах твоих:
Мелькают весны, медлят зимы,
Гоня к могиле всех живых.

Меня ты наделило, Время,
Судьбой нелегкою — а все ж
Гораздо легче жизни бремя,
Когда один его несешь!

Я тяжелой доли не пугаюсь
С тех пор, как обрели покой
Все те, чье сердце, надрываясь,
Делило б горести со мной.

Да будет мир и радость с ними!
А ты рази меня и бей!
Что дашь ты мне и что отнимешь?
Лишь годы, полные скорбей!

Удел мучительный смягчает
Твоей жестокой власти гнет:
Одни счастливыцы замечают,
Как твой стремителен полет!

Пусть быстротечности сознание
Над нами тучею висит:
Оно темнит весны сиянье,
Но скорби ночь не омрачит!

Как ни темно и скорбно было
Вокруг меня — мой ум и взор
Ласкало дальней светило,
Стихии тьмы наперекор.

Но луч погас — и Время стало
Пустым мельканьем дней и лет:
Я только роль твержу устало,
В которой смысла больше нет!

Но заключительную сцену
И ты не в силах изменить:
Лишь тех, кто нам придет на смену,
Ты будешь мучить и казнить!

И, не страшась жестокой кары,
С усмешкой гнев предвижу твой,
Когда обрушишь ты удары
На хладный камень гробовой!

1812

НА ВОПРОС О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛЮБВИ

— Скажите: где любви начало?
— Вопрос коварный! Сколько раз,
Едва ты чей-то взор встречала,
В нем пламень вспыхивал тотчас.

А где конец любви? — Не скрою:
Всем сердцем знаю наперед —
Пока я жив, она со мною,
Когда умру — она умрет.

1812

Не забывай того, кто властно
Сдержал глубокой страсти пыл,
Кто был любим и в миг опасный
Любовь свою не уронил.

Ты трепетала предо мною —
В очах туман, в груди призыв;
Но вздох с неясною мольбою
Мой дикий укротил порыв.

Я все утратил в то мгновенье,
Но совести жестокий яд
И запоздалое томленье
Твоей души не омрачат.

Хоть это будет мне защитой,
Коль ты узнаешь, как права
Многоязыко, деловито
Меня клеймящая молва.

Каким бы ни был я с другими,
Я не запятнан пред тобой
И чту твое святое имя
В мой одинокий час ночной.

О, если б волею господней
Давно любовь объяла нас,
Когда и ты была свободней,
И я достойней, чем сейчас!

Так будь, как прежде, в отдаленье
От пестрой светской суеты;
Не ведай муки искушенья,
Ее довольно знаешь ты.

А я давно погиб душою
И сам способен лишь губить.
И в свете встретиться с тобою —
Опять мечту воспламенить.

Здесь принято притворным жаром
Будить бесчувственную страсть.
Суровый суд толпы недаром
Гласит: увлечься — значит пасть!

Ты робкой, нежной и прекрасной
Взросла в хранительной тиши.
Пойми, какой удел несчастный
Здесь уготован для души.

Прости, я вызвал в иступленье
Слезу мольбы из милых глаз;
Ты от меня нашла спасенье
И новых слез убереглась.

Прощай навеки! Я не скоро,
Забыв тебя, покой найду.
Я жду любого приговора
И все ж помилованья жду.

Люби я меньше, с меньшей мукой
От счастья бы отрекся я
И легче совладал с разлукой,
Когда бы ты была моя.

1813

ЭКСПРОМТ В ОТВЕТ ДРУГУ

Когда со дна души большой
Тоска восстанет тенью мгlistой,
Задернув тусклой пеленой
Мое чело и взор мой чистый,—
О, не печалься, друг! Давно
Привычна мыслям их темница,
И стае странниц суждено
В приют свой мрачный воротиться.

Сентябрь 1813

СОНЕТ К ДЖЕНЕВРЕ

Ты так бледна и так мила в печали,
Что, если вдруг веселье воспалит
Румянцем розы белые ланит,
Я грубый цвет их вынесу едва ли.

Еще молю, чтоб очи не сверкали,
Не то мой дерзкий взор познает стыд
И, обессилев, робость обнажит,
Как после бури — трепетные дали.

Хотя ресницы душу скрыли тенью,
Ты блещешь грустной нежностью своей,
Как серафим, несущий утешенье,
Но сам далекий от земных скорбей;
И я склоняюсь ниц в благоговенье
И оттого люблю еще сильнеей.

17 декабря 1813

ПОДРАЖАНИЕ ПОРТУГАЛЬСКОМУ

В кипенье нежности сердечной
Ты «жизнью» друга назвала:
Привет бесценный, если б вечно
Живая молодость цвела!

К могиле все летит стрелою;
И ты, меня лаская вновь,
Зови не «жизнью», а «душою»,
Бессмертной, как моя любовь!

1813

НА ПОСЕЩЕНИЕ ПРИНЦЕМ-РЕГЕНТОМ КОРОЛЕВСКОГО СКЛЕПА

Клятвопреступники нашли здесь отдых вечный:
Безглавый Карл и Генрих бессердечный.
В их мрачном склепе меж надгробных плит
Король некоронованный стоит,
Кровавый деспот, правящий державой,
Властитель бессердечный и безглавый.

Подобно Карлу, верен он стране,
Подобно Генриху — своей жене.
Напрасна смерть! Бессилен суд небес!
Двойной тиран в Британии воскрес.
Два изверга извергнуты из гроба —
И в регенте соединились оба!

Март 1814

ОДА К НАПОЛЕОНУ БОНАПОРТУ

Expende Annibalem:— quot libras in
duce summo invenies?

Juvenal, Sat. XI.

Император Непот был признан сенатом, италийцами и жителями Галлии; его громко славили за нравственные добродетели и за военные дарования; те, кому его правление обещало какие-либо выгоды, пророчески возвещали восстановление всеобщего благополучия... Позорным отречением продлил он свою жизнь лет на пять, которые провел в неопределенном положении полуимператора, полуизгнанника, пока наконец...

Г и б б о н. История упадка и разрушения Римской империи

I

Все кончено! Вчера венчанный
Владыка, страх царей земных,
Ты нынче — облик безымянный!
Так низко пасть — и быть в живых!
Ты ль это, раздававший троны,
На смерть бросавший легионы?
Один лишь дух с высот таких
Был свергнут божией десницей:
Тот — ложно названный Денницей!

II

Безумец! Ты был бич над теми,
Кто выи пред тобой клонил.
Ослепший в яркой диадеме,
Другим открыть глаза ты мнил!
Ты мог бы одарять богато,
Но всем платил единой платой
За верность: тишиной могил.
Ты доказал нам, что возможно
Тщеславие в душе ничтожной.

III

Благодарим! Пример жестокий!
Он больше значит для веков,
Чем философии уроки,
Чем поученья мудрецов.

¹ Взвесим прах Ганнибала: много ль окажется фунтов в грозном вожде?

Отныне блеск военной власти
Не обольстит людские страсти,
Пал навсегда кумир умов.
Он был как все земные боги:
Из бронзы — лоб, из глины — ноги.

IV

Веселье битв, их пир кровавый,
Громоподобный клич побед,
Меч, скипетр, упоенье славы,
То, чем дышал ты много лет,
Власть, пред которой мир склонился,
С которой гул молвы сроднился,—
Исчезло все, как сон, как бред.
А! Мрачный дух! Что за терзанье.
Твоей душе — воспоминанье!

V

Ты сокрушен, о сокрушитель!
Ты, победитель, побежден!
Бессчетных жизней повелитель
Молить о жизни принужден!
Как пережить позор всесветный?
Ты веришь ли надежде тщетной
Иль только смертью утрашен?
Но — пасть царем иль снести паденье...
Твой выбор смел до отвращения!

VI

Грек, разломивший дуб руками,
Расчесть последствий не сумел:
Ствол сжался вновь, сдавил тисками
Того, кто был надменно смел.
К стволу приковав, тщетно звал он...
Лесных зверей добычей стал он...
Таков, и горше, твой удел!
Как он, ты вырваться не можешь,
И сам свое ты сердце гложешь!

VII.

Сын Рима, сердца пламень жгучий
Залив кровавою рекой,
Отбросил прочь свой меч могучий,
Как гражданин ушел домой.
Ушел в величии суровом,
С презрением к рабам, готовым
Терпеть владыку над собой.
Отверг венец он добровольно:
Для славы — этого довольно!

VIII

Испанец, властью небывалой,
Как ты, упившись до конца,
Оставил мир для кельи малой,
Сменил на четки блеск венца.
Мир ханжества и мир обмана
Не выше, чем престол тирана,
Но сам презрел он шум дворца,
Сам выбрал — рясу и обедни
Да схоластические бредни.

IX

А ты! Ты медлил на престоле,
Из рук своих дал вырвать гром
По приказанью, поневоле
Простился ты с своим дворцом!
Ты был над веком злобный гений,
Но зрелище твоих падений
Багрит лицо людей стыдом.
Вот для кого служил подножьем
Мир, сотворенный духом божьим!

X

Кровь за тебя лилась потоком,
А ты своей так дорожил!
И пред тобой-то, как пред Роком,
Колена сонм князей клонил!

Еще дороже нам свобода
С тех пор, как злейший враг народа
Себя всемирно заклеил!
Среди тиранов ты бесславен,
А кто из них с тобой был равен?

XI

Тебя Судьба рукой кровавой
Вписала в летопись времен.
Лишь бегло озаренный славой,
Твой лик навеки омрачен.
Когда б ты пал, как царь, в порфире,
В веках грядущих мог бы в мире
Восстать другой Наполеон.
Но лестно ль — как звезда над бездной
Свергнуть и рухнуть в мрак беззвездный?

XII

На вес не то же ль: гряда глины
И полководца бранный прах?
Нас Смерть равняет в час кончины,
Всех, всех на праведных весах.
Но хочешь верить, что в герое
Пылает пламя неземное,
Пленяя нас, внушая страх,
И горько, если смех презренья
Казнит любимца поколенья.

XIII

А та, цветок австрийский гибкий...
Такая ль доля снилась ей!
Она ль должна сносить с улыбкой
Все ужасы судьбы твоей!
Делить твои в изгнанье думы,
Твой поздний ропот, стон угрюмый,
О, с трона свергнутый злодей!
Когда она с тобою все же —
Всех диadem она дороже!

XIV

Сокрыв на Эльбу стыд и горе,
Следи с утесов волн стада.
Ты не смутишь улыбкой море:
Им не владел ты никогда!
В унынья час рукой небрежной
Отметь на отмели прибрежной,
Что мир свободен навсегда!
И стань примером жалкой доли,
Как древний «Дионисий в школе».

XV

В твоей душе горит ли рана?
Что за мечтами ты томим
В железной клетке Тамерлана?
Одной, одной: «Мир был моим!»
Иль ты, как деспот Вавилона,
Утратил смысл с утратой трона?
Иначе как же быть живым
Тому, кто к цели был так близко,
Так много мог — и пал так низко!

XVI

О, если б ты, как сын Япета,
Бесстрашно встретил вихри гроз,
С ним разделив на крае света
Знакомый коршуну утес!
А ныне над твоим позором
Хохочет тот с надменным взором,
Кто сам паденья ужас снес,
Остался в преисподней твердым,
И умер бы, — будь смертен, — гордым!

XVII

Был день, был час: вселенной целой
Владели галлы, пми — ты.
О, если б в это время смело
Ты сам сошел бы с высоты!

Маренго ты б затмил сиянье!
Об этом дне воспоминанье
Все пристыдило б клеветы,
Вокруг тебя рассеяв тени,
Света сквозь сумрак преступлений!

XVIII

Но низкой жаждой самовластья
Твоя душа была полна.
Ты думал: на вершину счастья
Внесут пустые имена!
Где ж пурпур твой, поблекший ныне?
Где мишура твоей гордыни:
Султаны, ленты, ордена?
Ребенок бедный! Жертва славы!
Скажи, где все твои забавы?

XIX

Но есть ли меж великих века,
На ком покоить можно взгляд,
Кто высит имя человека,
Пред кем клеветники молчат?
Да, есть! Он — первый, он — единый!
И зависть чтит твои седины,
Американский Цинциннат!
Позор для племени земного,
Что Вашингтона нет другого!

10 апреля 1814

СТАНСЫ ДЛЯ МУЗЫКИ

Как имя твое написать, произнести?
В нем весть о позоре — жестокая весть.
Молчу я, но скажет слеза на щеке
О горе, живущем в глухом тайнике.

Для страсти казались те дни коротки,
Но в них — семена безысходной тоски.
В неистовом гневе оковы мы рвем,
Но только расстанемся — снова вдвоем.

Да будет твоею вся радость, вина —
Моею!.. Прости же меня... Ты одна
Душою, младенчески чистой, владей;
Ее не сломить никому из людей.

Я был — и останусь надменным с толпой
Чвапливых вельмож, но смиренным с тобой.
Когда я вдали от тебя, одиночек,
На что мне и мир, распростертый у ног?

Один лишь твой вздох — я на казнь обречен.
Один только ласковый взгляд — я прощен.
Внимая моим порицателям злым,
Устами ответишь ты мне, а не им.

4 мая 1814

ОНА ИДЕТ ВО ВСЕЙ КРАСЕ

Она идет во всей красе —
Светла, как ночь ее страны.
Вся глубь небес и звезды все
В ее очах заключены,
Как солнце в утренней росе,
Но только мраком смягчены.

Прибавить луч иль тень отнять —
И будет уж совсем не та
Волос агатовая прядь,
Не те глаза, не те уста
И лоб, где помыслов печать
Так безупречна, так чиста.

А этот взгляд, и цвет ланит,
И легкий смех, как всплеск морской, —
Все в ней о мире говорит.
Она в душе хранит покой
И если счастье подарит,
То самой щедрою рукой!

12 июня 1814

ЮЛИАН

Отрывок

I

На воды пала ночь, и стал покой
На суше; но, ярясь, в груди морской
Гнев клокотал, и ветер вздымал валы.
С останков корабельных в хаос мглы
Пловцы глядели... Мглу в тот черный миг
Пронзил из волн протяжный, слитный крик,
За шхеры до песков береговых
Домчался и в стихийных столах стих.

II

И в брезжущем мерцанье поутру
Исчез и след кричавших ввечеру,
И остов корабля — на дне пучин;
Все сгинули, но пощажен один.
Еще он жив. На отмель нахлестнул
С доскою вал, к которой он прильнул,
И, вспять отхлынув, сирым пренебрег.
Единога забыв, кого сберег,
Кого спасла стихии сытой месть,
Чтоб он принес живым о живших весть.
Но кто услышит весть? И чьих из уст
Услышит он: «Будь гостем»? Берег пуст.
Вотще он будет ждать и звать в тоске.
Ни ног следа, ни лап следа в песке:
Глаз не открыл на острове улик
Живого; только вереск чахлый ник.

III

Встал, наг, и, осушая волоса,
С молитвой он воззрел на небеса...
Увы, чрез миг иные голоса
В душе начальный возмутили мир.
Оп — на земле; но что тому, кто сир
И нищ, земля? Лишь память злую спас
Да плоть нагую — Рок. И Рок в тот час
Он проклял — и себя. Земли добрей —
Его одна надежда — гроб морей.

IV

Едва избегший волн — к волнам повлек,
 Шатаясь, стопы и изнемог
 Усилием, и свет в очах запал,
 И он без чувств на брег соленый пал.
 Как долго был холодным трупом он —
 Не ведал сам. Но явь сменила сон,
 Подобный смерти. Некий муж пред ним.
 Кто он? Одной ли с ним судьбой родним?

V

Он поднял Юлиана. «Так ли полн
 Твой кубок горечи, что, горьких волн
 Отведав, от живительной струи
 Ты отвратить возмнил уста твои?
 Встань! И, хотя сей берег нелюдим,
 Взгляни в глаза мне — знай: ты мной храним.
 Ты на меня глядишь, вопрос тая;
 Моих уведав и познав, кто я,
 Дивиться боле будешь. Ждет нас челн;
 Он к пристани придет и в споре волн».

VI

И, юношу воздвигнув, воскресил
 Он в немощем родник замерший сил
 Целительным касаньем: будто сон
 Его свежил, и, легкий, вспрынул он
 От забытья. Так на ветвях заря
 Пернатых будит, вестницей горя
 Весенних дней, когда эфир раскрыл
 Лазурный путь паренью вольных крыл.
 Той радостью дух юноши възграл;
 Он ждал, дивясь,— и на вождя взирал.

12 декабря 1814

ВАЛТАСАРУ

О Валтасар, оставь свой пир
 И оргий хаос сладострастный!
 Уж на стене — гляди, кумир! —
 Слова пылают: знак ужасный...

То, что не бог — тиран всевластный,
Легко ль порой уразуметь?
Ужель, злодей, тебе не ясно,
Что обречен ты умереть?

Беги! Венки с чела сорви!
Ведь седина им не пристала...
Напрасно юность не лови,
Корона дряхлость увенчала.
Алмазов блещет в ней немало,
Но им придется потускнеть...
Чтоб чернь ее не презирала,
Учись героем умереть!

Судьбой ты взвешен на весах
И слишком легок оказался...
Давно ты превратился в прах,
Гораздо раньше, чем скончался.
Веселый смех кругом раздался,
И остается лишь жалеть,
Что зря ты и на свет рождался —
Чтоб так царить и умереть.

12 февраля 1815

* * *

Убита в блеске красоты!
Да спит легко под вечной сенью,
Да сблизят вешние цветы
Над ней прозрачные листы
И кипарис овеет тенью.

Печаль у синих этих вод
Помедлит с горькой, смутной думой,
Вздохнет — и тихо отойдет...
Безумец! Разве твой приход
Смутит могилы сон угрюмый!

Мы знаем: Смерть не слышит нас,
Не видит наших потрясений.

Но разве *это* в грустный час
Удержит нас от слез и пеней?
Ты говоришь: забудь! Но сам
Ты бледен, ты готов к слезам.

23 апреля 1815

ДУША МОЯ МРАЧНА

Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!
Вот арфа золотая:
Пускай персты твои, промчавшись по ней,
Пробудят в струнах звуки рая.
И если не навек надежды рок унес, —
Они в груди моей проснутся,
И если есть в очах застывших капля слез —
Они растают и прольются.
Пусть будет песнь твоя дика. Как мой венец.
Мне тягостны веселья звуки!
Я говорю тебе: я слез хочу, певец,
Иль разорвется грудь от муки.
Страданиями была упитана она,
Томилась долго и безмолвно;
И грозный час настал — теперь она полна,
Как кубок смерти, яда полный.

Апрель 1815

ТЫ ПЛАЧЕШЬ

Ты плачешь — светятся слезой
Ресницы синих глаз.
Фиалка, полная росой,
Роняет свой алмаз.
Ты улыбнулась — пред тобой
Сапфира блеск погас:
Его затмил огонь живой,
Сиянье синих глаз.

Вечерних облаков кайма
Хранит свой нежный цвет,
Когда весь мир объяла тьма
И солнца в небе нет.

Так в глубину душевных туч
Твой проникает взгляд:
Пускай погас последний луч —
В душе горит закат.

1815

ТЫ КОНЧИЛ ЖИЗНИ ПУТЬ...

Ты кончил жизни путь, герой!
Теперь твоя начнется слава,
И в песнях родины святой
Жить будет образ величавый,
Жить будет мужество твое,
Освободившее ее.

Пока свободен твой народ,
Он позабыть тебя не в силах.
Ты пал! Но кровь твоя течет
Не по земле, а в наших жилах;
Отвагу мощную вдохнуть
Твой подвиг должен в нашу грудь.

Врага заставим мы бледнеть,
Коль назовем тебя средь боя;
Дев наших хоры станут петь
О смерти доблестной героя;
Но слез не будет на очах:
Плач оскорбил бы славный прах.

1815

ВИДЕНИЕ ВАЛТАСАРА

Царь на троне сидит;
Перед ним и за ним
С раболепством немым
Ряд сатрапов стоит.
Драгоценный чертог
И блестит и горит,
И земной полубог
Пир устроить велит.
Золотая волна
Дорогого вина
Нежит чувства и кровь;

Звуки лир, юных дев
Сладострастный напев
Возжигают любовь.
Упоен, восхищен,
Царь на троне сидит —
И торжественный трон
И блестит и горит...
Вдруг — неведомый страх
У царя на челе
И унынье в очах,
Обращенных к стене.
Умолкает звук лир
И веселых речей,
И расстроенный пир
Видит (ужас очей!):
Огневая рука
Исполинским перстом
На стене пред царем
Начертала слова...
И никто из мужей,
И царевых гостей,
И искусных волхвов
Силы огненных слов
Изъяснить не возмог.
И земной полубог
Омрачился тоской...
И еврей молодой
К Валтасару предстал
И слова прочитал:
Мани, фекел, фарес!
Вот слова на стене,
Волю бога с небес
Возвещают оне.
Мани значит: *монарх,*
Кончил царствовать ты!
Град у персов в руках —
Смысл средней черты;
Фарес — третье — гласит:
Ныне будешь убит!..
Рек — исчез... Изумлен,
Царь не верит мечте.
Но чертог окружен
И... он мертв на щите!..

1815

СОЛНЦЕ БОДРСТВУЮЩИХ

О солнце тех, кто бодрствует в ночи!
Ты, как потоки слез, струишь лучи.
Но не рассеять им ночных теней:
В твоём сиянье — тьма еще темней.

Не такова ли память прежних лет?
Лишь леденит, не греет этот свет.
Минувшего лучистая тоска,
Ты так ясна, но вечно далека.

1815

ПОРАЖЕНИЕ СЕННАХЕРИБА

1

Ассирияне шли, как на стадо волки,
В багреце их и в злате сияли полки,
И, без счета их копыя сверкали окрест,
Как в волнах галилейских мерцание звезд.

2

Словно листья дубравные в летние дни,
Еще вечером так красовались они;
Словно листья дубравные в вихре зимы,
Их к рассвету лежали рассеяны тьмы.

3

Ангел смерти лишь на ветер крылья простер
И дохнул им в лицо — и померкнул их взор,
И на мутные очи пал сон без конца,
И лишь раз поднялись и остыли сердца.

4

Вот расширивший ноздри повергнутый конь,
И не пышет из них гордой силы огонь,
И как хладная влага на бреге морском,
Так предсмертная пена белеет на нем.

Вот и всадник лежит, распростертый во прах,
 На броне его ржа и роса на власах;
 Безответны шатры, у знамен ни раба,
 И не свищет копьё, и не трубит труба.

И Ассирии вдов слышен плач на весь мир,
 И во храме Ваала низвержен кумир,
 И народ, не сраженный мечом до конца,
 Весь растаял, как снег, перед блеском творца!

Сихэм, 17 февраля 1815

СТАНСЫ ДЛЯ МУЗЫКИ

O Lachrymarum fons, tenero sacros
 Ducentium ortus ex animo: quater
 Felix! in imo qui scatentem
 Pectore te, pia Nympha, sensit.

*Gray's Poemata*¹

Блаженства нас лишает мир — и ничего взамен.
 И мысль и чувство сожжены и обратились в тлен.
 Хоть грустно нам румянец щек навеки потерять,
 Страшнее то, что прежних чувств не испытать опять.

В наследство выжившим в пути оставил ураган
 Лишь покаянья топкий ил да блуда океан.
 И верным курсом кораблям вовеки не идти,
 К обетованным островам им больше нет пути.

И равнодушия металл, как смерть, сердца пронзил,
 Изъяв безудержность мечты и состраданья пыл.
 Источник слез застыл, в броню одетый навсегда,
 И придали холодный блеск глазам узоры льда.

¹ Источник слез, глубоко таящийся
 В сердцах, не чуждых любви! Четырежды
 Блажен, в ком бьет с неизменной силой
 Чистый твой ключ, всеблагая нимфа!

Gray. Poemata

И хоть изящество и лоск не утерjala речь
И наслаждение порой способно нас увлечь,
Мы — как руины, что обвил могучий виноград:
Спаружи буйная листва, внутри труха и смрад.

О, если б чувства прежних дней, и собственную суть,
И слезы прежние мои, и чаянья вернуть!
В пустыне, как родник, свежа прогорклая вода —
На пепелище чувств слеза сладка, как никогда.

Март 1815

НА БЕГСТВО НАПОЛЕОНА С ОСТРОВА ЭЛЬБЫ

Прямо с Эльбы в Лион! Города забирая,
Подошел он, гуляя, к парижским стенам —
Перед дамами вежливо *шляпу* снимая
И давая по *шапке* врагам!

27 марта 1815

ОДА С ФРАНЦУЗСКОГО

I

О Ватерлоо! Мы не клянем
Тебя, хоть на поле твоём
Свобода кровью истекла:
Та кровь исчезнуть не могла.
Как смерч из океанских вод,
Она из жгучих ран встает,
Сливаясь в вихре горных сфер
С твоей, герой Лабэдойер
(Под мрачной сенью тяжких плит
«Отважнейший из храбрых» спит).
Багровой тучей в небо кровь
Взметнулась, чтоб вернуться вновь
На землю. Облако полно,
Чревато грозами оно,

Все небо им обагрено;
В нем накопились гром и свет
Неведомых грядущих лет;
В нем оживет Полярная звезда,
В ветхозаветные года
Вещавшая, что в горький век
Нальются кровью русла рек.

II

Под Ватерлоо Наполеон
Пал — но не вами сломлен он!
Когда, солдат и гражданин,
Внимал он голосу дружин
И смерть сама щадила нас —
То был великой славы час!
Кто из тиранов этих мог
Поработить наш вольный стан,
Пока французов не завлек
В силки свой собственный тиран,
Пока, тщеславием томим,
Герой не стал царем простым?
Тогда он пал — так все падут,
Кто сети для людей плетут!

III

А ты, в плюмаже снежно-белом
(С тобой покончили расстрелом),
Не лучше ль было в грозный бой
Вести французов за собой,
Чем горькой кровью и стыдом
Платить за право быть князьком,
Платить за титул и за честь
В обноски княжьей власти влезть!
О том ли думал ты, сквозь сечу
Летя на гневном скакуне,
Подобно яростной волне,
Бегущей недругам навстречу?
Мчался ты сквозь вихрь сраженья,
Но не знал судьбы решенья,
Но не знал, что раб, смеясь,
Твой плюмаж затопчет в грязь!

Как лунный луч ведет волну,
Так влек ты за собой войну,
Так в пламя шли твои солдаты,
Седыми тучами объаты,
Сквозь дым густой, сквозь едкий дым
Шагая за орлом седым,
И сердца не было смелей
Среди огня, среди мечей!
Там, где бил свинец разящий,
Там, где падали все чаще
Под знаменами героя;
Близ французского орла
(Сила чья в разгаре боя
Одолеть его могла,
Задержать полет крыла?),
Там, где вражье войско смято,
Там, где грянула гроза,—
Там встречали мы Мюрата:
Ныне он смежил глаза!

IV

По обломкам славы шагает враг,
Триумфальную арку повергнув в прах;
Но когда бы с мечом
Встала Вольность потом,
То она бы стране
Полюбилась вдвойне.
Французы дважды за такой
Урок платили дорогой:
Наполеон или Капет —
В том для страны различья нет,
Ее оплот — людей права,
Сердца, в которых честь жива,
И Вольность — бог ее нам дал,
Чтоб ей любой из нас дышал,
Хоть тщится Грех ее порой
Стереть с поверхности земной;
Стереть безжалостной рукой
Довольство мира и покой,
Кровь наций яростно струя
В убийств бескрайние моря.

Но сердца всех людей
 В единенье сильней —
 Где столь мощная сила,
 Чтоб сплоченных сломила?
 Уже слабеет власть мечей,
 Сердца забились горячей;
 Здесь, на земле, среди народа
 Найдет наследников свобода:
 Ведь нынче те, что в битвах страждут,
 Ее сберечь для мира жаждут;
 Ее приверженцы сплотятся,
 И пусть тираны не грозятся:
 Прошла пора пустых угроз —
 Все ближе дни кровавых слез!

1815

ЗВЕЗДА ПОЧЕТНОГО ЛЕГИОНА

1

Звезда отважных! На людей
 Ты славу льешь своих лучей:
 За призрак лучезарный твой
 Бросались миллионы в бой;
 Комета, Небом рождена,
 Что ж гаснет на Земле она?

2

Бессмертие — в огне твоём,
 Героев души светят в нём,
 И рокот славных ратных дел
 Твоею музыкой гремел;
 Вулкан, горящий над землей,
 Ты жгла лучами взор людской,

3

И твой поток, кровав и ал,
 Как лава, царства затоплял;
 Ты потрясала шар земной,
 Пространство озарив грозой,
 И солнце затмевала ты,
 Его свергая с высоты.

4

Сверкая, радуга растет,
 Взойдя с тобой на небосвод;
 Из трех цветов она слита,
 Божественны ее цвета;
 Свободы жезл их сочетал
 В бессмертный неземной кристалл.

5

Цвет алых солнечных лучей,
 Цвет синих ангельских очей
 И покрывала белый цвет,
 Которым чистый дух одет, —
 В соединенье трех цветов
 Сияла ткань небесных снов.

6

Звезда отважных! Ты зашла,
 И снова побеждает мгла.
 Но кто за Радугу свобод
 И слез и крови не прольет?
 Когда не светишь ты в мечтах,
 Удел наш — только тлен и прах.

7

И веяньем Свободы свят
 Немых могил недвижимый ряд.
 Прекрасен в гордой смерти тот,
 Кто в войске Вольности падет.
 Мы скоро сможем быть всегда
 С тобой и с ними, о Звезда!

1815

ПРОСТИ

Была пора — они любили,
Но их злодеи разлучили;
А верность с правдой не в сердцах
Живут теперь, но в небесах.
Навек для них погибла радость;
Терниста жизнь, без цвета младость,
И мысль, что розно жизнь пройдет,
Безумства яд им в душу льет...
Но в жизни, им осиротелой,
Уже обним не сыскать,
Чем можно б было опустелой
Души страданья улаждать.
Друг с другом розно, а тоскою
Сердечны язвы все хранят;
Так два расторгнутых грозою
Утеса мрачные стоят:
Их бездна моря разлучает
И гром разит и потрясает,
Но в них ни гром, ни вихрь, ни град,
Ни летний зной, ни зимний хлад
Следов того не истребили,
Чем некогда друг другу были.

К о л р и д ж. Кристабел

Прости! И если так судьбою
Нам суждено — навек прости!
Пусть ты безжалостна — с тобою
Вражды мне сердца не снести.

Не может быть, чтоб повстречала
Ты непреклонность чувства в том,
На чьей груди ты засыпала
Невозвратно-сладким сном!

Когда б ты в ней насквозь узрела
Все чувства сердца моего,
Тогда бы, верно, пожалела,
Что столько презрела его.

Пусть свет улыбкой одобряет
Теперь удар жестокий твой:
Тебя хвалой он обижает,
Чужою купленной бедой.

Пускай я, очернен виною,
Себя дал право обвинять,
Но для чего ж убит рукою,
Меня привыкшей обнимать?

И верь, о, верь! Пыл страсти нежной
Лишь годы могут охладить;
Но вдруг не в силах гнев мятежный
От сердца сердце оторвать.

Твое то ж чувство сохраняет;
Удел же мой — страдать, любить,
И мысль бессменная терзает,
Что мы не будем вместе жить.

Печальный вопль над мертвецами
С той думой страшной как сравнить?
Мы оба живы, но вдовцами
Уже нам день с тобой встречать.

И в час, как нашу дочь ласкаешь,
Любуясь лепетом речей,
Как об отце ей намекаешь?
Ее отец в разлуке с ней.

Когда ж твой взор малютка ловит,—
Ее целуя, вспомяни
О том, тебе кто счастья молит,
Кто рай нашел в твоей любви.

И если сходство в ней найдется
С отцом, покинутым тобой,
Твое вдруг сердце встрепетается,
И трепет сердца — будет мой.

Мои вины, быть может, знаешь,
Мое безумство можно ль знать?
Надежды — ты же увлекаешь:
С тобой увядшие летят.

Ты потрясла моей душою;
Презревший свет, дух гордый мой
Тебе покорным был; с тобою
Расставшись, расстаюсь с душой!

Свершилось все — слова напрасны,
И нет напрасней слов моих;
Но в чувствах сердца мы не властны,
И нет преград стремленью их.

Прости ж, прости! Тебя лишенный,
Всего, в чем думал счастье зреть,
Истлевший сердцем, сокрушенный,
Могу ль я больше умереть?

18 марта 1816

СТАНСЫ

Ни одна не станет в споре
Красота с тобой.
И, как музыка на море,
Сладок голос твой!
Море шумное смирилось,
Будто звукам покорилось,
Тихо лоно вод блестит,
Убаюкан, ветер спит.

На морском дрожит просторе
Луч луны, блестя.
Тихо грудь вздымает море,
Как во сне дитя.
Так душа полна вниманья,
Пред тобой в очарованье;
Тихо все, но полно в ней,
Будто летом зыбь морей.

28 марта 1816

СТАНСЫ К АВГУСТЕ

Когда сгустилась мгла кругом
И ночь мой разум охватила,
Когда неверным огоньком
Едва надежда мне светила,

В тот час, когда, окутан тьмой,
Трепещет дух осиротелый,
Когда, молвы страшась людской,
Сдается трус и медлит смелый,

Когда любовь бросает нас
И мы затравлены враждою —
Лишь ты была в тот страшный час
Моей немеркнувшей звездой.

Благословен твой чистый свет!
Подобно оку серафима,
В годину злую бурь и бед
Он мне сиял неугасимо.

При виде тучи грозовой
Еще светлее ты глядела,
И, встретив кроткий пламень твой,
Бежала ночь и тьма редела.

Пусть вечно реет надо мной
Твой дух в моем пути суровом.
Что мне весь мир с его враждой
Перед твоим единым словом!

Была той гибкой ивой ты,
Что, не сломившись, буре внемлет
И, словно друг, клоня листы,
Надгробный памятник объемлет.

Я видел небо все в огне,
Я слышал гром над головою,
Но ты и в бурный час ко мне
Склонялась плачущей листвою.

О, ни тебе, ни всем твоим
Да не узнать моих мучений!
Да будет солнцем золотым
Твой день согрет, мой добрый гений!

Когда я всеми брошен был,
Лишь ты мне верность сохранила,
Твой кроткий дух не отступил,
Твоя любовь не изменила.

На перепутьях бытия
Ты мне прибежище донине,
И верь, с тобою даже я
Не одинок в людской пустыне.

12 апреля 1816

СТАНСЫ ДЛЯ МУЗЫКИ

Нам говорят: «В надежде — счастье»,—
Но чтит бывшие времена
Любовь, покорная их власти,
И Память прежним дням верна.

Мы свято помним все, что прежде
Надеждой озаряло взор;
И все, что дорого Надежде,—
Воспомяненье с этих пор.

Зачем обманчивым блистаньем
Грядущее зовет нас в путь?
Кем были — мы уже не станем.
Кем стали — больно помянуть.

1816

СТАНСЫ К АВГУСТЕ

Когда время мое миновало
И звезда закатилась моя,
Недочетов лишь ты не искала
И ошибкам моим не судья.
Не пугают тебя передраги,
И любовью, которой черты
Столько раз доверял я бумаге,
Остаешься мне в жизни лишь ты.

Оттого-то, когда мне в дорогу
Шлет природа улыбку свою,
Я в привет не чую подлога
И в улыбке тебя узнаю.
Когда ж вихри с пучиной воюют,
Точно души в изгнанье скорбя,
Тем-то волны меня и волнуют,
Что несут меня прочь от тебя.

И хоть рухнула счастья твердыня
И обломки надежды на дне,
Все равно: и в тоске и унынье
Не бывать их невольником мне,

Сколько б бед ни нашло отовсюду,
Растеряюсь — найдусь через миг,
Истомлюсь — но себя не забуду,
Потому что я твой, а не их.

Ты из смертных, и ты не лукава,
Ты из женщин, но им не чета.
Ты любовь не считаешь забавой,
И тебя не страшит клевета.
Ты от слова не ступишь ни шагу,
Ты в отъезде — разлуки как нет,
Ты на страже, но дружбе во благо,
Ты беспечна, но свету во вред.

Я ничуть его низко не ставлю,
Но в борьбе одного против всех
Навлекать на себя его травлю
Так же глупо, как верить в успех.
Слишком поздно узнав ему цену,
Излечился я от слепоты:
Мало даже утраты вселенной,
Если в горе наградою — ты.

Гибель прошлого, все уничтожа,
Кое в чем принесла торжество:
То, что было всего мне дороже,
По заслугам дороже всего.
Есть в пустыне родник, чтоб напиться,
Деревцо есть на лысом горбе,
В одиночестве певчая птица
Целый день мне поет о тебе.

24 июля 1816

СОН

I

Жизнь наша двойственна; есть область Сна,
Грань между тем, что ложно называют
Смертью и жизнью; есть у Сна свой мир,
Обширный мир действительности странной.
И сны в своем развитии дышат жизнью,

Приносят слезы, муки и блаженство.
Они отягощают мысли наши,
Снимают тягости дневных забот,
Они в существованье наше входят,
Как жизни нашей часть и нас самих.
Они как будто вечности герольды;
Как духи прошлого, вдруг возникают,
О будущем вещают, как сивиллы.
В их власти мучить нас и улаживать,
Такими делать нас, как им угодно,
Нас потрясать виденьем мимолетным
Теней исчезнувших — они такие ж?
Иль прошлое не тень? Так что же сны?
Создания ума? Ведь ум творит
И может даже заселить планеты
Созданиями, светлее всех живущих,
И дать им образ долговечней плоти.
Виденье помню я, о нем я грезил
Во сне, быть может, — ведь безмерна мысль,
Ведь мысль дремотная вмещает годы,
Жизнь долгую сгущает в час один.

II

Я видел — двое юных и цветущих
Стояли рядом на холме зеленом,
Округлом и отлогом, словно мыс
Гряды гористой, но его подножье
Не омывало море, а пред ним
Пейзаж красивый расстилался, волны
Лесов, полей и кое-где дома
Средь зелени, и с крыш их черепичных
Клубился сизый дым. Был этот холм
Среди других увенчан диадемой
Деревьев, вставших в круг, — не по игре
Природы, а по воле человека.
Их было двое, девушка смотрела
На вид, такой же, как она, прелестный,
А юноша смотрел лишь на нее.
И оба были юны, но моложе
Был юноша; она была прекрасна
И, словно восходящая луна,
К расцвету женственности приближалась.
Был юноша моложе, но душой

Взрослее лет своих, и в целом мире
Одно лицо любимое ему
Сияло в этот миг, и он смотрел
С боязнью, что оно навек исчезнет.
Он только ею и дышал и жил,
Он голосу ее внимал, волнуясь
От слов ее; глядел ее глазами,
Смотрел туда, куда она смотрела,
Все расцветив, и он всем существом
Сливался с ней; она, как океан,
Брала поток его бурливых мыслей,
Все завершая, а от слов ее,
От легкого ее прикосновенья
Бледнел он и краснел — и сердце вдруг
Мучительно и сладко так сжималось.
Но чувств его она не разделяла
И не о нем вздыхала, для нее
Он только брата заменял — не больше.
Ей, не имевшей брата, братом стать
Он смог по праву дружбы детской.
Последним отпрыском она была
Из рода древнего. Название брата
Он принял нехотя, — но почему?
Он смутно понял то, когда другого
Она вдруг полюбила, и *сейчас*
Она любила, и с холма смотрела —
Быть может, на коне послушном мчась,
Спит возлюбленный к ней на свиданье.

III

Внезапно изменилось сновиденье.
Увидел я усадьбу и коня
Оседланного пред старинным домом.
В часовне старой, бледен и один,
Тот самый юноша шагал в волненье.
Потом присел к столу, схватил перо
И написал письмо, но я не мог
Прочесть слова. Он голову руками,
Поникнув, обхватил и весь затрясся,
Как от рыданий, и потом, вскочив,
Написанное разорвал в клочки,
Но слез я на глазах его не видел.

Себя принудил он и принял вид
Спокойствия, и тут вновь появилась
Пред ним владычица его любви.
Она спокойно улыбалась, зная,
Что им любима,— ведь любви не скроешь,—
И что душа его омрачена
Ее же тенью, и что он несчастен.
Она и это знала, но не все.
Он вежливо и холодно коснулся
Ее руки, и по его лицу
Скользнула тень невыразимых мыслей,—
Мелькнула и пропала в тот же миг.
Он руку выпустил ее и молча
Покинул зал, не попрощавшись с ней.
Они расстались, улыбаясь оба.
И медленно он вышел из ворот,
И вспрыгнул на коня, и ускакал,
И больше в старый дом не возвращался.

IV

Внезапно изменилось сновиденье.
Стал взрослым юноша и среди пустынь
На юге пламенном нашел приют.
Он впитывал душой свет яркий солнца,
Вокруг все было странно, и он сам
Другим стал, не таким, как был когда-то.
Скитался он по странам и морям,
И множество видений, словно волны,
Вдруг на меня нахлынули, но он
Был частью их; и вот он, отдыхая
От духоты полуденной, лежал
Средь рухнувших колонн, в тени развалин,
Надолго переживших имена
Строителей; паслись вблизи верблюды,
И лошади стояли у фонтана
На привязи, а смуглый проводник
Сидел на страже в пышном одеянье,
В то время как другие мирно спали.
Сиял над ними голубой шатер
Так ясно, и безоблачно, и чисто,
Что только бог один был виден в небе.

V

Внезапно изменилось сновиденье.
 Любимая повенчана с другим,
 Но муж любить ее, как он, не может.
 Далеко от него в родимом доме
 Она жила, окружена детьми,
 Потомством красоты, — но что случилось?
 Вдруг по лицу ее мелькнула грусть,
 Как будто тень печали затаенной,
 И, словно от невыплаканных слез,
 Поникие ресницы задрожали.
 Что значит грусть ее? Она любима,
 Здесь нет того, кто так ее любил.
 Надеждой, плохо скрытым огорченьем
 Не может он смутить ее покой.
 Что значит грусть ее? Ведь не любила
 Она его, и он об этом знал,
 И он, как призрак прошлого, не мог
 Витать над ней и омрачать ей мысли.

VI

Внезапно изменилось сновиденье.
 Вернулся странник и пред алтарем
 Стоял с невестой, доброй и прекрасной,
 Но Звездным Светом юности его
 Лицо прекрасное другое было.
 Вдруг выразилось на его челе
 Пред алтарем то самое смятенье,
 Что в одиночестве часовни старой
 Его так взволновало, и сейчас,
 Как и тогда, вдруг по его лицу
 Скользнула тень невыразимых мыслей,
 Мелькнула — и пропала в тот же миг.
 И он спокойно клятву произнес,
 Как подобало, но ее не слышал.
 Все закружилось, он не замечал
 Того, что совершалось, что свершится,
 Но старый дом, старинный зал знакомый,
 И комнаты, и место, и тот день,
 И час, и солнце яркое, и тени —
 Все, что ее когда-то окружало,

Ее — его судьбу, — назад вернулось
И встало между ним и алтарем.
Как в час такой могли они явиться?

VII

Внезапно изменилось сновиденье.
Владычицу его любви постигла
Болезнь душевная, и светлый ум
Куда-то отлетел, ее покпнув.
В ее глазах погаснул блеск, а взор
Казался неземным, и королевой
Она в своем волшебном царстве стала.
Витали мысли у нее бессвязно.
Мир образов, незримых для других,
Стал для нее знакомым и обычным.
Считают то безумием, но мудрый
Еще безумнее, ведь страшный дар —
Блеск меланхолии, унылой грусти.
Не есть ли это правды телескоп?
Он приближает фантастичность далей,
Показывает обнаженной жизнь
И делает действительность реальной!

VIII

Внезапно изменилось сновиденье.
Был странник, как и прежде, одиноко,
Все окружающие отделились
Иль сделались врагами, и он сам
Стал воплощенным разочарованьем,
Враждой и ненавистью окружен.
Теперь все стало для него мученьем,
И он, как некогда понтийский царь,
Питался ядами, и, не вредя,
Они ему служили вместо пищи.
И жил он тем, что убивало многих,
Со снежными горами он дружил,
Со звездами и со всемирным духом
Беседы вел! Старался он постичь,
Учась, вникая, магию их тайны,
Была ему открыта книга ночи,
И голоса из бездны открывали
Завет чудесных тайн. Да будет так.

IX

Мой сон исчезнул и не продолжался.
И странно было, что судьба обоих
Так ясно обозначилась во сне,
Как и в действительности, — и безумьем
Закончила она, несчастьем — оба.

Июль 1816

ТЬМА

Я видел сон... Не все в нем было сном.
Погасло солнце светлое, и звезды
Скитались без цели, без лучей
В пространстве вечном; льдистая земля
Носилась слепо в воздухе безлунном.
Час утра настаивал и проходил,
Но дня не приводил он за собою...
И люди — в ужасе беды великой
Забыли страсти прежние... Сердца
В одну себялюбивую молитву
О свете робко сжались — и застыли.
Перед огнями жил народ; престолы,
Дворцы царей венчаных, шалаши,
Жилища всех имеющих жилища —
В костры слагались... города горели...
И люди собирались толпами
Вокруг домов пылающих — затем,
Чтобы хоть раз взглянуть в глаза друг другу.
Счастливы были жители тех стран,
Где факелы вулканов пламенели...
Весь мир одной надеждой робкой жил...
Зажгли леса; но с каждым часом гас
И падал обгорелый лес; деревья
Внезапно с грозным треском обрушались...
И лица — при неровном трепетанье
Последних замирающих огней
Казались неземными... Кто лежал,
Закрыв глаза, да плакал; кто сидел,
Руками подпираясь, улыбался;
Другие хлопотливо суетились
Вокруг костров — и в ужасе безумном

Глядели смутно на глухое небо,
 Земли погибшей саван... а потом
 С проклятьями бросались в прах и выли,
 Зубами скрежетали. Птицы с криком
 Носились низко над землей, махали
 Ненужными крылами... Даже звери
 Сбегались робкими стадами... Змеи
 Ползли, вились среди толпы, шипели,
 Безвредные... Их убивали люди
 На пищу... Снова вспыхнула война,
 Погасшая на время... Кровью куплен
 Кусок был каждый; всякий в стороне
 Сидел угрюмо, насыщаясь в мраке.
 Любви не стало; вся земля полна
 Была одной лишь мыслью: смерти — смерти
 Бесславной, неизбежной... Страшный голод
 Терзал людей... И быстро гибли люди...
 Но не было могилы ни костям,
 Ни телу... Пожирал скелет скелета...
 И даже псы хозяев раздирали.
 Один лишь пес остался трупу верен,
 Зверей, людей голодных отгонял —
 Пока другие трупы привлекали
 Их зубы жадные... Но пищи сам
 Не принимал; с унылым долгим стоном
 И быстрым, грустным криком все лизал
 Он руку, безответную на ласку,
 И умер наконец... Так постепенно
 Всех голод истребил; лишь двое граждан
 Столицы пышной — некогда врагов —
 В живых осталось... Встретились они
 У гаснущих остатков алтаря,
 Где много было собрано вещей
 Святых
 Холодными костлявыми руками,
 Дрожа, вскопали золу... Огонек
 Под слабым их дыханьем вспыхнул слабо,
 Как бы в насмешку им; когда же стало
 Светлее, оба подняли глаза,
 Взглянули, вскрикнули и тут же вместе
 От ужаса взаимного внезапно
 Упали мертвыми
 И мир был пуст;

Тот многолюдный мир, могучий мир
Был мертвой массой, без травы, деревьев,
Без жизни, времени, людей, движенья...
То хаос смерти был. Озера, реки
И море — все затихло. Ничего
Не шевелилось в бездне молчаливой.
Безлюдные лежали корабли
И гнили на недвижной, сонной влаге...
Без шуму, по частям валились мачты
И, падая, волны не возмущали...
Моря давно не ведали приливов...
Погибла их владычица — луна;
Завяли ветры в воздухе немом...
Исчезли тучи... Тьме не нужно было
Их помощи... она была повсюду...

Диодати, июль 1816

ПРОМЕТЕЙ

1

Титан! С надмирной высоты
На тех, чья горестна дорога,
На муки смертных тварей ты
Не мог смотреть с презреньем бога.
И в воздаянье добрых дел
Страдать безмолвно — твой удел.
В горах утес, орел, оковы!
Но тщетно боги так суровы —
Ты не слабел от страшных мук,
И стон, срывающийся вдруг,
Не дал им повода для смеха:
Ты, озирая небосвод,
Молчал. Ты мыслил: боль вздохнет,
Когда лишится голос эха.

2

Титан! Что знал ты? День за днем
Борьбу страдания и воли,
Свирепость не смертельной боли,
Небес бездушных окоем,

Ко всем глухой Судьбы десницу,
И Ненависть — земли царицу:
Все то, что правит средь живых
И с наслажденьем губит их,
Сперва замучив. Был ты Роком
Томим в бессмертии жестоком
И пес достойно свой удел.
Напрасно гневный Зевс хотел
Из глаз твоих исторгнуть слезы.
Ты в Небо слал ему угрозы,
Хоть знал, что станет мягче он,
Открой ты, что не вечен трон
Царя богов, — и приговор
Гремел среди пустынных гор
В твоём пророческом молчанье.
И понял — и познал он страх,
Но злую дрожь в его руках
Лишь молний выдало дрожанье.

3

Был твой божественный порыв
Преступно добрым — плод желанья
Людские уменьшить страданья,
Наш дух и волю укрепив.
И, свергнут с горней высоты,
Сумел так мужественно ты,
Так гордо пронести свой жребий,
Противоборствуя Судьбе, —
Ни на Земле, ни даже в Небе
Никем не сломленный в борьбе,
Что Смертным ты пример явил
И символ их судеб и сил.
Как ты, в тоске, в мечтах упорных
И Человек отчасти бог.
Он мутно мчащийся поток,
Рожденный чистым в недрах горных.
Он также свой предвидит путь,
Пускай не весь, пускай лишь суть:
Мрак отчужденья, непокорство,
Беде и злу противоборство,
Когда, силен одним собой,
Всем черным силам даст он бой.

Бесстрашье чувства, сила воли
И в бездне мук сильней всего,—
Он счастлив этим в горькой доле.
Чем бунт его — не торжество?
Чем не Победа — Смерть его?

Диодати, июль 1816

ПОСЛАНИЕ АВГУСТЕ

1

Сестра! Мой друг сестра! Под небесами
Нежнее слова, лучше слова нет!
Пускай моря и горы между нами,
Ты для меня все та же в смене лет.
И я, носимый ветром и волнами,
Прошу не слез, а нежности в ответ.
Два мира мне оставлены судьбою:
Земля, где я скитаюсь, дом — с тобою.

2

Что первый мне! Второй люблю стократ,—
Он — гавань счастья, все в нем так надежно!
Но у тебя — свой долг и свой уклад,
От них уйти — я знаю — невозможно.
У нас один отец, но я — твой брат —
Жить обречен и трудно и тревожно.
Как на морях не знал покоя дед,
Так внуку на земле покоя нет.

3

Рожден для бурь, пускай в иной стихии,
Я все изведаль: светской брани шквал,
Утесы вероломства роковые
И клевету, что всех коварней скал.
Вина — моя, признаюсь не впервые,—
Так без уверток я вину признал,
Когда на берег выплыл, с бурей споря,
Злосчастный кормчий собственного горя.

4

Вина моя — и мне предъявлен счет.
 Я брошен был в борьбу со дня рожденья,
 И жизни дар меня всю жизнь гнетет —
 Судьба ли то, страстей ли заблужденье?
 Чтоб вырваться из гибельных теней,
 Разбил бы цепи глиняные звенья,
 Но вот живу — и рад остаток лет
 Продлить, чтоб видеть век, идущий вслед.

5

Я мало жил, но видел я немало:
 Режимов, царств, империй чехарду.
 Как пену, жизнь История смывала,
 Все унося: и радость и беду.
 Не знаю что, но что-то воспитало
 Во мне терпенье, я спокойно жду.
 А значит, не напрасны испытанья,
 Пусть мы страдаем только для страданья.

6

Но не протест ли говорит во мне —
 Моих несчастий плод — или, быть может,
 Отчаянье? Не знаю, но в стране,
 Где воздух чист, ничто души не гложет,
 И тела в благодатной тишине
 Доспехов зимних тяжесть не тревожит,
 Я так спокоен, так исполнен сил,
 Как не бывал, когда спокойней жил.

7

Здесь веет миром детства золотого —
 Ручьи, деревья, травы и цветы —
 И, благодарный, весь я в прошлом снова, —
 Там, где ни книг, ни смут, ни суеты.
 Где было все и празднично и ново
 И в сердце зрели юные мечты,
 И, кажется, другого не взыскаю, —
 Не как тебя! — но все ж любить могу я.

Здесь Альпы предо мной — какой предмет
 Для созерцанья! Чувство удивленья
 Проходит — это мелкий пустоцвет.
 Но здесь источник мысли, вдохновенья,
 И даже в одиночестве здесь нет
 Отчаянья. Здесь пир ума и зренья.
 А озеро! Красивее того,
 Где мы росли! Но то родней всего.

О, если бы ты здесь была со мною!
 Я славить одиночество привык,
 И пусть одной бессмысленной строкою
 Любовь мою развенчиваю вмиг,
 Зато других желаний не открою,
 Был не для жалоб создан мой язык,
 Но в мудрости отливы есть, как в море.
 Боюсь, прилив зальет глаза мне вскоре.

Да, озеро, — ты помнишь? — замок мой —
 Мой дом, теперь чужое мне наследство.
 Красив Леман, но там наш край родной,
 Там счастье, там резвилось наше детство.
 Стереть их образ — иль его, иль твой —
 О! даже Время не имеет средства,
 Хотя давно все дорогое мне
 Иль умерло, иль там, в другой стране.

Вот он — весь мир! Но одного, как ласки,
 Прошу я у Природы: пусть она
 Тепло мне даст, и солнечные краски,
 И тишину, что сердцу так нужна.
 Пусть явит мне лицо свое без маски,
 Чтобы не впал я в безразличье сна,
 И пусть — пока в разлуке мы с тобою —
 Из друга детства станет мне сестрою.

Любое чувство гнал бы я, смеясь,
 Но это — нет, его храню я строго.
 Я здесь как дома — там, где началась
 Не только жизнь, но вся моя дорога.
 И если б раньше с чернью знатной связь
 Я разорвал — я б лучше был намного,
 Страстей не знал бы, меньше б видел зла,
 Не знал бы мук, ты слез бы не лила.

Тщеславье меньше мною бы владело,
 Да и Любовь — не звал бы Славу в дом.
 Они пришли и вторглись в душу, в тело,
 А много ль дали? Имя — всё ли в нем?
 Душа когда-то лучшего хотела,
 И благородным я пылал огнем.
 Он отгорел — так все желанья вянут.
 Как миллионы, был и я обманут.

А будущее — что мне? Пусть оно
 Моей о нем не требует заботы.
 Я пережил себя уже давно,
 Слепой судьбы изведаль повороты,
 Но жил — не спал, — мне с детства суждено
 Быть начеку, сводя с фортуной счеты.
 Лишь четверть века длил я жизни бег,
 А пережил — как будто прожил век.

Так будь что будет — все приму без слова!
 Я Прошлого почти благодарю:
 В нем есть просветы, пусть оно сурово.
 Когда ж о настоящем говорю,
 Моя душа хвалить его готова
 Уже за то, что вижу и смотрю,
 Могу в Природе каждое мгновенье
 Любить и созерцать в благоговенье.

Сестра! В тебе нашел я свой оплот,
 Как ты во мне. Мы были, есть и будем
 Во всем едины. То, что в нас живет,
 Не умертвить ни Времени, ни людям.
 И вместе, врозь — в чаду любых забот
 Не предадим друг друга, не забудем.
 Союз, который первым был для нас,
 Последним разорвется в смертный час.

28 августа 1816

СТРОКИ,
 НАПИСАННЫЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИЗВЕСТИЯ
 О БОЛЕЗНИ ЛЕДИ БАЙРОН

Я был вдали, не докучал любовью,
 А ты терзалась, жизнь свою кляня:
 Печаль с болезнью стали в изголовье
 К тебе в том доме, где уж нет меня.
 Как я пророчил, так случилось вскоре,
 Ты заплатила за разрыв сполна:
 Когда трофеи подобрало горе,
 Душа очнулась, болью сражена.
 Да, мы тверды, когда в волнах рискуем
 Иль гибелью в бою грозим врагу,
 Но смерть зовем, рыдаем и тоскуем,
 Придя в себя на диком берегу.
 Рок покарал тебя за все обиды,
 Я отомщен, и все из-за того,
 Что не по праву стала Немезидой
 Ты за мои грехи и баловство.
 Достойны только добрые участья.
 Ты не из них — тебе не будет счастья!
 Пускай порой к тебе нисходят сны
 И льстят твоим сердечным угрызеньям,
 На простынях, разостланных презреньем,
 Проснутся чувства, горем взметены.

Во мне посеяв боль, измыслив ложь,
Ты в сердце горький урожай пожнешь!
Я знал врагов — им до тебя далеко, —
Я их смирял иль обращал в друзей,
Но ни один не мстил мне так жестоко,
Как ты неумолимостью своей.
Ты, словно сталью, слабостью прикрылась,
Мою любовь используя как щит.
Забыла ты, сколь многим поступилась
Она, не помнящая всех обид!
Пусть недруги меня бесславят хором,
Твоим поверив клятвам и словам,
И счет ведут измышленным грехам.
Знай, что из рассказней, скрепленных вздором,
Ты памятник соорудила мне,
Его воздвигнув на моей вине!
Ты, видно, зло особого реестра,
Ты для меня — вторая Клитемнестра,
Мечом сразившая любовь и честь,
Ты, не смиривши гневного порыва,
Бесстрастно в жертву принесла разрыву
Все, что могло для нас еще расцвести.
Ты добродетель сделала пороком,
Торгуешь ею, числа барыши,
Чтоб оплатить в спокойствии жестоком
Мучения родной тебе души.
С тех пор как с кривою ты подружилась,
Правдивости, которою кичилась,
Нет ни на грош в тебе — есть только ложь,
Но ты вины своей не признаешь,
А, как двуликий Янус, измысленья
Пускаешь в ход, не ведая сомненья,
Лукавые наветы и хулу,
Молчишь многозначительно, но взгляды
Бросаешь ты, исполненные яду,
Чтобы разжечь досужую молву.
Любое средство множит твои силы,
Все позволяет нравственность твоя —
Да, ты со мной так страшно поступила,
Как никогда не поступил бы я!

Сентябрь 1816

ВЕНЕЦИЯ

(Отрывок)

Уж полночь, но светло как днем.
Веселье пенится кругом:
Светильники пылают ярко
На площади Святого Марка,
И гордо вздыбилась над ней
Четверка бронзовых коней —
Античных мастеров работа,—
Сверкает сбруи позолота.
Вот лев крылатый на столпе:
С презреньем к суетной толпе,
Не замечая люд прохожий,
Он обращен к Палаццо Дожей.
«Мост вздохов» — из дворца в тюрьму
Ведут несчастных по нему,
И там, закованные в цепи,
В отрезанном от мира склепе
Те смерть приемлют, те гниют;
Отправил многих тайный суд
Туда, но не было такого,
Кто вышел бы на волю снова.

Скульптурно-царственна Пьяццетта
В оправе царственных аркад.
Прославленное чудо света,
Дворец, свой обратил фасад
Туда, где вечно плещут воды —
Ограда островной свободы.
Вот храм святого Марка. Он
Украшен россыпью колонн
Из яшмы, мрамора, порфира —
Богатой данью полумира.
Причудлив и могуч собор:
Восточный каменный узор
И минарет, ввысь устремленный,
И купола... Скорей мечеть,
Чем церковь, где перед Мадонной
Нам надлежит благоговеть...

Венеция, 6 декабря 1816

ПЕСНЯ ДЛЯ ЛУДДИТОВ

Как когда-то за вольность в заморском краю
Кровью выкуп вносил бедный люд,
Так и мы кушим волю свою.
Жить свободными будем иль ляжем в бою!
Смерть владыкам! Да славится Лудд!

Мы на саван тирану соткем полотна,
За оружие возьмемся потом.
Угнетателям смерть суждена!
И красильный свой чан мы нальем дополна,
Но не краской, а кровью нальем.

Эта смрадная кровь, как живительный ил,
Нашу почву удобрит, и в славный тот день
Обновится, исполнится сил
Дуб Свободы, что некогда Лудд посадил,
И над миром прострет свою сень.

24 декабря 1816

* * *

Не бродить нам вечер целый
Под луной вдвоем,
Хоть любовь не оскудела
И в полях светло, как днем.

Переживет ножны клинок,
Душа живая — грудь.
Самой любви приходит срок
От счастья отдохнуть.

Пусть для радости и боли
Ночь дана тебе и мне —
Не бродить нам больше в поле
В полночь при луне!

28 февраля 1817

ТОМАСУ МУРУ

Вот и лодка у причала,
Скоро в море кораблю.
Скоро в море, но сначала
Я за Тома Мура пью.

Вздых я шлю друзьям сердечным
И усмешку — злым врагам.
Не согнусь под ветром встречным
И в бою нигде не сдам.

Пусть волна ревет в пучине,
Я легко над ней пройду.
Заблужусь ли я в пустыне,
Я родник в песках найду.

Будь хоть капля в нем живая —
Только капля бытия, —
Эту каплю, умирая,
Выпью, друг мой, за тебя.

Я наполню горсть водою,
Как сейчас бокал — вином,
И да будет мир с тобою, —
За твоё здоровье, Том!

Июль 1817

ПОЕДИНОК

1

Прошло полвека, но раздор
Меж нас не зажил до сих пор.
Тогда сошлись плечом к плечу,
Рукой к руке, мечом к мечу
Два наших предка, два родных,
И пролил кровь один из них.
Убитый был тебе родней
(О, если б это был чужой!),

Какой по клану и родне
Убийца доводился мне.
И за содеянное зло
К тебе Наследство перешло.

2

Мне от убийцы шли именья,
Какими с Гастингсовых дней
Владели предков поколенья:
В анналах нет людей, верней
Деливших лавры и лишенья
С чредой британских королей.
Я знаю дедов честь и славу,
И я наследник им по праву.

3

Как я любил тебя! Но эти
Терзанья должно позабыть.
Теперь ты видишь, что на свете
Нежней немисливо любить.
Но мы чужим обеты дали,
С чужими были под венцом
И, потеряв друг друга, стали
Ты — матерью, а я — отцом.
А связь именьями и кровью
Сулила нам иной удел:
Я не ронял бы честь сословья,
Когда бы я своей любовью
Тебя преследовать посмел.
Но я не смел — и в утешенье
Сполна вкусил плодов забвенья.
Я лишь хранил свою любовь!
Да мог ли я тогда стараться
Руки любимой домогаться,
Когда я знал, что отрешен
От счастья множеством препон,
Когда широкою рекою
Давно пролившаяся кровь
Разъединяла нас с тобою.
Увы! Какой душе урон,
Как много было между нами,
Когда считались мы друзьями!

Как много было! Я любил,
 А ты — меня ты не любила:
 Другой кумир тебя пленил,
 И мне на свете все постыло.
 Теперь ты можешь наконец
 Сравнить его с собой и мною:
 Нам память послана судьбою
 Как Испытание Сердец.

Венеция, 29 декабря 1818

СТАНСЫ К РЕКЕ ПО

Река! Твой путь — к далекой стороне,
 Туда, где за старинными стенами
 Любимая живет — и обо мне
 Ей тихо шепчет память временами.

О, если бы широкий твой поток
 Стал зеркалом души моей, в котором
 Несметный сонм печалей и тревог
 Любимая читала грустным взором!

Но нет, к чему напрасные мечты?
 Река, своим течением бурливым
 Не мой ли нрав отображаешь ты?
 Ты родственна моим страстям, порывам.

Я знаю: время чуть смирило их,
 Но не навек — и за коротким спадом
 Следует разлив страстей моих
 И твой разлив — их не сдержать преградам.

Тогда опять, на отмели пустой
 Нагромоздив обломки, по равнине
 Ты к морю устремишься, я же — к той,
 Кого любить не смею я отныне.

В вечерний час, прохладой ветерка
Дыша, она гуляет по приречью;
Ты плещешься у ног ее, река,
Чаруя слух своей негромкой речью.

Глаза ее любятся тобой,
Как я люблюсь, горестно безмолвный...
Невольно я роняю вздох скупой —
И тут же вдаль его уносят волны.

Стремительный их бег неудержим,
И нескончаема их вереница.
Моей любимой взгляд скользнет по ним,
Но вспять им никогда не возвратиться.

Не возвратиться им, твоим волнам.
Вернется ль та, кого зову я с грустью?
Близ этих вод — блуждать обоим нам:
Здесь, у истоков, — мне; ей — возле устья.

Наш разобщитель — не простор земной,
Не твой поток, глубокий, многоводный:
Сам Рок ее разъединил со мной.
Мы, словно наши родины, несходны.

Дочь пламенного юга полюбил
Сын севера, рожденный за горами.
В его крови — горячий южный пыл,
Не выстуженный зимними ветрами.

Горячий южный пыл — в моей крови.
И вот, не исцелясь от прежней боли,
Я снова раб, послушный раб любви,
И снова стражду — у тебя в неволе.

Нет места мне на жизненных пирах,
Пускай, пока не стар, смежу я веки.
Из праха вышел — возвращусь во прах,
И сердце обретет покой навеки.

Июль 1819

СТАНСЫ

1

Когда б нетленной
И неизменной,
Назло вселенной,
Любовь была,
Такого плена
Самозабвенно
И вдохновенно
Душа б ждала.
Но тороптивы
Любви приливы.
Любовь на диво,
Как луч, быстра.
Блеснет зарница —
И мгла ложится,
Но как прекрасна лучей игра!

2

Простясь с любимой,
Мы нелюдимы,
Тоской томимы
И смерть зовем.
Но год излечит
Души увечья,
И мы при встрече
Едва кивнем.
В минуту счастья
Своею властью
Мы рвем на части
Любви плюмаж.
Плюмаж утрачен —
Мы горько плачем,
И сколь безрадостен жребий наш!

3

Как вождь в сраженье,
Любовь — в движенье
И подчиненья
Не признает.

Завидев пути,
Пришпорит круто
И в гневе лютом
Стремглав уйдет.
К желанным благам
Под бранным стягом
Победным шагом
Идет она.
Победы ради
Назад — ни пяди!
На шаг отступит — и сражена!

4

Вперед, влюбленный,
Чтоб исступленно
Любви знамена
Сквозь мрак нести!
Любви утрата
Тоской чревата.
Но виноватых
Нельзя найти.
Коль стало ясно,
Что чувства гаснут,
То безучастно
Конца не жди.
Любовь споткнется —
И нить порвется,
И тихо скажем: «Любовь, прости!»

5

Воспоминанья
На расстоянье
Ведут дознанье
Былых утрат:
Все было гладко,
Но стало шатко,
Когда украдкой
Вошел разлад.
Поклон прощальный —
И беспечально
Первоначальный
Восторг избыт.

Спокойны взгляды,
И слов не надо,
И только нежность в зрачках горит.

6

Честней расстаться
Без ламентаций,
Чем улыбаться
И делать вид,
Что все — как было.
Союз постылый
Сердец бескрылых
Не обновит.
Любовь пуглива
И прихотлива.
Она игрива,
Как детвора.
В ней ужас пытки
И боль в избытке,
Но вечно манит ее игра.

1 декабря 1819

В ДЕНЬ МОЕЙ СВАДЬБЫ

Новый год... Все желают сегодня
Повторений счастливого дня.
Пусть повторится день новогодний,
Но не свадебный день для меня!

2 января 1820

ЭПИТАФИЯ ВИЛЬЯМУ ПИТТУ

От смерти когтей не избавлен,
Под камнем холодным он тлеет;
Он ложью в палате прославлен,
Он ложе в аббатстве имеет.

2 января 1820

ЭПИГРАММА НА ВИЛЬЯМА КОББЕТА

Твои, Том Пейн, он вырыл кости,
Но, бедный дух, имей в виду:
К нему ты здесь явился в гости,
Он навестит тебя в аду.

2 января 1820

СТАНСЫ

Кто драться не может за волю свою,
Чужую отстаивать может.
За греков и римлян в далеком краю
Он буйную голову сложит.

За общее благо борись до конца —
И будет тебе воздаянье.
Тому, кто избегнет петли и свинца,
Пожалуют рыцаря званье.

5 ноября 1820

ЭПИГРАММА НА АДРЕС МЕДНИКОВ, КОТОРЫЙ ОБЩЕСТВО ИХ НАМЕРЕВАЛОСЬ ПОДНЕСТИ КОРОЛЕВЕ КАРОЛИНЕ, ОДЕВШИСЬ В МЕДНЫЕ ЛАТЫ

Есть слух, что медники, одевшись в медь, поднести
Желают адрес свой. Парад излишний, право:
Куда они идут, там больше меди есть
Во лбах, чем принесет с собой вся их орава.

6 января 1821

ИЗ МАРЦИАЛА

Перед тобою — Марциал,
Чьи эпиграммы ты читал.
Тебе доставил он забаву,
Воздай же честь ему и славу,
Доколе жив еще поэт.
В посмертной славе толку нет!

1821

НА СМЕРТЬ ПОЭТА ДЖОНА КИТСА

Кто убил Джона Китса?
— Я,— ответил свирепый журнал,
Выходящий однажды в квартал.—
Я могу поручиться,
Что убили мы Китса!

— Кто стрелял в него первый?
— Я,— сказали в ответ
Бэрро, Саути и Милмэн, священник-поэт.—
Я из критиков первый
Растерзал ему нервы!

30 июля 1821

СТАНСЫ, НАПИСАННЫЕ ПО ДОРОГЕ МЕЖДУ ФЛОРЕНЦИЕЙ И ПИЗОЙ

Ты толкуешь о славе героев? Довольно!
Все дни нашей славы — дни юности вольной.
И стоит ли лавр, пусть роскошный и вечный,
Плюща и цветов той поры быстротечной?

На морщинистом лбу мы венцы почитаем.
Это — мертвый цветок, лишь обрызганный маем.
Что гирлянды сединам? Пустая забава.
Что мне значат венки, раз под ними лишь слава?

О слава! Польщенный твоей похвалою,
Я был счастлив не лестью, не фразой пустою,
А взором любимой, моей ясноокой,
Что, пленившись тобою, раскрылся широко.

Там тебя я искал, там тебя и нашел я,
Милых взоров лучи в твои перлы возвел я:
Где они освещали мой взлет величавый,
Там — я ведал — любовь, там -- я чувствовал — слава!

6 ноября 1821

НА САМОУБИЙСТВО
БРИТАНСКОГО МИНИСТРА КЭСТЕЛРИ

I

О Кэстелри, ты истый патриот.
Герой Катон погиб за свой народ,
А ты отчизну спас не подвигом, не битвой —
Ты злейшего ее врага зарезал бритвой.

II

Что? Перерезал глотку он намедни?
Жаль, что свою он полоснул последней!

III

Зарезался он бритвой, но заранее
Он перерезал глотку всей Британии.

Август 1822

ГРАФИНЕ БЛЕССИНГТОН

Вы стихов моих ждете, и я
Вам отказывать в них не привык.
Но страстей оскудела струя
И загдох Ипокрены родник.

Будь я прежним, я пел бы в стихах
Ту, чей образ сам Лоуренс создал.
Но угас мой напев на устах,
Грудь мою словно панцирь сковал.

Стал я пеплом, а пламенем был;
Не очнуться певцу ото сна;
Лишь люблюсь я тем, что любил;
На висках и в душе — седина.

Измеряют мой век не года,
Но мгновенья, что режут, как плуг:
На челе и в душе борозда
После них появляется вдруг.

Пусть горячая юность смелей
Устремляется с песнями ввысь.
Я бессилен: на лире моей
Струны лучшие оборвались.

1823

СТАНСЫ
НА ИНДИЙСКУЮ МЕЛОДИЮ

Плач мой, сколь ты долог, долог, долог!
Я изнемогла в разлуке с милым.
Неизменный сон мне не по силам:
Вижу только ночи плотный полог.

Плач мой, сколь ты долог, долог, долог!
Тягостная ночь нетороплива.
Голову, поникшую, как ива,
Жгут уколы медленных иголок.

Плач мой, ты безжалостен и долог!
Ливень слез лиши бездонной силы,
Снами обернись, в которых милый
Будет виден мне сквозь ночи полог.

Плач мой, плач, не будь жесток и долог!
Скоро ли к любимому прильну я
И забьются губы в поцелуе?
Боль моя сильна, и плач мой долог.

1823

АРИСТОМЕН
(Отрывок)

Песнь первая

Покинули береговой простор
И смолкли боги древние с тех пор,
Как, заглушив прибой и ураган,
Ужасный вопль раздался: «Умер Пан!»

Сколь многое погибло вместе с ним!
Прекрасен был тот мир, неповторим:
Там были встарь все роци и ручьи
Полны пугливых нимф, насмешки чьи
Будили страсть в богах. И страсти плод
В подлунной начинал геройский род,
Прославленный на суше и морях...

Кефалония, 10 сентября 1823

ПЕСНЬ К СУЛИОТАМ

Дети Сули! Киньтесь в битву,
Долг творите, как молитву!
Через рвы, через ворота:
Бауа, бауа, сулиоты!
Есть красотки, есть добыча —
В бой! Творите свой обычай!

Знамя вылазки святое,
Разметавшей вражьи строи,
Ваших гор родимых знамя —
Знамя ваших жен над вами.
В бой, на приступ, стратиоты,
Бауа, бауа, сулиоты!

Плуг наш — меч: так дайте клятву
Здесь собрать златую жатву;
Там, где брешь в стене пробита,
Там врагов богатство скрыто.
Есть добыча, слава с нами —
Так вперед, на спор с громами!

1823

ИЗ ДНЕВНИКА В КЕФАЛОНИИ

Встревожен мертвых сон, — могу ли спать?
Тираны давят мир, — я ль уступлю?
Созрела жатва, — мне ли медлить жать?
На ложе — колкий терн; я не дремлю;
В моих ушах, что день, поет труба,
Ей вторит сердце...

19 июня 1823

ПОСЛЕДНИЕ СТРОКИ,
ОБРАЩЕННЫЕ К ГРЕЦИИ

Что мне страна, порвавшая оковы,
Ее грядущей славы благодать?
А я любой венец (но не лавровый)
Готов сегодня Греции отдать.

Люблю тебя! Не будь со мной суровой!
Лишь глянешь ты, как гневно смотрит мать,—
И птицей пред змеей пестроголовой
Я, цепenea, мучаюсь опять.

Моей любви нетленная основа!
Я твой — и с этим мне не совладать!

1824

ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ

Я на тебя взирал, когда наш враг шел мимо,
Готов его сразить иль пасть с тобой в крови,
И если б пробил час — делить с тобой, любимой,
Все, верность сохранив свободе и любви.

Я на тебя взирал в морях, когда о скалы
Ударился корабль в хаосе бурных волн,
И я молил тебя, чтоб ты мне доверяла;
Гробница — грудь моя, рука — спасенья челн.

Я взор мой устремлял в больной и мутный взор твой,
И ложе уступил и, бдением истомлен,
Прильнул к ногам, готов земле отдаться мертвой,
Когда б ты перешла так рано в смертный сон.

Землетрясение шло и стены сотрясало,
И все, как от вина, качалось предо мной.
Кого я так искал среди пустого зала?
Тебя. Кому спасал я жизнь? Тебе одной.

И судорожный вздох спирало мне страданье,
Уж погасала мысль, уже язык немел,
Тебе, тебе даря последнее дыханье,
Ах, чаще, чем должно, мой дух к тебе летел.

О, многое прошло; но ты не любила,
Ты не полюбишь, нет! Всегда вольна любовь.
Я не виню тебя, но мне судьба судила —
Преступно, без надежд, — любить все вновь и вновь.

1824

В ДЕНЬ, КОГДА МНЕ ИСПОЛНИЛОСЬ
ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ ЛЕТ

Других не властный волновать,
Я сам бесстрастен должен быть,
Но и без отклика, опять
Хочу любить.

Настал мой желтый листопад,
Любви цветенье позади,
Червь погубил плоды, и яд
В моей груди.

Огонь, терзающий меня, —
Вулкан среди пустынных вод;
Ни в ком ответного огня
Он не зажжет.

Надежда, ревность, страха дрожь,
Высокий жребий мук земных,
Любовь — я их лишен, и все ж
Во власти их.

Довольно. Пржнему конец.
Я думать так не вправе — здесь,
Где павший и живой боец
Стяжали честь.

О, слава древняя Афин!
О, стяга плеск и блеск копья!
Как щитоносной Спарты сын,
Свободен я.

Мой дух! Ты помнишь ли, чья кровь
Завещана тебе в удел?
Воспрянь же, как Эллада, вновь
Для славных дел!

Пусть над тобой утратит власть
Гнев иль улыбка красоты.
Умей унять любую страсть,—
 Не мальчик ты!

Ты прожил молодость свою.
Что медлить? Вот он, славы край.
Свое дыхание в бою
 Ему отдай.

Свободной волею влеком
К тому, что выше всех наград,
Взгляни кругом, найди свой холм
 И спи, солдат!

22 января 1824



Тайюмнество Чаймуд-Тарольда

L'univers est une espèce de livre, dont on n'a lu que la première page quand on n'a vu que son pays. J'en ai feuilleté un assez grand nombre, que j'ai trouvé également mauvaises. Cet examen ne m'a point été infructueux. Je haïssais ma patrie. Toutes les impertinences des peuples divers, parmi lesquels j'ai vécu, m'ont réconcilié avec elle. Quand je n'aurais tiré d'autre bénéfice de mes voyages que celui-là, je n'en regretterais ni les frais ni les fatigues. *Le Cosmopolite*¹.

ПРЕДИСЛОВИЕ

(К ПЕСНЯМ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ)

Большая часть этой поэмы была написана в тех местах, где происходит ее действие. Она была начата в Албании, а те части, которые относятся к Испании и Португалии, основаны на личных наблюдениях автора в этих странах. Я упоминаю об этом как о ручательстве за верность описаний. Сцены и пейзажи, набросанные здесь автором, рисуют Испанию, Португалию, Эпир, Акарнанию и Грецию. На этом поэма покуда остановилась. Осмелится ли автор повести читателя по Ионии и Фригии в столицу Востока, зависит от того, как будет принято его творение. Эти две песни — не более чем проба.

Вымышленный герой был введен в поэму с целью связать ее отдельные части: это, однако, не означает, что автор не намерен допускать отступления. Друзья,

¹ Мир подобен книге, и тот, кто знает только свою страну, прочитал в ней лишь первую страницу. Я же перелистал их довольно много и все нашел одинаково плохими. Этот опыт не прошел для меня бесследно. Я ненавидел свое отечество. Варварство других народов, среди которых я жил, примирило меня с ним. Пусть это было бы единственной пользой, извлеченной мною из моих путешествий, я и тогда не пожалел бы ни о понесенных расходах, ни о дорожной усталости.— «Космополит» (*франц.*).

мнение которых я высоко ценю, предостерегали меня, считая, что кое-кто может заподозрить, будто в этом вымышленном характере Чайльд-Гарольда я изобразил реально существующую личность. Такое подозрение я позволю себе отвергнуть раз и навсегда. Гарольд — дитя воображенья, созданное мною только ради упомянутой цели. Некоторые совсем несущественные и чисто индивидуальные черты, конечно, могут дать основание для таких предположений. Но главное в нем, я надеюсь, никаких подозрений не вызовет.

Излишне, может быть, говорить, что титул «Чайльд» (вспомним Чайльд-Уотерс, Чайльд-Чайльдерс и т. п.) был мною выбран как наиболее сообразный со старинной формой стихосложения.

«Прости, прости!» в начале первой песни навеяно «Прощанием лорда Максвелла» в «Пограничных песнях», изданных м-ром Скоттом.

В первой части, где речь идет о Пиренейском полуострове, можно усмотреть некоторое сходство с различными стихотворениями, темой которых является Испания; но это только случайность, потому что, за исключением нескольких конечных строф, вся эта песнь была написана в Леванте.

Спенсера строфа, принадлежащая одному из наших наиболее прославленных поэтов, допускает огромное разнообразие. Д-р Битти говорит об этом: «Недавно я начал поэму в стиле Спенсера, его строфой. Я хочу в ней дать полный простор моим склонностям и сделать ее то шутовой, то возвышенной, то описательной, то сентиментальной, нежной или сатирической — как подскажет настроение. Если не ошибаюсь, размер, выбранный мной, в одинаковой степени допускает все эти композиционные ходы...»

Опираясь на такие авторитеты и на пример многих выдающихся итальянских поэтов, я не стану оправдываться в том, что мое сочинение построено на таких же сменах и переходах. Если мои стихи не будут иметь успеха, я буду удовлетворен сознанием, что причина этой неудачи кроется только в исполнении, но не в замысле, освященном именами Ариосто, Томсона и Битти.

Лондон, февраль 1812

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРЕДИСЛОВИЮ

Я ждал, пока наши периодические листки не израсходуют свою обычную порцию критики. Против справедливости этой критики в целом я ничего не могу возразить; мне не пристало оспаривать ее легкие порицания, и возможно, что, будь она менее доброй, она была бы более искренней. Но, выражая всем критикам и каждому в отдельности свою благодарность за их терпимость, я должен все-таки высказать свои замечания по одному только поводу. Среди многих справедливых упреков, которые вызвал характер моего «странствующего рыцаря» (я все-таки, несмотря на многочисленные признаки обратного, утверждаю, что это характер вымышленный), высказывалось мнение, что он, не говоря уже об анахронизмах, ведет себя очень нерыцарственно, между тем как времена рыцарства — это времена любви, чести и т. п. Но теперь уже известно, что доброе старое время, когда процветала «любовь добрых старых времен, старинная любовь», было как раз наиболее развратным из всех возможных эпох истории. Те, кто сомневается в этом, могут справиться у Сент-Пале во многих местах, и особенно во второй части (стр. 69). Обеты рыцарства исполнялись не лучше, чем все другие обеты, а песни трубадуров были не менее непристойны и, уж во всяком случае, менее изысканны, чем песни Овидия. В «Судах любви», «Беседах о любви, учтивости и любезности» гораздо больше занимались любовью, чем учтивостью и любезностью. Смотри об этом Роллана и Сент-Пале.

Какие бы возражения ни вызывал в высшей степени непривлекательный характер Чайльд-Гарольда, он был, во всяком случае, настоящим рыцарем — «не трактирным слугой, а тамплиером». Между прочим, я подозреваю, что сэры Тристрам и сэры Ланселот были тоже не лучше, чем они могли быть, при том, что это персонажи высокопоэтические и настоящие рыцари «без страха», хотя и не без «упрека». Если история установления «Ордена Подвязки» не вымысел, то, значит, рыцари этого ордена уже несколько столетий носят знак графини Сэлисбери, отнюдь не блиставшей доброй славой. Вот правда о рыцарстве. Берку не следовало сожалеть о том, что времена рыцарства прошли, хотя Мария-Антуанетта была так же целомудренна, как и большинство тех, во славу которых ломались копыя и рыцарей сбрасывали с коней.

За время от Баярда до сэра Джозефа Бенкса, самого целомудренного и знаменитого рыцаря старых и новых времен, мы найдем очень мало исключений из этого правила, и я боюсь, что при некотором углублении в предмет мы перестанем сожалеть об этом чудовищном маскараде средних веков.

Теперь я предоставляю Чайльд-Гарольду продолжать свою жизнь таким, каков он есть. Было бы приятнее и, конечно, легче изобразить более привлекательный характер. Было бы легко притушить его недостатки, заставить его больше делать и меньше говорить, но он предназначался отнюдь не для того, чтобы служить примером. Скорее следовало бы учиться на нем тому, что ранняя развращенность сердца и пренебрежение моралью ведут к пресыщенности прошлыми наслаждениями и разочарованию в новых, и красоты природы, и радость путешествий, и вообще все побуждения, за исключением только честолюбия — самого могущественного из всех, потеряны для души, так созданной, или, вернее, ложно направленной. Если бы я продолжил поэму, образ Чайльда к концу углубился бы, потому что контур, который я хотел заполнить, стал бы, за некоторыми отклонениями, портретом современного Тимона или принявшего поэтическую форму Зелуко.

Лондон, 1813



ИАНТЕ

Ни в землях, где бродил я пилигримом,
Где несравненны чары красоты,
Ни в том, что сердцу горестно любимым
Осталось от несбывшейся мечты,
Нет образа прекраснее, чем ты,
Ни наяву, ни в снах воображенья.
Для видевших прекрасные черты
Бессильны будут все изображенья,
А для невидевших — найду ли выраженья?

Будь до конца такой! Не измени
Весне своей, для счастья расцветая.
И красоту и прелесть сохрани —
Все, что Надежда видит в розах мая.
Любовь без крыльев! Чистота святая!
Хранительнице юности твоей,
Все лучезарней с каждым днем блистая,
Будь исцеленьем от земных скорбей,
Прекрасной радугой ее грядущих дней.

Я счастлив, пери Запада, что вдвое
Тебя я старше, что могу мечтать,
Бесстрастно глядя на лицо такое,
Что суждена мне жизнью благодать

Не видеть, как ты будешь увядать,
Что я счастливей юношей докучных,
Которым скоро по тебе страдать,
И мне не изливаться в рифмах звучных,
Чтобы спастись от мук, с любовью неразлучных.

О, влажный взор газели молодой,
То ласковый, то пламенный и страстный,
Всегда влекущий дикой красотой,
Моим стихам ответь улыбкой ясной,
Которой ждал бы я в тоске напрасной,
Когда бы дружбы преступил порог.
И у певца не спрашивай, безгласный,
Зачем, отдав ребенку столько строк,
Я чистой лилией украсил свой венок.

Вошла ты в песню именем своим,
И друг, страницы «Чайльда» пробегаю,
Ианту первой встретив перед ним,
Тебя забыть не сможет, дорогая.
Когда ж мой век исчислит парка злая,
Коснись тех струн, что пели твой расцвет,
Хвалу тебе, красавица, слагая.
Надежде большим твой не льстит поэт.
А меньшего, дитя, в устах у Дружбы нет.

Теснь первая

1

Не ты ль слыла небесной в древнем мире,
О Муза, дочь Поэзии земной,
И не тебя ль бесчестили на лире
Все рифмачи преступною рукой!
Да не посмею твой смутить покой!
Хоть был я в Дельфах, слушал, как в пустыне
Твой ключ звенит серебряной волной,
Простой рассказ мой начиная ныне,
Я не дерзну взывать о помощи к богине.

2

Жил в Альбионе юноша. Свой век
Он посвящал лишь развлечениям праздным,
В безумной жажде радостей и нег
Распутством не гнушаясь безобразным,
Душою предан низменным соблазнам,
Но чужд равно и чести и стыду,
Он в мире возлюбил многообразном,
Увы! лишь кратких связей череду
Да собутыльников веселую орду.

3

Он звался Чайльд-Гарольд. Не все равно ли,
 Каким он вел блестящим предкам счет!
 Хоть и в гражданстве, и на бранном поле
 Они снискали славу и почет,
 Но осрамит и самый лучший род
 Один бездельник, развращенный ленью,
 Тут не поможет ворох льстивых од,
 И не придашь, хвалясь фамильной сенью,
 Пороку — чистоту, невинность — преступленью.

4

Вступая в девятнадцатый свой год,
 Как мотылек, резвился он, порхая,
 Не помышлял о том, что день пройдет —
 И холодом повеет тьма ночная.
 Но вдруг, в расцвете жизненного мая,
 Заговорило пресыщенье в нем,
 Болезнь ума и сердца роковая,
 И показалось мерзким все кругом:
 Тюрьмою — родина, могилой — отчий дом.

5

Он совести не знал укоров строгих
 И слепо шел дорогою страстей.
 Любил одну — прельщал любовью многих,
 Любил — и не назвал ее своей.
 И благо ускользнувшей от сетей
 Развратника, что, близ жены скучая,
 Бежал бы вновь на буйный пир друзей
 И, все, что взял приданым, расточая,
 Чуждался б радостей супружеского рая.

6

Но в сердце Чайльд глухую боль унес,
 И наслаждений жажда в нем остыла,
 И часто блеск его внезапных слез
 Лишь гордость возмущенная гасила.
 Меж тем тоски язвительная сила

Звала покинуть край, где вырос он,—
Чужих небес приветствовать светила;
Он звал печаль, весельем пресыщен,
Готов был в ад бежать, но бросить Альбион.

7

И в жажде новых мест Гарольд умчался,
Покинув свой почтенный старый дом,
Что сумрачной громадой возвышался,
Весь почерневший и покрытый мхом.
Назад лет сто он был монастырем,
И ныне там плясали, пели, пили,
Совсем как в оны дни, когда тайком,
Как повествуют нам седые были,
Святые пастыри с красотками кутили.

8

Но часто в блеске, в шуме людных зал
Лицо Гарольда муку выражало.
Отвергнутую страсть он вспоминал
Иль чувствовал вражды смертельной жало —
Ничье живое сердце не узнало.
Ни с кем не вел он дружеских бесед.
Когда смятенье душу омрачало,
В часы раздумий, в дни сердечных бед
Презреньем он встречал сочувственный совет.

9

И в мире был он одинок. Хоть многих
Поил он щедро за столом своим,
Он знал их, прихлебателей убогих,
Друзей на час — он ведал цену им.
И женщинами не был он любим.
Но боже мой, какая не сдается,
Когда мы блеск и роскошь ей сулим!
Так мотылек на яркий свет несется,
И плачет ангел там, где сатана смеется.

У Чайльда мать была, но наш герой,
 Собравшись бурной ввериться стихии,
 Ни с ней не попрощался, ни с сестрой —
 Единственной подругой в дни былые.
 Ни близкие не знали, ни родные,
 Что едет он. Но то не черствость, нет:
 Хоть отчий дом он покидал впервые,
 Уже он знал, что сердце много лет
 Храпит прощальных слез неизгладимый след.

Наследство, дом, поместья родовые,
 Прелестных дам, чей смех он так любил,
 Чей синий взор, чьи локоны золотые
 В нем часто юный пробуждали пыл, —
 Здесь даже и святой бы согрешил, —
 Вином бесценным полные стаканы —
 Все то, чем роскошь радует кутил,
 Он променял на ветры и туманы,
 На рокот южных волн и варварские страны.

Дул свежий бриз, шумели паруса,
 Все дальше в море судно уходило,
 Бледнела скал прибрежных полоса,
 И вскоре их пространство поглотило.
 Быть может, сердце Чайльда и грустило,
 Что повлеклось в неведомый простор,
 Но слез не лил он, не вздыхал уныло,
 Как спутники, чей увлажненный взор,
 Казалось, обращал к ветрам немой укор.

Когда же солнце волн коснулось краем,
 Он лютню взял, которой он привык
 Вверять все то, чем был обуреваем
 Равно и в горький и в счастливый миг,
 И на струнах отзывчивых возник
 Протяжный звук, как сердца стон печальный,
 И Чайльд запел, а белокрылый бриг
 Летел туда, где ждал их берег дальный,
 И в шуме темных волн тонул напев прощальный,

«Прости, прости! Все крепнет шквал,
Все выше вал встает,
И берег Англии пропал
Среди кипящих вод.
Плывем на Запад, солнцу вслед,
Покинув отчий край.
Прощай до завтра, солнца свет,
Британия, прощай!

Промчится ночь, оно взойдет
Сиять другому дню,
Увижу море, небосвод,
Но не страну мою.
Погас очаг мой, пуст мой дом,
И двор травой зарос.
Мертво и глухо все кругом,
Лишь воет старый пес.

Мой паж, мой мальчик, что с тобой?
Я слышал твой упрек.
Иль так напуган ты грозой,
Иль на ветру продрог?
Мой бриг надежный крепко спит,
Ненужных слез не лей.
Быстрейший сокол не летит
Смелей и веселей».

«Пусть воет шквал, бурлит вода,
Грохочет в небе гром,—
Сэр Чайльд, все это не беда,
Я плачу о другом.
Отца и мать на долгий срок
Вчера покинул я,
И на земле лишь вы да бог
Теперь мои друзья.

Отец молитву произнес
И отпустил меня,
Но знаю, мать без горьких слез
Не проведет и дня». «Мой паж, дурные мысли прочь,
Разлуки минет срок!
Я сам бы плакал в эту ночь,
Когда б я плакать мог.

Мой латник верный, что с тобой?
Ты мертвеца бледней.
Предвидишь ты с французом бой,
Продрог ли до костей?»
«Сэр Чайльд, привык я слышать гром
И не бледнеть в бою,
Но я покинул милый дом,
Любимую семью.

Где замок ваш у синих вод,
Там и моя страна.
Там сын отца напрасно ждет
И слезы льет жена».
«Ты прав, мой верный друг, ты прав,
Понятна скорбь твоя,
Но у меня беспечный нрав,
Смеюсь над горем я.

Я знаю, слезы женщин — вздор,
В них постоянства нет.
Другой придет, пленит их взор,
И слез пропал и след.
Мне ничего не жаль в былом,
Не страшен бурный путь,
Но жаль, что, бросив отчий дом,
Мне не о ком вздохнуть.

Вверяюсь ветру и волне,
Я в мире одинок.
Кто может вспомнить обо мне,
Кого б я вспомнить мог?
Мой пес поплачет день, другой,
Разбудит воем тьму
И станет первому слугой,
Кто бросит кость ему.

Наперекор грозе и мгле
В дорогу, рулевой!
Веди корабль к любой земле,
Но только не к родной!
Привет, привет, морской простор,
И вам — в конце пути —
Привет, леса, пустыни гор!
Британия, прости!»

Плывет корабль унылых вод равниной,
 Шумит Бискайи пасмурный залив.
 На пятый день из волн крутой вершиной,
 Усталых и печальных ободрив,
 Роскошной Синтры горный встал массив.
 Вот, моря данник, меж холмов покатых
 Струится Тахо, быстр и говорлив,
 Они плывут меж берегов богатых,
 Где волнам вторит шум хлебов, увы, несжатых.

Неизъяснимой полон красоты
 Весь этот край, обильный и счастливый.
 В восторге смотришь на луга, цветы,
 На тучный скот, на пастбища, и нивы,
 И берега, и синих рек извивы,
 Но в эту землю вторглись палачи,—
 Срази, о небо, род их нечестивый!
 Все молнии, все громы ополчи,
 Избавь эдем земной от галльской саранчи!

Чудесен Лиссабон, когда впервые
 Из тех глубин встает пред нами он,
 Где виделись поэтам золотые
 Пески, где, Луза охраняя трон,
 Надменный флот свой держит Альбион —
 Для той страны, где чванство нормой стало
 И возвело невежество в закон,
 Но лижет руку, пред которой пала
 Незыблемая мощь воинственного галла.

К несчастью, город, столь пленивший нас,
 Вблизи теряет прелесть невозвратно.
 Он душит вонью, оскорбляет глаз,
 Все черное, на всем подтеки, пятна,
 И знать и плебс грязны невероятно.

Любое, пусть роскошное, жилье,
Как вся страна, нечисто, неопрятно.
И — напади чесотка на нее —
Не станут мыться здесь или менять белье.

18

Презренные рабы! Зачем судьба им
Прекраснейшую землю отдала —
Сиерру, Синтру, прозванную раем,
Где нет красотам меры и числа.
О, чье перо и чья бы кисть могла
Изобразить величественный форум —
Все то, что здесь Природа создала,
Сумев затмить Элизий, над которым
Завесы поднял бард пред нашим смертным взором.

19

В тени дубрав, на склонах темных круч
Монастырей заброшенных руины,
От зноя бурый мох, шумящий ключ
В зеленой мгле бессолнечной лощины,
Лазури яркой чистые глубины,
На зелени оттенок золотой,
Потоки, с гор бегущие в долины,
Лоза на взгорье, ива над водой —
Так, Синтра, ты манишь волшебной пестротой.

20

Крутая тропка кружит и петлит,
И путник, останавливаясь чаще,
Любуется: какой чудесный вид!
Но вот обитель Матери Скорбящей,
Где вам монах, реликвии хранящий,
Расскажет сказки, что народ сложил:
Здесь нечестивца гром настиг разящий,
А там, в пещере, сам Гонорий жил
И сделал адом жизнь, чем рая заслужил.

Но посмотри, на склонах, близ дороги,
 Стоят кресты. Заботливой рукой
 Не в час молитв, не в помыслах о боге
 Воздвигли их. Насилье и разбой
 На этот край набег свершили свой,
 Земля внимала жертв предсмертным стонам,
 И вопиют о крови пролитой
 Кресты под равнодушным небосклоном,
 Где мирный труженик не огражден законом.

На пышный дол глядят с крутых холмов
 Руины, о былом напоминая.
 Где был князей гостеприимный кров,
 Там ныне камни и трава густая.
 Вон замок тот, где жил правитель края,
 И ты, кто был так сказочно богат,
 Ты, Ватек, создал здесь подобье рая,
 Не ведая средь царственных палат,
 Что все богатства — тлен и мира не сулят.

Ты свой дворец воздвигнул здесь в долине
 Для радостей, для нег и красоты,
 Но запустеньем все сменилось ныне,
 Бурьян раскинул дикие кусты,
 И твой эдем, он одиноч, как ты.
 Обрушен свод, остались только стены,
 Как памятники брэнной суеты.
 Не все ль услады бытия мгновенны!
 Так на волне блеснет — и тает сгусток пены.

А в этом замке был совет вождей,
 Он ненавистен гордым англичанам.
 Здесь карлик-шут, пустейший из чертей,
 В пергаментном плаще, с лицом шафранным,
 Британцев дразнит смехом непрестанным.

Он держит черный свиток и печать,
И надписи на этом свитке странном,
И рыцарских имен десятков пять,
А бес не устаёт, дивясь им, хохотать.

25

Тот бес, дразнящий рыцарскую клику,—
Конвенция, на ней споткнулся бритт.
Ум (если был он), сбитый с панталыку,
Здесь превратил триумф народа в стыд;
Победы цвет Невежеством убит,
Что отдал Меч, то Речь вернула вскоре,
И лавры Лузитания растит
Не для таких вождей, как наши тори.
Не побежденным здесь, а победившим горе!

26

С тех пор как был британцу дан урок,
В нем слово «Синтра» гнев бессильный будит.
Парламент наш краснел бы, если б мог,
Потомство нас безжалостно осудит.
Да и любой народ смеяться будет
Над тем, как был сильнейший посрамлен.
Враг побежден, но это мир забудет,
А вырвавший победу Альбион
Навек презрением всех наций заклеямен.

27

И, полный смуты, все вперед, вперед
Меж горных круч угрюмый Чайльд стремится.
Он рад уйти, бежать от всех забот,
Он рвется вдаль, неутомим, как птица.
Иль совесть в нем впервые шевелится?
Да, он клянет пороки буйных лет,
Он юности растроченной стыдится,
Ее безумств и призрачных побед,
И все мрачнее взор, узревший Правды свет.

Коня! Коня! Гонимый бурей снова,
 Хотя кругом покой и тишина,
 Назло дразнящим призракам былого
 Он ищет не любовниц, не вина,
 Но многие края и племена
 Изведает беглец неугомный,
 Пока не станет цель ему ясна,
 Пока, остывший, жизнью умудренный,
 Он мира не найдет под кровлей благосклонной.

Однако вот и Мафра. Здесь, бывало,
 Жил королевы лузитанской двор.
 Сменялись мессы блеском карнавала,
 Церковным хором — пиршественный хор.
 Всегда с монахом у вельможи спор.
 Но эта Вавилонская блудница
 Такой дворец воздвигла среди гор,
 Что всем хотелось только веселиться,
 Простить ей казни, кровь — и в роскоши забыться.

Изгибы романтических холмов,
 Как сад сплошной — долины с свежей тенью.
 (Когда б народ хоть здесь не знал оков!)
 Все манит взор, все дышит сладкой ленью.
 Но Чайльд спешит отдаться вновь движенью,
 Несносному для тех, кто дорожит
 Уютным креслом и домашней сенью,
 О, воздух горный, где бальзам разлит!
 О, жизнь, которой чужд обрюзгший сибарит!

Холмы все реже, местность все ровней,
 Бедней поля, и зелень уж другая.
 И вот открылась даль пустых степей,
 И кажется, им нет конца и края.
 Пред ним земля Испании нагая,

Где и пастух привык владеть клинком,
Бесценные стада оберегая.
В соседстве с необузданным врагом
Испанец должен быть солдатом иль рабом.

32

Но там, где Португалию встречает
Испания, граница не видна.
Соперниц там ни даль не разделяет,
Ни вздыбленной Сиерры крутизна,
Не плещет Тахо сильная волна
Перед царицей стран заокеанских,
Не высится Китайская стена,
Нет горной цепи вроде скал гигантских
На рубеже земель французских и испанских.

33

Лишь ручеек бежит невозмутим,
Хоть с двух сторон — враждебные державы.
На посох опершись, стоит над ним
Пастух испанский — гордый, величавый,
Глядит на небо, на ручей, на травы —
И не робеет между двух врагов.
Он изучил своих соседей нравы,
Он знает, что испанец не таков,
Как португальский раб, подлейший из рабов.

34

Но вот, едва рубеж вы перешли,
Пред вами волны темной Гвадианы,
Не раз воспетой в песнях той земли,
Бурлят и ропщут, гневом обуяны.
Двух вер враждебных там кипели станы,
Там сильный пал в неистовой резне,
Там брали верх то шлемы, то тюрбаны,
Роскошный мавр и мних в простой броне —
Все обретали смерть в багровой глубине.

Романтики воскресшая страна,
Испания, где блеск твоей державы?
Где крест, которым ты была сильна,
Когда предатель мстил за слезы Кавы,
И трупы гóтов нес поток кровавый?
Твой стяг царям навязывал закон,
Он обуздал разбойничьи оравы,
И полумесяц пал, крестом сражен,
И плыл над Аффрикой вой мавританских жеп.

Теперь лишь в песнях отзвук тех побед,
Лишь в песнях вечность обрели герои,
Столпы разбиты, летописей нет,
Но помнит песнь величие былое.
Взгляни с небес на поприще земное,
О Гордость! Рухнет бронза и гранит,
И только песнь верней, чем все иное,
Когда историк лжет, а льстец забыт,
Твое бессмертие в народе сохранит.

К оружию, испанцы! Мщенье, мщенье!
Дух Реконкисты правнуков зовет.
Пусть не копьё подьмет он в сраженье,
Плюмажем красным туч не достает,—
Но, свистом пуль означив свой полет,
Ощерив жерла пушек роковые,
Сквозь дым и пламень кличет он: вперед!
Иль зов его слабей, чем в дни былые,
Когда он вдохновлял сынов Андалусии?

Я слышу звон металла и копыт
И крики битвы в зареве багряном,
То ваша кровь чужую сталь поит,
То ваши братья сражены тираном.

Войска его идут тройным тараном,
Грохочут залпы на высотах гор,
И нет конца увечиям и ранам.
Летит на тризну Смерть во весь опор,
И ярый бог войны приветствует раздор.

39

Он встал, гигант, как будто в скалы врос,
В ужасной длани молния зажата,
Копна кроваво-рыжая волос
Черна на красном пламени заката.
Глаза — навывкат. Гибнет все, что свято,
От их огня. У ног его припав
И брата поднимая против брата,
Ждет Разрушенье битвы трех держав,
Чьей кровью жаждет бог потешить лютый нрав.

40

Великолепно зрелище сраженья
(Когда ваш друг в него не вовлечен).
О, сколько блеска, грома и движенья!
Цветные шарфы, пестрый шелк знамен.
Сверкает хищно сталь со всех сторон,
Несутся псы, добычу настигая.
Не всем триумф, но всем — веселый гон,
Всем будет рада Мать-земля сырая.
И шествует Война, трофеи собирая.

41

Три знамени зывают к небесам,
Три языка воздвигли спор ужасный.
Француз, испанец, бритт сразились там, —
Враг, жертва и союзник тот опасный,
В чью помощь верить — право, труд напрасный.
У Талаверы, смерть ища в бою
(Как будто ей мы дома не подвластны!),
Сошлись они, чтоб кровь пролить свою,
Дать жирный тук полям и пищу воронью.

И здесь им тлеть, глупцам, прельщенным славой
 И славы удостоенным в гробах.
 О, бред! Орудья алчности кровавой —
 Их тысячи тиран бросает в прах,
 Свой воздвигая трон на черепах,—
 Спроси зачем — во имя сповиденья!
 Он царствует, пока внушает страх,
 Но станет сам добычей смрадной тлени,
 И тесный гроб ему заменит все владенья.

О, поле скорбной славы, Альбусра!
 Среди равнин, где шпорит Чайльд коня,
 Кто знал, что завтра зла свершится мера,
 Что на заре твой сон прервет резня.
 Мир мертвым! В память гибельного дня
 Им слезы горя, им венец героя!
 Так славьтесь же, в преданиях звеня,
 Пока, могилы новым жертвам роя,
 Их сонмы новый вождь не кинет в ужас боя.

Но хватит о любовниках войны!
 Была их гибель данью славословью.
 Чтобы один прославлен был, должны
 Милльоны пасть, насытив землю кровью.
 Отчизна да спасется их любовью!
 Цель благородна. А живи они,
 Покорствуя других богов условью,
 Могли б на плахе, в ссоре кончить дни
 Позором для друзей, отчизны и родни.

И вот Севилью видит пилигрим.
 Еще блистает буйной красотой
 Свободный город, но уже над ним
 Насилье кружит. Огненной пятою
 Войдет тиран, предаст его разбою

И грабежу. О, если б смертный мог
Бороться с неизбежною судьбою!
Не пала б Троя, Тир не изнемог,
Добро не гибло бы, не властвовал порок.

46

Но, близящихся бед не сознавая,
Еще Севилья пляшет и поет,
Веселая, беспечная, живая.
Тут патриотам их страна не в счет!
Воркуют лютни, барабан не бьет,
Над всем царит веселье молодое,
Разврат свершает поздний свой обход,
И Преступленья крадется ночное
Вдоль стен, дряхлеющих в торжественном покое.

47

Не то крестьянин. С бледною женой
Он тужит днем, ночей не спит в печали.
Их виноградник вытоптан войной,
В селе давно фанданго не плясали.
Звезда любви восходит, но едва ли
Раздастся дробь веселых кастаньет.
Цари, цари! Когда б вы только знали
Простое счастье! Смолк бы гром побед,
Не стал бы трубный зов предвестьем стольких бед.

48

Какою ныне песней оживляет
Погонщик мулов долгий переход?
Любовь ли, старину ли прославляет,
Как славил их, когда не знал забот?
Нет, он теперь «Viva el Rey»¹ поет,
Но вдруг, Годоя вспомнив, хмурит брови
И Карла рогоносного клянет,
А с ним его Луизу, в чьем алькове
Измена родилась, алкающая крови.

¹ Да здравствует король! (исп.)

Среди равнины голой, на скале
 Чернеют стены мавританских башен,
 Следы копыт на раненой земле,
 Печать огня на черном лице пашен.
 Здесь орды вражьи, грозен и бесстрашен,
 Андалусийский селянин встречал,
 Здесь кровью гостя был не раз окрашен
 Его клинок, когда на гребнях скал
 Драконьи логова он дерзко штурмовал.

Здесь, не надев на шляпу ленты красной,
 Не смеет появиться пешеход.
 Когда ж дерзнет, раскается несчастный,
 То будет знак, что он не патриот.
 А нож остер, он мимо не скользнет.
 О Франция, давно бы ты дрожала,
 Когда б имел хоть ружья здесь народ,
 Когда б от взмаха гневного кинжала
 Тупели тесаки и пушка умолкала.

С нагих высот Морены в хмурый дол
 Стволы орудий смотрят, выжидая.
 Там бастион, тут ямы, частокол,
 Там ров с водой, а там скала крутая
 С десятком глаз внимательных вдоль края,
 Там часовой с опущенным штыком,
 Глядят бойницы, дулами сверкая,
 Фитиль зажжен, и конь под чепраком,
 И ядра горками уложены кругом.

Заглянем в день грядущий: кто привык
 Ниспровергать одним движеньем троны,
 Свой жезл подняв, задумался на миг,—
 Лишь краткий миг он медлил, изумленный.
 Но вскоре вновь он двинет легионы,

Он — Бич Земли! — на Западе воскрес.
Испания! Ты узришь гнев Беллоны,
И грифы галла ринутся с небес,
Чтоб кинуть тысячи сынов твоих в Гадес.

53

Ужель вам смерть судьба определила,
О юноши, Испании сыны!
Ужель одно: покорность иль могила,
Тирана смерть иль гибель всей страны?
Вы стать подножьем деспота должны!
Где бог? Иль он не видит вас, герои,
Иль стоны жертв на небе не слышны?
Иль тщетно все: искусство боевое,
Кровь, доблесть, юный жар, честь, мужество стальное!

54

Не оттого ль, для битв покинув дом,
Гитару дочь Испании презрела,
Повесила на иву под окном
И с песней, в жажде доблестного дела,
На брань с мужами рядом полетела.
Та, кто, иголкой палец уколов
Или заслышав крик совы, бледнела,
По грудам мертвых тел, под звон штыков,
Идет Минервой там, где дрогнуть Марс готов.

55

Ты слушаешь, и ты пленен, но, боже!
Когда б ты знал, какой была она
К кругу семьи, в саду иль в темной ложе!
Как водопад, волос ее волна,
Бездонна глаз лучистых глубина,
Прелестен смех, живой и нестесненный,—
И слово меркнет, кисть посрамлена,
Но вспомни Сарагоссы бастионы,
Где веселил ей кровь мертвящий взгляд Горгоны.

Любимый ранен — слез она не льет,
 Пал капитан — она ведет дружину,
 Свои бегут — она кричит: вперед!
 И натиск новый смел врагов лавину.
 Кто облегчит сраженному кончину?
 Кто отомстит, коль лучший воин пал?
 Кто мужеством одушевит мужчину?
 Все, все она! Когда надменный галл
 Пред женщинами столь позорно отступал?

Но нет в испанках крови амазонок,
 Для чар любви там дева создана.
 Хоть в грозный час — еще полуребенок —
 С мужчиной рядом в бой идет она,
 В самом ожесточении нежна,
 Голубка в роли львицы разъяренной,
 И тверже, но и женственней она
 И благородней в прелести врожденной,
 Чем наши сплетницы с их пошлостью салонной.

Амур отметил пальчиком своим
 Ей подбородок нежный и чеканный,
 И поцелуй, что свил гнездо над ним,
 С горячих губ готов слететь нежданый.
 — Смелей! — он шепчет. — Миг настал желанный,
 Она твоя, пусть недостойн ты!
 Сам Феб ей дал загар ее румяный.
 Забудь близ этой яркой красоты
 Жен бледных Севера бесцветные черты!

В краях, не раз прославленных на лире,
 В гаремах стран, где медлит мой рассказ,
 Где славят жен и циник, злейший в мире,
 Хоть издали, хоть прячут их от нас,
 Чтоб ветерок не сдул их с мужних глаз,

Среди красавиц томного Востока
Испанку вспомни — и поймешь тотчас,
Кто жжет сильнее мгновенным блеском ока,
Кто ангел доброты и гурия Пророка.

60

О ты, Парнас! Ты мне сияешь въяве,
Не сновиденьем беглым, не мечтой,
Но здесь, во всей тысячеветней славе,
Запечатленный дикой красотой,
На этой почве древней и святой.
Так я ли, твой паломник, о могучий,
Тебя хоть краткой не почту хвалой!
О, пусть услышу отклик твой певучий
И муза крыльями взмахнет над снежной кручей.

61

Как часто мне являлся ты во сне!
Я слышал звуки древних песнопений,
И час настал, и ты открылся мне.
Я трепещу, и клонятся колени,
Передо мной — певцов великих тени,
И стыдно мне за слабый голос мой.
О, где найти слова для восхвалений?
И, бледный, умиленный и немой,
Я тихо радуюсь: Парнас передо мной!

62

Сколь многие тебя в восторге пели,
Ни разу не видав твоих красот.
Не посетив страны твоей, — так мне ли
Сдержать порыв, когда душа поет!
Пусть Аполлон покинул древний грот,
Где муз был трон, там ныне их гробница, —
Но некий дух прекрасный здесь живет,
Он в тишине лесов твоих таится,
И вздохи ветру шлет, и в глубь озер глядится.

Так! Чтоб воздать хвалу тебе, Парнас,
 Души невольным движимый порывом,
 Прервал я об Испании рассказ,
 О той стране, что новым стала дивом,
 Родная всем сердцам вольнолюбивым, —
 Вернемся к ней. И если не венок
 (Да не сочтут меня глупцом хвастливым),
 От лавра Дафны хоть один листок
 Позволь мне унести — бессмертия залог.

Прощай! Нигде среди этих древних гор,
 Ни даже в дни Эллады золотые,
 Когда гремел еще дельфийский хор,
 Звучали гимны пифии святыя, —
 Верь, не являлись девы молодые
 Прекрасней тех, что дивно расцвели
 Среди пылких нег в садах Андалусии, —
 О, если б мир им боги принесли,
 Хоть горький мир твоей, о Греция, земли!

Горда Севилья роскошью и славой,
 Прекрасны в ней минувшего черты,
 И все ж ты лучше, Кадикс многоглавый,
 Хоть похвалы едва ль достоин ты.
 Но чьей порок не соблазнял мечты,
 Кто не блуждал его тропой опасной,
 Пока блистали юности цветы?
 Вампир с улыбкой херувима ясной,
 Для каждого иной, для всех равно прекрасный!

Пафос погиб, когда царица нег
 Сама пред силой Времени склонилась,
 И на другой, но столь же знойный брег
 За нею Наслажденье удалилось.

Та, кто измен любовных не стыдилась,
Осталась верной лишь родным волнам,
За эти стены белые укрылась,
И в честь Киприды не единый храм,
Но сотни алтарей жрецы воздвигли там.

67

С утра до ночи, с ночи до утра
Здесь праздный люд на улицах толпится,
Плащи, мантильи, шляпы, веера,
Гирлянды роз — весь город веселится.
Повсюду смех и праздничные лица,
Умеренность на стыд обречена.
Приехал — можешь с трезвостью проститься!
Здесь царство песни, пляски и вина
И, верите, любовь с молитвою дружна.

68

Пришла суббота — отдых и покой!
Но христианам не до сладкой лени.
Ведь завтра будет праздник, и какой!
Все на корриду кинутся, к арене,
Где пикадора, весь в кровавой пене,
Встречает бык, от бешенства слепой.
Прыжок! Удар! Конь рухнул на колени,
Кишки наружу. Хохот, свист и вой!
А женщины? Как все — поглощены борьбой!

69

И день седьмой ведет заря в тумане,
Пустеет Лондон в этот день святой.
Принарядясь, идут гулять мещане,
Выходит смывший грязь мастеровой
В неделю раз на воздух полевой.
По всем предместьям катит и грохочет
Карет, ландо, двуколок шумных рой,
И конь, устав, уже идти не хочет,
А пеший грубиян глумится и хохочет.

Один с утра на Темзу поспешил,
 Другой пешком поплелся на заставу,
 Тех манит Хайгет или Ричмонд-Хилл,
 А этот в Вер повел друзей ораву.
 По сердцу всяк найдет себе забаву,—
 Тем невтерпеж почтить священный Рог,
 А тем попить и погулять на славу,
 И, смотришь, пляшут, не жалея ног,
 С полночи до утра — и тянут эль и грог.

Безумны все, о Кадикс, но тобою
 Побит рекорд. На башне девять бьет,
 И тотчас, внемля колокола бою,
 Твой житель четки набожно берет.
 Грехам у них давно потерян счет,
 И все у Девы просят отпущенья
 (Ведь дева здесь одна на весь народ!),
 И в цирк несутся все без исключенья:
 Гранд, нищий, стар и млад—все жаждут развлеченья.

Ворота настезь, в цирке уж полно,
 Хотя еще сигнала не давали.
 Кто опоздал, тем сесть не суждено.
 Мелькают шпаги, ленты, шляпы, шали.
 Все дамы, все на зрелище попали!
 Они глазами так и целят в вас.
 Подстрелят мигом, но убьют едва ли
 И, ранив, сами вылетят тотчас.
 Мы гибнем лишь в стихах из-за прекрасных глаз.

Но стихло все. Верхом, как отлитые,
 Въезжают пикадоры из ворот.
 Плюмаж их белый, шпоры — золотые,
 Оружье — пика. Конь храпит и ржет,
 С поклоном выступают все вперед.

По кругу вскачь, и шарф над каждым вьется.
Их четверо, кого ж награда ждет?
Кого толпа почит, как полководца?
Кому восторженно испанка улыбнется?

74

В середине круга — пеший матадор.
Противника надменно ждет он к бою.
Он облачен в блистательный убор,
Он шпагу держит сильною рукою.
Вот пробует медлительной стопою,
Хорош ли грунт. Удар его клинка —
Как молния. Не нужен конь герою,
Надежный друг, что на рогах быка
Нашел бы смерть в бою, но спас бы седока.

75

Трубят протяжно трубы, и мгновенно
Цирк замер. Лязг засова, взмах флажком —
И мощный зверь на желтый круг арены
Выносится в пролет одним прыжком.
На миг застыл. Не в бешенстве слепом,
Но в цель уставясь грозными рогами,
Идет к врагу, могучим бьет хвостом,
Взметает гравий и песок ногами
И яростно косит багровыми зрачками.

76

Но вот он стал. Дорогу дай, смельчак,
Иль ты погиб! Вам биться, пикадоры!
Смертелен здесь один неверный шаг,
Но ваши кони огненны и скоры.
На шкуре зверя чертит кровь узоры.
Свист бандериллий, пик разящих звон...
Бык повернул, идет, — скорее шпоры!
Гигантский круг описывает он
И мчится, бешенством и болью ослеплеп.

И вновь назад! Бессильпы пики, стрелы,
 Конь раненый, взвиваясь, дико ржет.
 Наездники уверены и смелы,
 Но тут ни сталь, ни сила не спасет.
 Ужасный рог вспорол коню живот,
 Другому — грудь. Как рана в ней зияет!
 Разверст очаг, где жизнь исток берет.
 Конь прынул, мчится, враг его бросает,
 Он гибнет, падая, но всадника спасает.

Средь конских трупов, бандериллий, пик,
 Изранен, загнан, изнурен борьбою,
 Стоит, храпя, остервенелый бык,
 А матадор взвивает над собою
 Свой красный шарф, он дразнит, нудит к бою,
 И вдруг прыжок, и вражий прорван строй,
 И бык летит сорвавшейся горою.
 Напрасно! Брошен смелою рукой,
 Шарф хлещет по глазам,—взмах, блеск, и кончен бой.

Где сращена с затылком мощным шея,
 Там входит сталь. Мгновенье медлит он,
 Не хочет, гордый, пасть к ногам злодея,
 Не выдаст муки ни единый стон.
 Но вот он рухнул. И со всех сторон
 Ревут, вопят, ликуют, бьют в ладони,
 Въезжает воз, четверкой запряжен,
 Втащили тушу, и в смятенье кони,
 Рванув, во весь опор бегут, как от погони.

Так вот каков испанец! С юных лет
 Он любит кровь и хищные забавы.
 В сердцах суровых состраданья нет,
 И живы здесь жестоких предков нравы.
 Кипят междоусобные расправы.

Уже я мнил, война народ сплотит,—
Увы! Блюдя обычай свой кровавый,
Здесь другу мстят из-за пустых обид,
И жизни теплый ключ в глухой песок бежит.

81

Но ревность, заточенные красотки,
Невольницы богатых стариков,
Дуэньи, и запоры, и решетки —
Все минуло, все ныне — хлам веков.
Чьи девы так свободны от оков,
Как (до войны) испанка молодая,
Когда она плясала средь лугов
Иль пела песнь, венок любви сплетая,
И ей в окно луна светила золотая?

82

Гарольд не раз любил, иль видел сон,
Да, сон любви,— любовь ведь сновиденье.
Но стал угрюмо-равнодушным он.
Давно в своем сердечном охлажденье
Он понял: наступает пробужденье,
И пусть надежды счастье нам сулят,
Кончается их яркое цветенье,
Волшебный исчезает аромат,
И что ж останется: кипящий в сердце яд.

83

В нем прелесть женщин чувства не будила,
Он стал к ним равнодушной мудреца,
Хотя его не мудрость охладила,
Свой жар высокий льющая в сердца.
Изведав все пороки до конца,
Он был страстями, что отбушевали,
И пресыщеньем обращен в слепца,
И жизнеотрицающей печали
Угрюмым холодом черты его дышали.

Он в обществе был сумрачен и хмур,
 Хоть не питал вражды к нему. Бывало,
 И песнь споет, и протанцует тур,
 Но сердцем в том участвовал он мало.
 Лицо его лишь скуку выражало.
 Но раз он бросил вызов сатане.
 Была весна, все радостью дышало,
 С красавицей сидел он при луне
 И стансы ей слагал в вечерней тишине.

ИНЕСЕ

Не улыбайся мне, не жди
 Улыбки странника ответной.
 К его бесчувственной груди
 Не приникай в печали тщетной.

Ты не поделишь, милый друг,
 Страданья дней его унылых,
 Ты не поймешь причины мук,
 Которым ты помочь не в силах.

Когда бы ненависть, любовь
 Иль честолюбье в нем бродило!
 Нет, не они велят мне вновь
 Покинуть все, что сердцу мило.

То скука, скука! С давних пор
 Она мне сердце тайно гложет.
 О, даже твой прекрасный взор,
 Твой взор его развлечь не может!

Томим сердечной пустотой,
 Делю я жребий Агасфера.
 И в жизнь за гробовой чертой,
 И в эту жизнь иссякла вера.

Бегу от самого себя,
 Ищу забвенья, но со мною
 Мой демон злобный, мысль моя,—
 И в сердце места нет покою.

Другим все то, что скучно мне,
Дает хоть призрак наслажденья.
О, пусть пребудут в сладком сне,
Не зная муки пробужденья!

Проклятьем прошлого гоним,
Скитаюсь без друзей, без дома
И утешаюсь тем одним,
Что с худшим сердце уж знакомо.

Но с чем же?— спросишь ты. О нет,
Молчи, дитя, о том ни слова!
Взгляни с улыбкой мне в ответ
И сердца не пытай мужского.

85

Прости, прости, прекрасный Кадикс мой!
Напрасно враг грозил высоким стенам,
Ты был средь бурь незыблемой скалой,
Ты не знаком с покорностью и пленом.
И если, гневом распален священным,
Испанца кровь дерзал ты проливать,
То суд был над изменником презренным.
Но изменить могла здесь только знать.
Лишь рыцарь был готов чужой сапог лобзать.

86

Испания, таков твой жребий странный:
Народ-невольник встал за вольность в бой.
Бежал король, сдаются капитаны,
Но твердо знамя держит рядовой.
Пусть только жизнь дана ему тобой,
Ему, как хлеб, нужна твоя свобода.
Он все отдаст за честь земли родной,
И дух его мужает год от года.
«Сражаться до ножа!»— таков девиз народа.

87

Кто хочет знать Испанию, прочти,
Как воевать Испания умела.
Все, что способна месть изобрести,
Все, в чем война так страшно преуспела,—

И пож и сабля — все годится в дело!
Так за сестер и жен испанцы мстят,
Так вражий натиск принимают смело,
Так чужеземных потчуют солдат
И не сочтут за труд отправить сотню в ад.

88

Ты видишь трупы женщин и детей
И дым над городами и полями?
Кинжала нет — дубиной, ломом бей,
Пора кончать с незваными гостями!
На свалке место им, в помойной яме!
Псам кинуть труп — и то велик почет!
Засыпь поля их смрадными костями
И тлеть оставь — пусть внук по ним прочтет,
Как защищал свое достоинство народ!

89

Еще не пробил час, но вновь войска
Идут сквозь пиренейские проходы.
Конца никто не ведает пока,
Но ждут порабощенные народы,
Добьется ли Испания свободы,
Чтобы за ней воспряло больше стран,
Чем раздавил Писарро. Мчатся годы!
Потомкам Кито мир в довольстве дан,
А над Испанией свирепствует тиран.

90

Ни Сарагоссы кровь, ни Альбуера,
Ни горы жертв, ни плач твоих сирот,
Ни мужество, какому нет примера, —
Ничто испанский не спасло народ.
Доколе червю грызть оливы плод?
Когда забудут бранный труд герои?
Когда последний страшный день уйдет
И на земле, где галл погряз в разбое,
Привьется Дерево Свободы, как родное?

175

А ты, мой друг! — но тщетно сердца стон
 Врывается в строфу повествованья.
 Когда б ты был мечом врага сражен,
 Гордясь тобой, сдержал бы друг рыданья.
 Но пасть бесславно, жертвой врачеванья,
 Оставить память лишь в груди певца,
 Привыкшей к одиночеству страданья,
 Меж тем как Слава труса чтит, глупца, —
 Нет, ты не заслужил подобного конца!

Всех раньше узнан, больше всех любим,
 Сберегшему так мало дорогого
 Сумел ты стать навеки дорогим.
 «Не жди его!» — мне явь твердит сурово.
 Зато во сне ты мой! Но утром снова
 Душа к одру печальному летит,
 О прошлом плачет и уйти готова
 В тот мир, что тень скитальца приютит,
 Где друг оплаканный о плачущем грустит.

Вот странствий Чайльда первая страница.
 Кто пожелает больше знать о нем,
 Пусть следовать за мною потрудится,
 Пока есть рифмы в словаре моем.
 Бранить меня успеете потом.
 Ты, критик мой, сдержки порыв досады!
 Прочти, что видел он в краю другом,
 Там, где заморских варваров отряды
 Бесстыдно грабили наследие Эллады.

Песнь вторая

1

Пою тебя, небесная, хоть к нам,
Поэтам бедным, ты неблагоклонна.
Здесь был, богиня мудрости, твой храм.
Над Грецией прошли врагов знамена,
Огонь и сталь ее терзали лоно,
Бесчестило владычество людей,
Не знавших милосердья и закона
И равнодушных к красоте твоей.
Но жив твой вечный дух средь пепла и камней.

2

Увы, Афина, нет твоей державы!
Как в шуме жизни промелькнувший сон,
Они ушли, мужи высокой славы,
Те первые, кому среди племен
Венец бессмертья миром присужден.
Где? Где они? За партой учат дети
Историю ушедших в тьму времен,
И это все! И на руины эти
Лишь ответ падает сквозь даль тысячелетий.

3

О сын Востока, встань! Перед тобой
 Племен гробница — не тревожь их праха.
 Сменяются и боги чередой,
 Всем нить прядет таинственная Пряха.
 Был Зевс, пришло владычество Аллаха,
 И до тех пор сменяться вновь богам,
 Покуда смертный, отрешась от страха,
 Не перестанет жечь им фимиам
 И строить на песке пустой надежды храм.

4

Он, червь земной, чего он ищет в небе?
 Довольно бы того, что он живет.
 Но так он ценит свой случайный жребий,
 Что силится загадывать вперед.
 Готов из гроба кинуться в полет
 Куда угодно, только б жить подоле,
 Блаженство ль там или страданье ждет.
 Взвесь этот прах! Тебе он скажет боле,
 Чем все, что нам твердят о той, загробной доле.

5

Вот холм, где вождь усопший погребен,
 Вдали от бурь, от песен и сражений,—
 Он пал под плач поверженных племен.
 А ныне что? Где слезы сожалений?
 Нет часовых над ложем гордой тени,
 Меж воинов не встать полубогам.
 Вот череп — что ж? Для прошлых поколений
 Не в нем ли был земного бога храм?
 А ныне даже червь не приютится там.

6

В пробоинах и свод его и стены,
 Пустынны залы, выщерблен портал.
 А был Тщеславья в нем чертог надменный,
 Был Мысли храм, Души дворец блистал,
 Бурлил Страстей неудержимый шквал,

Но все пожрал распада хаос дикий,
Пусты глазницы, желт немой оскал.
Какой святой, софист, мудрец великий
Вернет былую жизнь в ее сосуд безликий?

7

«Мы знаем только то,— сказал Сократ,—
Что ничего не знаем». И, как дети,
Пред Неизбежным смертные дрожат.
У каждого своя печаль на свете,
И слабый мнит, что Зло нам ставит сети.
Нет, суть в тебе! Твоих усилий плод —
Судьба твоя. Покой обрящешь в Лете.
Там новый пир пресыщенных не ждет.
Там, в лоне тишины, страстей неведом гнет.

8

Но если есть тот грустный мир теней,
Что нам мужи святые описали,
Хотя б его софист иль саддукей
В безумье знаний ложных отрицали,—
Как было б чудно в элизийской дали,
Где место всем, кто освещал наш путь,
Услышать тех, кого мы не слышали,
На тех, кого не видели, взглянуть,
К познавшим Истину восторженно примкнуть.

9

Ты, с кем ушли Любовь и Счастье в землю,
Мой жребий — жить, любить, но для чего?
Мы так срослись, еще твой голос внемлю,
И ты жива для сердца моего.
Ужель твое недвижно и мертво!
Живу одной надеждой сокровенной,
Что снова там услышу зов его.
Так будь что будет! В этой жизни брэнной
Мое блаженство — знать, что ты в стране блаженной.

Я сяду здесь, меж рухнувших колонн,
 На белый цоколь. Здесь, о Вседержитель,
 Сатурна сын, здесь был твой гордый трон.
 Но из обломков праздный посетитель
 Не воссоздаст в уме твою обитель.
 Никто развалин вздохом не почитит.
 И, здешних мест нелюбопытный житель,
 На камни мусульманин не глядит,
 А проходящий грек поет или свистит.

Но кто же, кто к святилищу Афины
 Последним руку жадную простер?
 Кто расхищал бесценные руины,
 Как самый злой и самый низкий вор?
 Пусть Англия, стыдясь, опустит взор!
 Свободных в прошлом чтут сыны Свободы,
 Но не почтил их сын шотландских гор:
 Он, переплыв бесчувственные воды,
 В усердьё варварском ломал колонны, своды.

Что пощадили время, турок, гот,
 То нагло взято пиктом современным.
 Нет, холоднее скал английских тот,
 Кто подошел с киркою к этим стенам,
 Кто не проникся трепетом священным,
 Увидев прах великой старины.
 О, как страдали скованные пленом,
 Деля богини скорбь, ее сыны,
 Лишь видеть и молчать судьбой обречены!

Ужель признают, не краснея, бритты,
 Что Альбион был рад слезам Афин,
 Что Грецию, молившую защиты,
 Разграбил полумира властелин!

Страна свободы, страж морских пучин,
Не ты ль слыла заступницей Эллады!
И твой слуга, твой недостойный сын
Пришел, не зная к слабому пощады,
Отнять последнее сокровище Паллады!

14

Но ты, богиня, где же ты, чей взгляд
Пугал когда-то гота и вандала?
Где ты, Ахилл, чья тень, осилив ад
И вырвавшись из вечного провала,
В глаза врагу грозою заблестала?
Ужель вождя не выпустил Плутон,
Чтоб мощь его пиратов обудала?
Нет, праздный дух, бродил над Стиксом он
И не прогнал воров, ломавших Парфенон.

15

Глух тот, кто прах священный не почитит
Слезам горя, словно прах любимой.
Слеп тот, кто меж обломков не грустит
О красоте, увы, невозвратимой!
О, если б гордо возгласить могли мы,
Что бережет святыни Альбион,
Что алтари его рукой хранимы.
Нет, все поправ, увозит силой он
Богов и зябких нимф под зимний небосклон.

16

Но где ж Гарольд остался? Не пора ли
Продолжить с ним его бесцельный путь?
Его и здесь друзья не провожали,
Не кинулась любимая на грудь,
Чтоб знал беглец, о ком ему вздохнуть.
Хоть красоты иноплеменной гений
И мог порой в нем сердце всколыхнуть,
Он скорбный край войны и преступлений
Покинул холодно, без слез, без сожалений.

Кто бороздил простор соленых вод,
 Знаком с великолепною картиной:
 Фрегат нарядный весело плывет,
 Раскинув снасти тонкой паутиной.
 Играет ветер в синеве пустынной,
 Вскипают шумно волны за кормой.
 Уходит берег. Стаей лебединой
 Вдали белеет парусный конвой.
 И солнца свет, и блеск пучины голубой.

Корабль подобен крепости плавучей.
 Под сетью здесь — воинственный мирок.
 Готовы пушки — ведь неверен случай!
 Осиплый голос, боцмана свисток,
 И вслед за этим дружный топот ног,
 Кренятся мачты и скрипят канаты.
 А вот гардемарин, еще щенок,
 Но в деле — хват и, как моряк завзятый,
 Бранится иль свистит, ведя свой дом крылатый.

Корабль надраен, как велит устав.
 Вот лейтенант обходит борт сурово,
 Лишь капитанский мостик миновав.
 Где капитан — не место для другого.
 Он лишнего ни с кем не молвит слова
 И с экипажем держит строгий тон.
 Ведь дисциплина — армии основа.
 Для славы и победы свой закон
 Британцы рады чтить, хотя им в тягость он.

Вей, ветер, вей, наш парус надувая,
 День меркнет, скоро солнце уж зайдет.
 Так растянулась за день наша стая,
 Хоть в дрейф ложись, пока не рассветет.
 На флагмане уже спускают грот.

И, верно, остановимся мы вскоре,
А ведь ушли б на много миль вперед!
Вода подобна зеркалу. О, горе —
Ленивой свиты ждать, когда такое море!

21

Встает луна. Какая ночь, мой бог!
Средь волн дрожит дорожка золотая.
В такую ночь один ваш страстный вздох,
И верит вам красотка молодая.
Неси ж на берег нас, судьба благая!
Но Арион нашелся на борту
И так хватил по струнам, запевая,
Так лихо грянул в ночь и в темноту,
Что все пустились в пляс, как с милыми в порту.

22

Корабль идет меж берегов высоких.
Две части света смотрят с двух сторон.
Там пышный край красавиц чернооких,
Здесь — черного Марокко нищий склон.
Испанский берег мягко освещен,
Видны холмы, под ними лес зубчатый,
А тот — гигантской тенью в небосклон
Вонзил свои береговые скаты,
Не озаренные косым лучом Гекаты.

23

Ночь. Море спит. О, как в подобный час
Мы ждем любви, как верим, что любили,
Что друг далекий ждет и любит нас,
Хоть друга нет, хоть все о нас забыли.
Нет, лучше сон в безвременной могиле,
Чем юность без любимой, без друзей!
А если сердце мы похоронили,
Тогда на что и жизнь, что толку в ней?
Кто может вернуть блаженство детских дней!

Глядишь за борт, следишь, как в глуби водной
 Дианы рог мерцающий плывет,
 И сны забыты гордости бесплодной,
 И в памяти встает за годом год,
 И сердце в каждом что-нибудь найдет,
 Что было жизни для тебя дороже,
 И ты грустишь, и боль в душе растет,
 Глухая боль... Что тягостней, о боже,
 Чем годы вспоминать, когда ты был моложе!

Лежать у волн, сидеть на крутизне,
 Уйти в безбрежность, в дикие просторы,
 Где жизнь вольна в беспечной тишине,
 Куда ничьи не проникали взоры;
 По козьим тропкам забираться в горы,
 Где грозен шум летящих в бездну вод,
 Подслушивать стихий мятежных споры,—
 Нет, одиноким быть не может тот,
 Чей дух с природою один язык найдет.

Зато в толпе, в веселье света мнимом,
 В тревогах, смутах, шуме суеты,
 Идти сквозь жизнь усталым пилигримом
 Среди богатств и жалкой нищеты,
 Где нелюбим и где не любишь ты,
 Где многие клянутся в дружбе ныне
 И льстят тебе, хоть, право, их черты
 Не омрачатся при твоей кончине —
 Вот одипочество, вот жизнь в глухой пустыне!

Насколько же счастливее монах,
 Глядящий из обители Афона
 На пик его в прозрачных небесах,
 На зелень рощ, на зыбь морского лона,

На все, чем, озираясь умиленно,
Любуется усталый пилигрим,
Не в силах от чужого небосклона
Уйти к холодным берегам родным,
Где ненавидит всех и всеми нелюбим.

28

Но между тем мы долгий путь прошли,
И зыбкий след наш поглотили воды,
Мы шквал, и шторм, и штиль перенесли,
И солнечные дни, и непогоды —
Все, что несут удачи и невзгоды
Жильцам морских крылатых крепостей,
Невольникам изменчивой природы, —
Все позади, и вот, среди зыбей —
Ура! Ура — земля! Ну, други, веселей!

29

Правь к островам Калипсо, мореход,
Они зовут усталого к покою,
Как братья встав среди бескрайних вод.
И нимфа слез уже не льет рекою,
Простив обиду смертному герою,
Что предпочел возлюбленной жену.
А вон скала, где дружеской рукою
Столкнул питомца Ментор в глубину,
Оставив о двоих рыдать ее одну.

30

Но что же царство нимф — забытый сон?
Нет, не грусти, мой юный друг, вздыхая.
Опасный трон — в руках у смертных жен,
И если бы, о Флоренс дорогая,
Могла любить душа, для чувств глухая,
Сама судьба потворствовала б нам.
Но, враг цепей, все узы отвергая,
Я жертв пустых не принесу в твой храм
И боль напрасную тебе узнать не дам.

Гарольд считал, что взор прекрасных глаз
 В нем вызывает только восхищенье,
 И, потеряв его уже не раз,
 Любовь теперь держалась в отдаленье,
 Поняв в своем недавнем пораженье,
 Что сердце Чайльда для нее мертво,
 Что, презирая чувства ослепленье,
 Он у любви не просит ничего,
 И ей уже не быть царицей для него.

Зато прекрасной Флоренс было странно:
 Как тот, о ком шептали здесь и там,
 Что он готов влюбляться непрестанно,
 Так равнодушен был к ее глазам.
 Да, взор ее, к досаде многих дам,
 Сражал мужчин, целил и ранил метко,
 А он — юнец! — мальчишка по годам,
 И не просил того, за что кокетка
 Нередко хмурится, но гневается редко.

Она не знала, что и Чайльд любил,
 Что в равнодушье он искал защиты,
 Что подавлял он чувств невольный пыл,
 И гордостью порывы их убиты,
 Что не было опасней волокиты,
 И в сеть соблазна многих он завлек,
 Но все проказы ныне им забыты,
 И хоть бы страсть в нем синий взор зажег,
 С толпой вздыхателей смешаться он не мог.

Кто лишь вздыхает — это всем известно, —
 Не знает женщин, их сердечных дел.
 Ты побежден, и ей неинтересно,
 Вздыхай, моли, но соблюдай предел.
 Иначе лишь презренье твой удел.

Из кожи лезь — у вас не будет лада!
К чему моления? Будь остер и смел,
Умей смешить, подчас кольни, где надо,
При случае польсти, и страсть — твоя паграда!

35

Прием из жизни взятый, не из книг!
Но многое теряет без возврата,
Кто овладел им. Цели ты достиг.
Ты насладился, но чрезмерна плата:
Старенье сердца, лучших сил утрата,
И страсть сыта, но юность сожжена,
Ты мелок стал, тебе ничто не свято,
Любовь тебе давно уж не нужна,
И, все мечты презрев, душа твоя больна.

36

Но в путь! Иной торопит нас предмет.
Немало стран пройти мы обещали,
И не игре Воображенья вслед,
А волею задумчивой печали.
Мы стран таких и в сказках не встречали,
И даже утописты наших дней
Такой картиной нас не обольщали, —
Те чудачи, что исправлять людей
Хотят при помощи возвышенных идей.

37

Природа-мать, тебе подобных нет,
Ты жизнь творишь, ты создаешь светила.
Я привыкал к тебе на утре лет,
Меня, как сына, грудью ты вскормила
И не отвергла, пусть не полюбила.
Ты мне роднее в дикости своей,
Где власть людей твой лик не осквернила.
Люблю твою улыбку с детских дней,
Люблю спокойствие — но гнев еще сильней.

Среди мудрейших в главы хрестоматий,
 Албания, вошел твой Искандер.
 Героя тезка — бич турецких ратей —
 Был тоже рыцарь многим не в пример.
 Прекрасна ты, страна хребтов, пещер,
 Страна людей, как скалы, непокорных,
 Где крест поник, унижен калойер
 И полумесяц на дорогах горных
 Горит над лаврами средь кипарисов черных.

Гарольд увидел скудный остров тот,
 Где Пенелопа, глядя вдаль, грустила.
 Скалу влюбленных над пучиной вод,
 Где скорбной Сафо влажная могила.
 Дочь Лесбоса! Иль строф бессмертных сила
 От смерти не могла тебя спасти?
 Не ты ль сама бессмертие дарила!
 У лиры есть к бессмертию пути,
 И неба лучшего нам, смертным, не найти.

То было тихим вечером осенним,
 Когда Левкады Чайльд узнал вдали,
 Но мимо плыл корабль, и с сожаленьем
 На мыс глядел он. Чайльда не влекли
 Места, где битвы грозные прошли,
 Ни Трафальгар, ни Аксиум кровавый.
 Рожденный в тихом уголке земли,
 Он презирал, пустой не бредя славой,
 Солдат-наемников и даже вид их бравый.

Но вот блеснул звезды вечерней свет,
 И, весь отдавшись странному волненью,
 Гарольд послал прощальный свой привет
 Скале любви с ее гигантской тенью.

Фрегат скользил, как бы охвачен ленью,
И Чайльд глядел задумчиво назад,
Волны возвратной следуя движенью,
Настроясь вновь на свой привычный лад.
Но лоб его светлел, и прояснялся взгляд.

42

Над скалами Албании суровой
Восходит день. Вот Пинд из темных туч
В тюрбане белом, черный и лиловый,
Возник вдали. На склоне мшистых круч
Селенья бледный освещает луч.
Там лютый барс в расселинах таятся,
Орел парит, свободен и могуч.
Там люди вольны, словно зверь и птица,
И буря, Новый год встречая, веселится.

43

И вот где Чайльд один! Пред ним края
Для христианских языков чужие.
Любуясь ими, но и страх тая,
Иной минует скалы их крутые.
Однако Чайльд изведал все стихии,
Не ищет гроз, но встретить их готов,
Желаний чужд, беспечен, и впервые
Дыша свободой диких берегов,
И зной он рад терпеть и холод их снегов.

44

Вот Красный крест, один лишь Крест всего,
Посмешище приверженцев Ислама,
Униженный, как те, кто чтит его.
О Суеверье, как же ты упрямо!
Христос, Аллах ли, Будда или Брама,
Бездушный идол, бог — где правота?
Но суть одна, когда посмотришь прямо:
Церквам — доход, народу — нищета!
Где ж веры золото, где ложь и суета?

А вот залив, где отдан был весь мир
 За женщину, где всю армаду Рима,
 Царей азийских бросил триумвир.
 Был враг силен, любовь непобедима.
 Но лишь руины смотрят нелюдимо,
 Где продолжатель Цезаря царил.
 О деспотизм, ты правишь нетерпимо!
 Но разве бог нам землю подарил,
 Чтоб мир лишь ставкою в игре тиранов был?

От этих стен, от Города Побед
 Чайльд едет в иллирийские долины.
 В истории названий этих нет,
 Там славные не встретятся руины,
 Но и роскошной Аттики картины,
 И дол Тампейский, и тебя, Парнас,
 Затмил бы многим этот край пустынный,
 Не будь вы милой классикой для нас.
 Идешь — любишься, — и все чарует глаз!

Минуя Пинд, и воды Ахерузы,
 И главный город, он туда идет,
 Где Произвол надел на Вольность узы,
 Где лютый вождь Албанию гнетет,
 Поработив запуганный народ.
 Где лишь порой, неукротимо дики,
 Отряды горцев с каменных высот
 Свергаются, грозя дворцовой клике,
 И только золото спасает честь владыки.

О Зитца! Благодатный монастырь!
 Какая тень! Как все ласкает взоры!
 Куда ни смотришь: вниз иль в эту ширь —
 Как лучезарно-радужны просторы!

Все гармонично: небо, лес и горы,
Нависших скал седые горбыли,
Ручьев, по склонам вьющихся, узоры,
Да водопада мерный шум вдали,
И синевы потоп от неба до земли.

49

Когда б уступы мрачных гор кругом
Не высились громадою надменной,
Мохнатый холм, увенчанный леском,
Казался бы величественной сценой.
В обители укрывшись белостенной,
От суеты бытийственной храним,
Живет монах, анахорет смиренный,
И здесь невольно медлит пилигрим,
Внимая голосам природы, как родным.

50

Он забывает знойный пыльный путь,
Его листва объемлет вековая,
А ветерок живет и нежит грудь
И в сердце льет благоуханье рая.
Внизу осталась толчея людская,
Не может зной проникнуть в эту сень,
До дурноты, до злости раздражая.
Лежишь и смотришь, услаждая лень,
Как день за утром встал, как вечер сменит день.

51

Кругом вулканов мертвая гряда,
За ними Альп химерских седловина,
А там потоки, хижины, стада —
Внизу живет и движется долина.
Там сосны, тут стрельчатая раина,
Чернеет легендарный Ахерон,
Река теней — волшебная картина!
И это входы в Тартар? Нет, Плутон,
Пусть рай закроется, меня не манит он!

Не портят вида разные строенья.
 Янину скрыла ближних гор стена,
 Лишь там и здесь убогие селенья,
 Кой-где маячит хижина одна,
 А вон поляна горная видна,
 Пасутся козы, пастушок на круче.
 Простых забот вся жизнь его полна:
 Мечтает, спит, глядит, откуда тучи,
 Или в пещере ждет, чтоб минул дождь ревучий.

Додона, где твой лес, твой вещий ключ,
 Оракул твой и дол благословенный,
 Слыхавший Зевса голос из-за туч?
 Где храм его, для Греции священный?
 Их нет. Так нам ли, коль падут их стены,
 Роптать на то, что смертным Смерть грозит!
 Молчи, глупец! И мы, как боги, тленны.
 Пусть долговечней дуб или гранит,
 Всё — троны, языки, народы — Рок сразит.

Эпир прошли мы. Насмотревшись гор,
 Любуешься долинами устало.
 В такой нарядный, праздничный убор
 Нигде весна земли не одевала.
 Но даже здесь красот смиренных мало.
 Вот шумно льется речка с крутизны,
 Над нею лес колеблет опахала,
 И тени пляшут в ней, раздроблены,
 Иль тихо спят в лучах торжественной луны.

За Томерит зашло светило дня,
 Лаос несется с бешеным напором,
 Ложится тьма, последний луч тесня,
 И, берегом сходя по крутогорам,
 Чайльд видит вдруг: подобно метеорам,

Сверкают минареты за стеной.
То Тепелена, людная, как форум,
И говор, шум прислуги крепостной,
И звон оружия доносит бриз ночной.

56

Минуя башню, где гарем священный,
Из-под массивной арки у ворот
Он видит дом владыки Тепелены
И перед ним толпящийся народ.
Тиран в безумной роскоши живет:
Снаружи крепость, а внутри палаты.
И во дворе — разноплеменный сброд:
Рабы и гости, евнухи, солдаты,
И даже, среди них, «сантоны» — те, кто святы.

57

Вдоль стен по кругу, сотни три коней,
На каждом, под седлом, чепрак узорный.
На галереях множество людей,
И то ли вестовой или дозорный,
Какой-нибудь татарин в шапке черной
Вдруг на коня — и скачет из ворот.
Смешались турок, грек, албанец горный,
Приезжие с неведомых широт,
А барабан меж тем ночную зорю бьет.

58

Вот шкипетар, он в юбке, дикий взор,
Его ружье с насечкою богатой,
Чалма, на платье золотой узор.
Вот македонец — красный шарф трикраты
Вкруг пояса обмотан. Вот в косматой
Папахе, с тяжкой саблею, дели,
Грек, черный раб иль турок бородатый,—
Он соплеменник самого Али.
Он не ответит вам. Он—власть, он—соль земли.

59

Те бродят, те полулежат, как гости,
Следя за пестрой сменою картин.
Там спорят, курят, там играют в кости,
Тут молится Ислама важный сын.

Албанец горд, идет, как властелин.
Ораторствует грек, выдавший много.
Чу! С минарета кличет муэдзин,
Напоминая правоверным строго:
«Молитесь, бог один! Нет бога, кроме бога!»

60

Как раз подходит рамазан, их пост.
День летний бесконечен, но терпенье!
Чуть смеркнется, с явленьем первых звезд,
Берет Веселье в руки управленье.
Еда — навалом, блюда — объеденье!
Кто с галереи в залу не уйдет?
Теперь из комнат крики, хохот, пенье,
Снуют рабы и слуги взад-вперед,
И каждый что-нибудь приносит иль берет.

61

Но женщин нет: пиры — мужское дело.
А ей — гарем, надзор за нею строг.
Пусть одному принадлежит всецело,
Для клетки создал мусульманку бог!
Едва ступить ей можно за порог.
Ласкает муж, да год за годом дети,
И вот вам счастья женского залог!
Рожать, кормить — что лучше есть на свете?
А низменных страстей им незнакомы сети.

62

В обширной зале, где фонтан звенит,
Где стены белым мрамором покрыты,
Где все к усладам чувственным манит,
Живет Али, разбойник именитый.
Нет от его жестокости защиты,
Но старчески почтенные черты
Так дружелюбно-мягки, так открыты,
Полны такой сердечной доброты,
Что черных дел за ним не заподозишь ты.

Кому, когда седая борода
 Мешала быть, как юноша, влюбленным?
 Мы любим, невзирая на года,
 Гафиз согласен в том с Анакреоном.
 Но на лице, годами заклеянным,
 Как тигра коготь, оставляет шрам
 Преступность, равнодушная к законам,
 Жестокость, равнодушная к слезам.
 Кто занял трон убийц — убийством правит сам.

Однако странник здесь найдет покой,
 Тут все ему в диковинку, все ново,
 Он отдохнет охотно день-другой.
 Но роскошь мусульманского алькова,
 Блеск, мишура — все опостылет снова,
 Все было б лучше, будь оно скромней.
 И Мир бежит от зрелища такого,
 И Наслажденье было бы полней
 Без этой роскоши, без царственных затей.

В суровых добродетелях воспитан,
 Албанец твердо свой закон блюдет.
 Он горд и храбр, от пули не бежит он,
 Без жалоб трудный выдержит поход.
 Он — как гранит его родных высот.
 Храня к отчизне преданность сыновью,
 Своих друзей в беде не предаст
 И, движим честью, мщеньем иль любовью,
 Берется за кинжал, чтоб смыть обиду кровью.

Среди албанцев прожил Чайльд немало.
 Он видел их в триумфе бранных дней,
 Видал и в час, когда он, жертва шквала,
 Спасался от бушующих зыбей.

Душою черствый в час беды черствей,
Но их сердца для страждущих открыты —
Простые люди чтут своих гостей,
И лишь у вас, утонченные бритты,
Так часто не найдешь ни крова, ни защиты.

67

Случилось так, что ветром и волной
Корабль Гарольда к Сулии помчало,
Чернели рифы, и ревел прибой,
Но капитан и не искал причала.
Была гроза, и море бушевало,
Однако люди больше волн и скал
Боялись тут засады и кинжала,
Который встарь без промаха карал,
Когда незваный гость был турок или галл.

68

Но все ж подплыть отважились, и что же —
Их сулиоты в бухту провели
(Гостеприимней шаркуна-вельможи
Рыбак иль скромный труженик земли),
Очаг в хибарке и светец зажгли,
Развесили одежды их сырые,
Радужно угостили, чем могли, —
Не так, как филантропы записные,
Но как велят сердца бесхитростно-простые.

69

Когда же дале Чайльд решил идти,
Устав от гор, от дикой их природы,
Ему сказали, что на полпути
Бандитской шайкой заняты проходы,
Там села жгут, там гибнут пешеходы!
Чтоб лесом Акарнании скорей
Пройти туда, где Ахелоя воды
Текут близ этолийских рубежей,
Он взял в проводники испытанных мужей.

Где Утракийский круглый спит залив
 Меж темных рощ, прильнув к холмам зеленым,
 И не бушуют волны, отступив,
 Но в сипий день сверкают синим лоном
 Иль зыблются под звездным небосклоном,
 Где западные ветры шелестят,—
 Гарольд казался тихо умиленным,
 Там был он принят, как любимый брат,
 И радовался дню, и почти был он рад.

На берегу огни со всех сторон,
 Гостей обходят чаши круговые.
 И кажется, чудесный видит соп,
 Тому, кто видит это все впервые.
 Еще краспеют небеса ночные,
 Но игры начинать уже пора.
 И паликары, сабли сняв кривые
 И за руки берясь, вокруг костра
 Заводят хоровод и пляшут до утра.

Поодаль стоя, Чайльд без раздраженья
 Следил за веселящейся толпой.
 Не оскорбляли вкуса их движенья,
 И не было вульгарности тупой
 Во всем, что видел он перед собой.
 На смуглых лицах пламя грозно рдело,
 Спадали космы черною волной,
 Глаза пылали сумрачно и смело,
 И все, что было здесь, кричало, выло, пело.

Тамбурджи, тамбурджи! Ты будишь страну,
 Ты, радуя храбрых, пророчишь войну,
 И с гор киммериец на зов твой идет,
 Иллирии сын и смельчак сулиот.

Косматая шапка, рубаха как снег.
 Кто может сдержать сулиота набег?
 Он, волку и грифу оставив стада,
 Свергается в дол, как с утеса вода.

Ужель киммериец врага пощадит?
Он даже друзьям не прощает обид.
И месть его пуле, как честь, дорога —
Нет цели прекрасней, чем сердце врага!

А кто македонца осилит в бою?
На саблю он сменит охоту свою.
Вот жаркая кровь задымилась на ней.
И шарф его красный от крови красней.

Паргийским пиратам богатый улов:
Французам дорога на рынок рабов!
Галеры хозяев своих подождут.
Добычу в лесную пещеру ведут.

Нам золото, роскошь и блеск ни к чему —
Что трус покупает, я саблей возьму.
Ей любо красавиц чужих отнимать,
Пусть горько рыдает о дочери мать.

Мне ласка красавицы слаще вина,
Кипящую кровь успокоит она
И в песне прославит мой подвиг и бой,
Где пал ее брат иль отец предо мной.

Ты помнишь Превезу? О, сладостный миг!
Бегущих мольбы, настигающих крик!
Мы предали город огню и мечу,—
Безвинным пощада, но смерть богачу!

Кто служит визирю, тот знает свой путь.
И жалость и страх, шкипетар, позабудь!
С тех пор как Пророк удалился с земли,
Вождей не бывало подобных Али.

Мухтар, его сын,— у Дуная-реки.
Там гонят гяуров его бунчуки,
Их волосы желты, а лица бледны.
Из русских второй не вернется с войны.

Так саблю вождя обнажай, селиктар!
Тамбурджи! Твой зов — это кровь и пожар.
Клянемся горам, покидая свой дом:
Погибнем в бою иль с победой придем.

Моя Эллада, красоты гробница!
 Бессмертная и в гибели своей,
 Великая в паденье! Чья десница
 Сплотит твоих сынов и дочерей?
 Где мощь и непокорство прошлых дней,
 Когда в неравный бой за Фермопилы
 Шла без надежды горсть богатырей?
 И кто же вновь твои разбудит силы
 И воззовет тебя, Эллада, из могилы?

Когда за вольность бился Фразибул,
 Могли ль поверить гордые Афины,
 Что покорит их некогда Стамбул
 И ввергнет в скорбь цветущие долины.
 И кто ж теперь Эллады властелины?
 Не тридцать их — кто хочет, тот и князь.
 И грек молчит, и рабы гнутся спины,
 И, под плетью турецкими смирясь,
 Простерлась Греция, затоптанная в грязь.

Лишь красоте она не изменила,
 И странный блеск в глазах таит народ,
 Как будто в нем еще былая сила
 Неукротимой вольности живет.
 Увы! Он верит, что не вечен гнет,
 Но веру он питает басней вздорной,
 Что помощь иноземная придет,
 И раздробит ярем его позорный,
 И вырвет слово «грек» из книги рабства черной.

Рабы, рабы! Иль вами позабыт
 Закон, известный каждому народу?
 Вас не спасут ни галл, ни московит,
 Не ради вас готовят их к походу,
 Тиран падет, но лишь другим в угоду.
 О Греция! Восстань же на борьбу!
 Раб должен сам добыть себе свободу!
 Ты цепи обновишь, но не судьбу.
 Иль кровью смыть позор, иль быть рабом рабу!

Когда-то город силой ятаганов
 Был у гяура отнят. Пусть опять
 Гяур османа вытеснит, воспрянув,
 И будет франк в серале пировать,
 Иль ваххабит, чей предок, словно тать,
 Разграбил усыпальницу Пророка,
 Пойдет пятою Запад попить,—
 К тебе Свобода не преклонит ока,
 И снова будет раб нести ярмо без срока.

Но как-никак перед постом их всех
 К веселью тянет. Нужно торопиться:
 Ведь скоро всем, за первородный грех,
 Весь день не есть, потом всю ночь молиться.
 И вот, поскольку ждет их власяница,
 Дней пять иль шесть веселью нет преград.
 Чем хочешь, можешь тайно насладиться,
 Не то кидайся в карнавал чад,
 Любое надевай — и марш на маскарад!

Веселью, как безудержной стихии,
 Стамбул себя всецело отдает.
 Хотя тюрбаны чванствуют в Софии,
 Хотя без храма греческий народ
 (Опять о том же стих мой слезы льет!),
 Дары Свободы слава в общем хоре,
 К веселью звал Афины их рапсод,
 Но лишь Притворство радуется в горе,
 И все же праздник бьет весельем на Босфоре.

Беспечной, буйной суматохе в лад
 Звучит, меняясь, хор без перерыва.
 А там, вдали, то весла зашумят,
 То жалуются волны сиротливо.
 Но вдруг промчался ветер от залива,
 И кажется, покинув небосвод,
 Владычица прилива и отлива,
 Чтоб веселее праздновал народ,
 Сама, удвоив свет, сияет в глуби вод.

Качает лодки чуткая волна,
 Порхают в пляске дочери Востока.
 Конечно, молодежи не до сна,
 И то рука, то пламенное око
 Зовут к любви, и страсть, не выждав срока,
 Касаньем робким сердце выдает.
 Любовь, Любовь! Добра ты иль жестока,
 Пускай там циник что угодно врет,—
 И годы мук не жаль за дни твоих щедрот!

Но неужели в вихре маскарада
 Нет никого, кто вспомнил бы о том,
 Что умерло с тобой, моя Эллада;
 Кто слышит даже в рокоте морском
 Ответ на боль, на слезы о былом;
 Кто презирает этот блеск нахальный
 И шум толпы, ликующей кругом;
 Кто в этот час, для Греции печальный,
 Сменил бы свой наряд на саван погребальный.

Нет, Греция, тот разве патриот,
 Кто, болтовнею совесть успокоя,
 Тирану льстит, покорно шею гнет
 И с видом оскорбленного героя
 Витийствует и прячется от боя.
 И это те, чьих дедов в оны дни
 Страшился перс и трепетала Троя!
 Ты все им дать сумела, но взгляни:
 Не любят матери истерзанной они.

Когда сыны Лакедемона встанут
 И возродится мужество Афин,
 Когда сердца их правнуков воспрянут
 И жены вновь начнут рождать мужчин,
 Ты лишь тогда воскреснешь из руин.

Тысячелетья длится рост державы,
Ее низвергнуть — нужен час один,
И не вернут ей отошедшей славы
Ни дальновидный ум, ни злата звон лукавый.

85

Но и в оковах ты кумир веков,
К тебе — сердец возвышенных дороги,
Страна людьми низвернутых богов,
Страна людей, прекрасных, точно боги.
Долины, рощи, гор твоих отроги
Хранят твой дух, твой гений, твой размах.
Разбиты храмы, рушатся чертоги,
Развеялся твоих героев прах,
Но слава дел твоих еще гремит в веках.

86

И ныне среди мраморных руин,
Пред колоннадой, временем разбитой,
Где встарь сиял воздушный храм Афин,
Венчая холм, в столетьях знаменитый,
Иль над могилой война забытой,
Среди непотревоженной травы,
Лишь пилигрим глядит на эти плиты,
Отшельник, чуждый света и молвы,
И, сумрачно вздохнув, как я, шепнет: увы!

87

Но ты жива, священная земля,
И так же Фебом пламенным согрета.
Оливы пышны, зелены поля,
Багряны лозы, светел мед Гимета.
Как прежде, в волнах воздуха и света
Жужжит и строит влажный сот пчела.
И небо чисто, и роскошно лето.
Пусть умер гений, вольность умерла,—
Природа вечная прекрасна и светла.

И ты ни в чем обыденной не стала,
 Страной чудес навек осталась ты.
 Во всем, что детский ум наш воспитало,
 Что волновало юные мечты,
 Ты нам являешь верные черты
 Не вымысла, но подлинной картины.
 Пусть Время рушит храмы иль мосты,
 Но море есть, и горы, и долины,
 Не дрогнул Марафон, хоть рухнули Афины.

Не землю ты, не солнце в небесах,
 Лишь господина, став рабой, сменила.
 В бескрылом рабстве гений твой исчах,
 И только Слава крылья сохранила.
 Меж этих гор — персидских орд могила.
 Эллады нет, но слово «Марафон»,
 С которым ты навек себя сроднила,
 Являет нам из глубины времен
 Теснину, лязг мечей, и кровь, и павших стон,

Мидян бегущих сломанные луки,
 И гибель перса, и позор его,
 Холмы, и дол, и берегов излуки,
 И победивших греков торжество.
 Но где трофей гнева твоего,
 Край, где Свободой Азия разбита?
 Ни росписей, ни статуй — ничего!
 Все вор унес, твоя земля разрыта,
 И топчут пыль коня турецкого копыта.

И все же ты, как в древности, чудесен,
 Ты каждой гранью прошлого велик,
 Заветный край героев, битв и песен,
 Где родился божественный язык,
 Что и в пределы Севера проник

И зазвучал, живой и юный снова,
В сердцах горячих, на страницах книг,
Искусства гордость, мудрости основа,
Богов и светлых муз возвышенное слово.

92

В разлуке мы тоскуем о родном,
О доме, где в слезах нас провожали,
Но одинокий здесь найдет свой дом,
И он вздохнет о родине едва ли.
Все в Греции сродни его печали,
Все родственней его родной земли.
И прах богов не отряхнет с сандалий,
Кто был в краю, где Дельфы встарь цвели,
Где бились перс и грек и рядом смерть нашли.

93

Он здесь для сердца обретет покой,
Один бродя в магической пустыне,
Но пусть не тронет хищною рукой
Уже полурасхищенной святыни
Народа, миром чтимого доныне,
Пускай достойно имя «бритт» несет
И, приобщась великой благостыни,
Вернется под родимый небосвод,
Где в Жизни и Любви прибежище найдет.

94

А ты, кто гнал тоску глухих ночей,
Безвестные нанизывая строки,
В шумихе современных рифмачей
Не прозвучит твой голос одинокий.
Пройдут судьбой отмеренные сроки,
Другие лавр увядший подберут,
Но что тебе хвалы или упреки
Без них, без тех, кто был твой высший суд,
Кого ты мог любить, кому вверял свой труд.

95

Их нет, как нет, красавица, тебя,
Любимая, кто всех мне заменила,
Кто все прощать умела мне, любя,
И клевете меня не уступила.

Что жизнь моя! Тебя взяла могила,
Ты страннику не кинешься на грудь,
Его удел — вздыхать о том, что было,
Чего судьбе вовеки не вернуть,—
Придет, войдет в свой дом и вновь—куда-нибудь.

96

Возлюбленная, любящая вечно,
Единственная! Скорбь не устает
К былому возвращаться бесконечно.
Твой образ даже время не сотрет.
Хоть все похитил дней круговорот —
Друзей, родных, тебя, кто мир вместила!
О, смерть! Как точен стрел ее полет!
Все, чем я жил, чудовищная сила
Внезапно унесла, навеки поглотила.

97

Так что ж, иль в омут чувственных утех,
К пирам вернуться, к светским карнавалам,
Где царствует притворный, лживый смех,
Где всюду фальшь — равно в большом и малом,
Где чувство, мысль глушат весельем шалым,—
Играть себе навязанную роль,
Чтоб дух усталый стал вдвойне усталым,
И, путь слезам готовя исподволь,
С презреньем деланным в улыбке прятать боль.

98

Что в старости быстрее всяких бед
Нам сеть морщин врезает в лоб надменный?
Сознание, что близких больше нет,
Что ты, как я, один во всей вселенной.
Склоняюсь пред Карающим, смиренный,—
Дворцы Надежды сожжены дотла.
Катитесь, дни, пустой, бесплодной сменой!
Все жизнь без сожаленья отняла,
И молодость моя, как старость, тяжела.

Песнь третья

Afin que cette application vous forçât de penser à autre chose; il n'y a en vérité de remède que celui-là et le temps.

Lettre du Roi de Prusse à D'Alembert, Sept. 7, 1776¹.

1

Дочь сердца моего, малютка Ада!
Похожа ль ты на мать? В последний раз,
Когда была мне суждена отрада
Улыбку видеть синих детских глаз,
Я отплывал — то был Надежды час.
И вновь плыву, но все переменялось.
Куда плыву я? Шторм встречает нас.
Сон обманул... И сердце не забилося,
Когда знакомых скал гряда в тумане скрылась.

2

Как славный конь, узнавший седока,
Играя, пляшут волны подо мною.
Бушуйте, вихри! Мчитесь, облака!
Я рад кипенью, грохоту и вою.
Пуускай дрожат натянутой струною
И гнутся мачты в космах парусов!
Покорный волнам, ветру и прибою,
Как смытый куст по прихоти валов,
Куда угодно плыть отныне я готов.

¹ Пусть это занятие заставит вас думать о другом; только оно, да еще время способны вас излечить.

Письмо короля Пруссии Даламберу, 7 сент. 1776 (франц.).

3

В дни молодости пел я об изгое,
 Бежавшем от себя же самого,
 И снова принимаюсь за бывшее,
 Ношу с собой героя своего,
 Как ветер тучи носит,— для чего?
 Следы минувших слез и размышлений
 Отливом стерты, прошлое мертво,
 И дни влекутся к той, к последней смене
 Глухой пустынею, где ни цветка, ни тени.

4

С уходом милой юности моей
 Каких-то струн в моей душе не стало,
 И лиры звук фальшивей и тусклеей.
 Но если и не петь мне, как бывало,
 Пою, чтоб лира сон мой разогнала,
 Себялюбивых чувств бесплодный сон.
 И я от мира требую так мало:
 Чтоб автора забвенью предал он,
 Хотя б его герой был всеми осужден.

5

Кто жизнь в ее деяниях постиг,
 Кем долгий срок в земной юдоли прожит,
 Кто ждать чудес и верить в них отвык,
 Чье сердце жажда славы не тревожит,
 И ни любовь, ни ненависть не гложет,
 Тому остался только мир теней,
 Где мысль уйти в страну забвенья может,
 Где ей, гонимой, легче и вольней
 Меж зыбких образов, любимых с давних дней.

6

Их удержать, облечь их в плоть живую,
 Чтоб тень была живее нас самих,
 Чтоб в слове жить, над смертью торжествуя,—
 Таким увидеть я хочу мой стих.

Пусть я ничтожен — на крылах твоих,
О мысль, твоим рождением ослепленный,
Но, вдруг прозрев незримо для других,
Лечу я ввысь, тобой освобожденный,
От снов бесчувственных для чувства пробужденный.

7

Безумству мысли надобна узда.
Я мрачен был, душой печаль владела.
Теперь не то! В минувшие года
Ни в чем не ставил сердцу я предела.
Фантазия виденьями кипела.
И ядом стал весны моей приход.
Теперь душа угасла, охладела.
Учусь терпеть неотвратимый гнет
И не корить судьбу, вкушая горький плод.

8

На этом кощим! Слишком много строф
О той поре, уже невозвратимой.
Из дальних странствий под родимый кров
Гарольд вернулся, раною томимый,
Хоть не смертельной, но неисцелимой.
Лишь Временем он сильно тронут был.
Уносит бег его неумолимый
Огонь души, избыток чувств и сил,
И, смотришь, пуст бокал, который пеной бил.

9

До срока чашу осушив свою
И ощущая только вкус полыни,
Он зачерпнул чистейшую струю,
Припав к земле, которой чтит святыни.
Он думал — ключ неистощим отныне,
Но вскоре снова стал грустней, мрачней
И понял вдруг в своем глубоком сплине,
Что нет ему спасенья от цепей,
Врезающихся в грудь все глубже, все больней.

В скитающих научившись хладнокровью,
 Давно считая, что страстями сыт,
 Что навсегда простился он с любовью,
 И равнодушие, как надежный щит,
 От горя и от радости хранит,
 Чайльд ищет вновь средь вихря светской моды,
 В толкучке зал, где суета кипит,
 Для мысли пищу, как в былые годы
 Под небом стран чужих, среди чудес природы.

Но кто ж, прекрасный увидав цветок,
 К нему с улыбкой руку не протянет?
 Пред красотой румяных юных щек
 Кто не поймет, что сердца жар не вянет?
 Желанье славы чьей души не ранит,
 Чьи мысли не пленит ее звезда?
 И снова Чайльд пустым круженьем занят
 И носится, как в прежние года,
 Лишь цель его теперь достойней, чем тогда.

Но видит он опять, что не рожден
 Для светских зал, для чуждой их стихии,
 Что подчинять свой ум не может он,
 Что он не может мыслить, как другие.
 И хоть сжигала сердце в дни былые
 Язвительная мысль его, но ей
 Он мненья не навязывал чужие.
 И в гордости безрадостной своей
 Он снова ищет путь — подальше от людей.

Среди пустынных гор его друзья,
 Средь волн морских его страна родная,
 Где так лазурны знойные края,
 Где пенятся буруны, набегая.

Пещеры, скалы, чаща вековая —
Вот чей язык в его душе поет.
И, свой родной для новых забывая,
Он книгам надоевшим предпочтет
Страницы влажные согретых солнцем вод.

14

Он, как халдей, на звезды глядя ночью
И населяя жизнью небосвод,
Тельца, Дракона видеть мог воочью.
Тогда, далекий от людских забот,
Он был бы счастлив за мечтой в полет
И душу устремить. Но прах телесный
Пылать бессмертной искре не дает,
Как не дает из нашей кельи тесной,
Из тяжких пут земных взлететь в простор небесный.

15

Среди людей молчит он, скучен, вял,
Но точно сокол, сын нагорной чащи,
Отторгнутый судьбой от вольных скал,
С подрезанными крыльями сидящий
И в яростном бессилии все чаще
Пытающийся проволочный свод
Ударами груди кровотокащей
Разбить и снова ринуться в полет —
Так мечется в нем страсть, не зная, где исход.

16

И вновь берет он посох пилигрима,
Чтобы в скитаньях сердце отошло.
Пусть это рок, пусть жизнь проходит мимо,
Презренью и отчаянью назло
Он призовет улыбку на чело.
Как в миг ужасный кораблекрушенья
Матросы хлещут спирт — куда ни шло!
И с буйным смехом ждут судеб свершенья,
Так улыбался Чайльд, не зная утешенья.

Ты топчешь прах Империи, — смотри!
 Тут Славу опозорила Беллона.
 И не воздвигли статую цари?
 Не встала Триумфальная колонна?
 Нет! Но проснитесь, — Правда непреклонна:
 Иль быть Земле и до скончанья дней
 Все той же? Кровь удобрила ей лоно,
 Но мир на самом страшном из полей
 С победой получил лишь новых королей.

О Ватерлоо, Франции могила!
 Гарольд стоит над кладбищем твоим.
 Он бил, твой час, — и где ж Величье, Сила?
 Все — Власть и Слава — обратилось в дым.
 В последний раз, еще непобедим,
 Взлетел орел — и пал с небес, пронзенный,
 И, пустотой бесплодных дней томим,
 Влачит он цепь над бездною соленой, —
 Ту цепь, которой мир душил закабаленный.

Урок достойный! Рвется пленный галл,
 Грызет узду, но где триумф Свободы?
 Иль кровь лилась, чтоб он один лишь пал,
 Или, уча монархов чтить народы,
 Изведал мир трагические годы,
 Чтоб вновь попать для рабства все права,
 Забыть, что все равны мы от природы?
 Как? Волку льстить, покончив с мощью Льва?
 Вновь славить троны? Славь — по испытай сперва.

То смерть не тирании — лишь тирана.
 Напрасны были слезы нежных глаз
 Над прахом тех, чей цвет увял так рано,
 Чей смелый дух безвременно угас.

Напрасен был и страх, томивший нас,
Мильоны трупов у подножья трона,
Союз народов, что Свободу спас,—
Нет, в миртах меч — вот лучший страж Закопа,—
Ты, меч Гармония, меч Аристокитона!

21

В ночи огнями весь Брюссель сиял,
Красивейшие женщины столицы
И рыцари стеклись на шумный бал.
Сверкают смехом праздничные лица.
В такую ночь все жаждет веселиться,
На всем — как будто свадебный наряд,
Глаза в глазах готовы раствориться,
Смычки блаженство томное сулят.
Но что там? Станный звук! — Надгробный звон? Набат?

22

Ты слышал?— Нет! А что?— Гремит карета,
Иль просто ветер ставнями трясет.
Танцуйте же! Сон изгнан до рассвета,
Настал любви и радости черед.
Они ускорят времени полет.
Но тот же звук! Как странно прогудело!
И словно вторит эхом небосвод.
Опять? Все ближе! А, так вот в чем дело!
К оружию! Пушки бьют! И все вдруг закипело.

23

В одной из зал стоял перед окном
Брауншвейгский герцог. Первый в шуме бала
Услышал он тот странный дальний гром,
И, хоть кругом веселье ликовало,
Он понял: Смерть беспечных вызывала,
И, вспомнив, как погиб его отец,
Вскочил, как от змеиного ужала,—
И на коня! И умер как храбрец!
Он, кровью мстя за кровь, нашел в бою конец.

Все из дворца на улицу спешат,
 И хмель слетает с тех, кто были пьяны.
 И бледны щеки те, что час назад
 От нежной лести были так румяны.
 Сердцам наносят тягостные раны
 Слова прощанья, страх глядит из глаз.
 Кто угадает жребий свой туманный,
 Когда в ночи был счастьем каждый час,—
 Но ужасом рассвет пирующих потряс.

Воешнные бегут со всех сторон,
 Пронесются связные без оглядки,
 Выходит в поле первый эскадрон,
 Командой прерван сон пехоты краткий,
 И боевые строятся порядки.
 А барабан меж тем тревогу бьет,
 Как будто гонит мужества остатки.
 Толпа все гуще, в панике народ,
 И губы бледные твердят: «Враг! Враг идет!»

Но грянул голос: «Кемроны, за мпой!»
 Клич Лохьела, что, кланы созывая,
 Гнал гордых саксов с Элбина долой;
 Подъемлет визг волынка боевая,
 Тот ярый дух в шотландцах пробуждая,
 Что всем врагам давать отпор умел,—
 То кланов честь, их доблесть родовая,
 Дух грозных предков и геройских дел,
 Что славой Эвана и Дональда гремел.

Вот принял их Арденн зеленый кров,
 От слез природы влажные дубравы.
 Ей ведом жребий юных смельчаков:
 Как смятые телами павших травы,
 К сырой земле их склонит бой кровавый.

Но май придет — и травы расцвели,
А те, кто с честью пал на поле славы,
Хоть воплощенной доблестью пришли,
Истлеют без гробов в объятиях земли.

28

День видел блеск их жизни молодой,
Их вечер видел среди гурий бала,
Их ночь видала собранными в строй,
И сильным войском утро увидало.
Но в небе туча огненная встала,
Извергла дым и смертоносный град,
И что цвело — кровавой грязью стало,
И в этом красном месиве лежат
Француз, германец, бритт — на брата вставший брат.

29

Воспет их подвиг был и до меня,
Их новое восславит поколение,
Но есть один среди них — он мне родня,—
Его отцу нанес я оскорбленье.
Теперь, моей ошибки в искупленье,
Почту обоих. Там он был в строю.
Он грудью встретил вражье наступленье
И отдал жизнь и молодость свою,
Мой благородный друг, мой Говард, пал в бою.

30

Все плакали о нем, лишь я не мог,
А если б мог, так что бы изменилось?
Но, стоя там, где друг мой в землю слег,
Где — вслед за ним увядшая — склонилась
Акация, а поле колосилось,
Приветствуя и солнце и тепло,—
Я был печален: сердце устремилось
От жизни, от всего, что вновь цвело,
К тем, воскресить кого ничто уж не могло.

Их тысячи — и тысячи пустот
 Оставил сонм ушедших за собою.
 Их не трубою Славы воззовет
 Великий день, назначенный судьбою,
 Но грозного архангела трубою.
 О, если б дать забвение живым!
 Но ведь и Слава не ведет к покою:
 Она придет, уйдет, пленясь другим,—
 А близким слезы лить о том, кто был любим.

Но слезы льют с улыбкою сквозь слезы:
 Дуб долго сохнет, прежде чем умрет.
 В лохмотьях парус, киль разбили грозы,
 И все же судно движется вперед.
 Гниют подпоры, но незыблем свод,
 Зубцы ломает вихрь, но крепки стены,
 И сердце, хоть разбитое, живет
 И борется в надежде перемены.
 Так солнце застит мгла, но день прорвется пленный.

Так — зеркало, где образ некий зрим:
 Когда стеклу пора пришла разбиться,
 В любом осколке, цел и невредим,
 Он полностью, все тот же, отразится.
 Он и в разбитом сердце не дробится,
 Где память об утраченном жива.
 Душа исходит кровью, и томится,
 И сохнет, как измятая трава,
 Но втайне, но без слов,— да и на что слова?

В отчаянье есть жизнь — пусть это яд,—
 Анчара корни только ядом жили.
 Казалось бы, и смерти будешь рад,
 Коль жизнь тяжка. Но, полный смрадной гнили,
 Плод Горя всеми предпочтен могиле.

Так яблоки на Мертвом море есть,
В них пепла вкус, но там их полюбили.
Ах, если б каждый светлый час зачесть
Как целый год,— кто б жил хотя б десятков шесть?

35

Псалмист измерил наших дней число,
И много их,— мы в жалобах не правы.
Но Ватерлоо тысячи смело,
Прервав ужасной эпопеи главы.
Его для поэтической забавы
Потомки звучно воспоют в стихах:
«Там взяли верх союзные державы,
Там были наши прадеды в войсках!» —
Вот все, чем этот день останется в веках.

36

Сильнейший там, но нет, не худший пал.
В противоречьях весь, как в паутине,
Он слишком был велик и слишком мал,
А ведь явись он чем-то посредине,
Его престол не дрогнул бы донине
Иль не воздвигся б вовсе. Дерзкий пыл
Вознес его и приковал к пучине,
И вновь ему корону возвратил,
Чтоб, театральный Зевс, опять он мир смутил.

37

Державный пленник, бравший в плен державы,
Уже ничтожный, потерявший трон,
Ты мир пугаешь эхом прежней славы.
Ее капризом был ты вознесен,
И был ей люб свирепый твой закон.
Ты новым богом стал себе казаться,
И мир, охвачен страхом, потрясен,
Готов был заклеить как святотатца
Любого, кто в тебе дерзнул бы сомневаться.

Сверхчеловек, то низок, то велик,
 Беглец, герой, смиритель усмиранный,
 Шагавший вверх по головам владык,
 Шатавший императорские троны,
 Хоть знал людей ты, знал толпы законы,
 Не знал себя, не знал ты, где беда,
 И, раб страстей, кровавый жрец Беллоны,
 Забыл, что потухает и звезда
 И что дразнить судьбу не надо никогда.

Но, презирая счастья перемены,
 Врожденным хладнокровием храним,
 Ты был незыблем в гордости надменной
 И, мудрость это иль искусный грим,
 Бесил врагов достоинством своим.
 Тебя хотела видеть эта свора
 Просителем, униженным, смешным,
 Но, не склонив ни головы, ни взора,
 Ты ждал с улыбкою спокойной приговора.

Мудрец в несчастье! В прежние года
 Ты презирал толпы покорной мненья,
 Весь род людской ты презирал тогда,
 Но слишком явно выражал презренье.
 Ты был в нем прав, но вызвал раздраженье
 Тех, кто в борьбе возвысил жребий твой:
 Твой меч нанес тебе же поражение.
 А мир — не стоит он игры с судьбой!
 И это понял ты, как все, кто шел с тобой.

Когда б стоял и пал ты одинок,
 Как башня, с гор грозящая долинам,
 Щитом презренье ты бы сделать мог,
 Но средь миллионов стал ты властелином,
 Ты меч обрел в восторге толп едином,

А Диогеном не был ты рожден,
Ты мог скорее быть Филиппа сыном,
Но, циник, узурпировавший трон,
Забыл, что мир велик и что не бочка он.

42

Спокойствие для сильных духом — ад.
Ты проклят был: ты жил дерзаньем смелым,
Огнем души, чьи крылья ввысь манят,
Ее презреньем к нормам закоснелым,
К поставленным природою пределам.
Раз возгорясь, горит всю жизнь она,
Гоня покой, живя великим делом,
Неистребимым пламенем полна,
Для смертных роковым в любые времена.

43

Им порожден безумцев род жестокий,
С ума сводящий тысячи людей,
Вожди, сектанты, барды и пророки,—
Владыки наших мнений и страстей,
Творцы систем, апостолы идей,
Счастливы? Нет! Иль счастье им не лгало?
Людей дурача, всех они глупей.
И жажды власти Зависть бы не знала,
Узнав, как жалит их душевной муки жало.

44

Их воздух — распря, пища их — борьба.
Крушит преграды жизнь их молодая,
В полете настигает их судьба,
В их фанатизме — сила роковая.
А если старость подошла седая
И скуки и бездействия позор —
Их смелый дух исчахнет, увядая:
Так догорит без хвороста костер,
Так заржавеет меч, когда угас раздор.

Всегда теснятся тучи вокруг вершин,
 И ветры хлещут крутизну нагую.
 Кто над людьми возвысится один,
 Тому идти сквозь ненависть людскую.
 У ног он видит землю, синь морскую
 И солнце славы — над своим челом.
 А вьюга свищет песню колдовскую,
 И грозно тучи застыт окоем:
 Так яростный, как смерч, вознагражден подъем.

Вернемся к людям! Истина таится
 В ее твореньях да еще в твоих,
 Природа-мать. И там, где Рейн струится,
 Тебя не может не воспеть мой стих.
 Там средоточье всех красот земных.
 Чайльд видит рощи, горы и долины,
 Поля, холмы и виноград на них,
 И замки, чьи угасли властелины,
 Печали полные замшелые руины.

Они, как духи гордые, стоят
 И сломленные высясь над толпою.
 В их залах ветры шальные свистят,
 Их башни дружат только меж собою,
 Да с тучами, да с твердью голубою.
 А в старину бывало здесь не так:
 Взвивался флаг, труба сзывала к бою.
 Но спят бойцы, истлел и меч и стяг,
 И в стены черные не бьет тараном враг.

Меж этих стен гнезвился произвол,
 Он жил враждой, страстями и разбоем.
 Иной барон вражду с соседом вел,
 Но мнил себя не богом, так героем.
 А впрочем, не хватало одного им:

Оплаченных историку похвал
Да мраморной гробницы, но, не скроем,—
Иной, хоть маломощный, феодал
Подчас величьем дел и помыслов блистал.

49

В глухих трущобах, в замке одиноком
Не каждый подвиг находил певца.
Амур в своем неистовстве жестоком
Сквозь панцири вторгался в их сердца,
Эмблема дамы на щите бойца
Тогда была как злобы дух ужасный.
И войнам замков не было конца,
И, вспыхнув из-за грешницы прекрасной,
Глядел не раз пожар на Рейн, от крови красный.

50

О Рейн, река обилья и цветенья,
Источник жизни для своей страны!
Ты нес бы вечно ей благословенье,
Когда б не ведал человек войны,
И, никогда никем не сметены,
Твои дары цвели, напоминая,
Что знали рай земли твоей сыны.
И я бы думал: ты посланник рая,
Когда б ты Летой был... Но ты река другая.

51

Хоть сотни раз кипела здесь война,
Но слава битв и жертвы их забыты.
По грудам тел, по крови шла она,
Но где они? Твоей волною смыты.
Твои долины зеленью повиты,
В тебе сияет синий небосклон,
И все же нет от прошлого защиты.
Его, как страшный, неотвязный сон,
Не смоет даже Рейн, хоть чист и светел он.

В раздумье дальше страпник мой идет,
 Глядит на рощи, на холмы, долины.
 Уже весна свой празднует приход,
 Уже от этой радостной картины
 Разгладились на лбу его морщины.
 Кого ж не тронет зрелище красот?
 И то и дело, пусть на миг единый,
 Хотя не сбросил он душевный гнет,
 В глазах безрадостных улыбка вдруг мелькнет.

И вновь к любви мечты его летят,
 Хоть страсть его в своем огне сгорела.
 Но длить угрюмость, видя нежный взгляд,
 Но чувство гнать — увы,— пустое дело!
 В свой час и тот, чье сердце охладело,
 На доброту ответит добротой.
 А в нем одно воспоминанье тлело:
 О той одной, единственной, о той,
 Чьей тихой верности он верен был мечтой.

Да, он любил (хотя несовместимы
 Любовь и холод), он тянулся к ней.
 Что привлекло характер нелюдимый,
 Рассудок, презирающий людей?
 Чем хмурый дух, бегущий от страстей,
 Цветенье первой юности пленило?
 Не знаю. В одиночестве быстрей
 Старее сердце, чувств уходит сила,
 И в нем, бесчувственном, одно лишь чувство жило.

Опа — дитя! — тем существом была,
 Которое не церковь с ним связала.
 Но связь была сильней людского зла
 И маску пред людьми не надевала.
 И даже сплетни многоликой жало,
 И клевета, и чары женских глаз —
 Ничто незримых уз не разрушало.
 И Чайльд-Гарольд стихами как-то раз
 С чужбины ей привет послал в вечерний час.

Над Рейном Драхенфельс вознесся,
Венчаный замком, в небосвод,
А у подножия утеса
Страна ликует и цветет.
Леса, поля, холмы и нивы
Дают вино, и хлеб, и мед,
И города глядят в извивы
Широкоструйных рейнских вод.
Ах, в этой радостной картине
Тебя лишь не хватает ныне.

Сияет солнце с высоты,
Крестьянок праздничны наряды.
С цветами, сами как цветы,
Идут, и ласковы их взгляды.
И красоте земных долин
Когда-то гордые аркады
И камни сумрачных руин
Дивятся с каменной громады.
Но нет на Рейне одного:
Тебя и взора твоего.

Тебе от Рейна в час печали
Я шлю цветы как свой привет.
Пускай они в пути увяли,
Храни безжизненный букет.
Он дорог мне, он узрит вскоре
Твой синий взор в твоём дому.
Твое он сердце через море
Приблизит к сердцу моему,
Перенесет сквозь даль морскую
Сюда, где о тебе тоскую.

А Рейн играет и шумит,
Дарит земле свои щедроты,
И всякий раз чудесный вид
Являют русла повороты.
Тут все тревоги, все заботы
Забудешь в райской тишине,
Где так милы земли красоты
Природе-матери и мне.
И мне! Но если бы при этом
Твой взор светил мне прежним светом!

Под Кобленцем есть холм, и на вершине
 Простая пирамида из камней.
 Она не развалилась и доныне,
 И прах героя погребен под ней.
 То был наш враг Марсо, но тем видней
 Британцу и дела его, и слава.
 Его любили — где хвала верней
 Солдатских слез, пролитых не лукаво?
 Он пал за Францию, за честь ее и право.

Был горд и смел его короткий путь.
 Две армии — и друг и враг — почтили
 Его слезами. Странник, не забудь
 Прочесть молитву на его могиле!
 Свободы воин, был он чужд насилий
 Во имя справедливости святой,
 Для чьей победы мир в крови топили.
 Он поражал душевной чистотой.
 За это и любил его солдат простой.

Вот Эренбрейтштейн — замка больше нет.
 Его донжоны взрывом разметало.
 И лишь обломки — память прежних лет,
 Когда ни стен, ни каменного вала
 Чугунное ядро не пробивало.
 В дыму войны отсюда враг бежал,
 Но мир низверг твердыню феодала:
 Где град железный тщетно грохотал,
 Там хлещет летний дождь в проломы хмурых зал.

Прощай, о Рейн! В далекий путь без цели
 От милых стран пришельца гонит рок.
 И те, кто вместе, жить бы здесь хотели,
 И тот, кто в целом мире одинок.

И если бы оставить жертву мог
Ужасный коршун самоугрызений —
Так только здесь, где каждый уголок
И дик и чуден, мил труду и лени,
Обилен и богат, и щедр, как день осенний.

60

И все ж прости! О, тщетное «прости»!
Кто приникал к твоей струе кристальной,
Не может образ твой не унести.
И если он уйти решил, печальный,
Тебе опять он кинет взор прощальный,
Стремясь запечатлеть твои черты.
Пусть Юг роскошней в мощи изначальной,
Где в мире край, который слил, как ты,
И славу прошлых дней, и мягкость красоты?

61

Уютное величье, — отраженья
Домов, церквей и башен городских.
Средь роц и пашен — белые селенья.
Там пропасти, там зубья скал нагих —
Предвосхищенье крепостей людских.
Монастыри с готическим фасадом,
А люди — как природа: здесь для них
Веселье стало жизненным укладом,
Хотя империи катятся в пропасть рядом.

62

Но мимо, мимо! Вот громады Альп,
Природы грандиозные соборы;
Гигантский пик — как в небе снежный скальц;
И, как па трон, воссев на эти горы,
Блится Вечность, устрашая взоры.
Там край лавин, их громовой исход,
Там для души бескрайные просторы,
И там земля штурмует небосвод.
А что же человек? Чего он, жалкий, ждет?

Но, прежде чем подняться на высоты,
 Хочу равнинный восхвалить Морат,
 Где бой пришельцам дали патриоты
 И где не покраснеешь за солдат,
 Хотя ужасен их трофеев склад.
 Враги свободы, здесь бургундцы пали.
 Они непогребенные лежат,
 Им памятником их же кости стали,
 И внемлет черный Стикс стенамьям их печали.

Как Ватерлоо повторило Канпы,
 Так повторен Моратом Марафон.
 Там выиграли битву не тираны,
 А Вольность, и Гражданство, и Закон.
 Там граждапе сражались не за трон,
 То не была над слабыми расправа,
 И не был там народ поработчен,
 Не проклинал «божественное право»,
 Которым облачен тот, в чьих руках держава.

В безлюдном одиночестве, одна,
 Грустит колонна у стены замшелой,
 Величья гибель видела она.
 И смотрит в Вечность взгляд бесцветно-белый.
 Как человек, от слез окаменелый
 И все ж не ставший чувствовать слабей,
 Она дивится, что осталась целой,
 Когда Авентик, слава древних дней,
 Нагромождением стал бесформенных камней.

Здесь Юлия — чья память да святится! —
 Служенью в храме юность отдала
 И, небом не услышанная жрица,
 Когда отца казнили, умерла.

Его боготворила, им жила!
Но суд закона глух к мольбе невинной,
И дочь отцовской жизни не спасла.
Без памятника холмик их пустынный,
Где сердце спит одно, и прах и дух единый.

67

Таких трагедий и таких имен
Да не забудет ни одип сказитель!
Империи уйдут во тьму времен,
В безвестность канут раб и победитель,
Но высшей добродетели ревнитель
В потомстве жить останется навек,
И взором ясным, новый небожитель
Глядит на солнце, чист, как горный снег,
Забыв на высоте всего земного бег.

68

Но вот Леман раскинулся кристальный,
И горы, звезды, синий свод над ним —
Все отразилось в глубине зеркальной,
Куда глядит, любуясь, пилигрим.
Но человек тут слишком ощутим,
А чувства вянут там, где люди рядом.
Скорей же в горы, к высям ледяным,
К тем мыслям, к тем возвышенным отрадам,
Которым чужд я стал, живя с двуногим стадом.

69

Замечу кстати: бегство от людей —
Не ненависть еще и не презренье.
Нет, это бегство в глубь души своей,
Чтоб не засохли корни в небреженье
Среди толпы, где в бредовом круженье —
Заразы общей жертвы с юных лет —
Свое мы поздно видим вырожденье,
Где сеем зло, чтоб злом ответил свет,
И где царит война, но победивших нет.

Настанет срок — и счастье бросит нас,
 Раскаянье на сердце ляжет гнетом,
 Мы плачем кровью. В этот страшный час
 Все черным покрывается налетом,
 И жизни путь внезапным поворотом
 Уводит в ночь. Моряк в порту найдет
 Конец трудам опасным и заботам,
 А дух — уплывший в Вечность мореход —
 Не знает, где предел ее бездонных вод.

Так что ж, не лучше ль край избрать пустынный
 И для земли — земле всю жизнь отдать
 Над Рогою, над синею стремниной,
 Над озером, которое, как мать,
 Не устает ее струи питать,—
 Как мать, кормя малютку дочь иль сына,
 Не устает их нежить и ласкать.
 Блажен, чья жизнь с Природою едина,
 Кто чужд ярму раба и трону властелина.

Я там в себе не замыкаюсь. Там
 Я часть Природы, я — ее созданье.
 Мне ненавистны улиц шум и гам,
 Но моря гул, но льдистых гор блистанье!
 В кругу стихий мне тяжело лишь сознанье,
 Что я всего лишь плотское звено
 Меж тварей, населивших мирозданье,
 Хотя душе сливаться суждено
 С горами, звездами иль тучами в одно.

Но жизнь лишь там. Я был в горах — я жил,
 То был мой грех, когда в пустыне людной
 Я бесполезно тратил юный пыл,
 Сгорал в борьбе бессмысленной и трудной.

Но я воспрял. Исполнен силы чудной,
Дышу целебным воздухом высот,
Где над юдолюю горестной и скудной
Уже мой дух предчувствует полет,
Где цепи сбросит он и в бурях путь пробьет.

74

Когда ж, ликуя, он освободится
От уз, теснящих крыл его размах,—
От низкого, что может возродиться
В ничтожной форме — в жабах иль жуках,
И к свету свет уйдет и к праху прах,
Тогда узнаю взором ясновидца
Печать бесплотной мысли на мирах,
Постигну Разум, что во всем таится
И только в редкий миг снисходит нам открыться.

75

Иль горы, волны, небеса — не часть
Моей души, а я — не часть вселенной?
И, к ним узнав возвышенную страсть,
Не лучше ль бросить этот мир презренный,
Чем прозябать, душой отвергнув пленной
Свою любовь для здешней суеты,
И равнодушным стать в толпе надменной,
Как те, что смотрят в землю, как скоты,
Чья мысль рождается рабою темноты.

76

Продолжим нить ~~р~~сказа моего!
Ты, мыслящий над пастью гроба черной
О бренности, взгляни на прах того,
Кто был как свет, как пламень житнетворный.
Он здесь рожден, и здесь, где ветер горный
Бальзамом веет в сердце, он созрел,
К вершинам славы шел тропой неторной
И, чтоб венчать бессмертьем свой удел,—
О глупость мудреца! — все отдал, чем владел.

Руссо, апостол роковой печали,
 Пришел здесь в мир, злосчастный для него,
 И здесь его софизмы обретали
 Красноречивой скорби волшебство.
 Копясь в ранах сердца своего,
 Восторг безумья он являл в покровках
 Небесной красоты, и оттого
 Над книгой, полной чувств и мыслей новых,
 Читатель слезы лил из глаз, дотоль суровых.

Любовь безумье страсти в нем зажгла,—
 Так дуб стрела сжигает громовая.
 Он ею был испепелен дотла,
 Он не умел любить, не погибая.
 И что же? Не красавица живая,
 Не тень усопшей, вызванная сном,
 Его влекла, в отчаянье ввергая,—
 Нет, чистый образ, живший только в нем,
 Страницы книг его зажег таким огнем.

Тот пламень — чувство к Юлии прекрасной,
 Кто всех была и чище и печней,—
 То поцелуев жар, увы, напрасный,
 Лишь отклик дружбы паходивший в ней,
 Но, может быть, в унынье горьких дней
 Отрадой мимолетного касанья
 Даривший счастье выше и полней,
 Чем то, каким — ничтожные созданья!—
 Мы упиваемся в восторгах обладанья.

Всю жизнь он создавал себе врагов,
 Оп гнал друзей, любовь их отвергая.
 Весь мир подозревать он был готов.
 На самых близких месть его слепая

Обрушивалась, ядом обжигая,—
Так светлый разум помрачала тьма.
Но скорбь виной, болезнь ли роковая?
Не может пронизательность сама
Постичь безумие под маскою ума.

81

И, молнией безумья озаренный,
Как пиффия на троне золотом,
Он стал вещать, и дрогнули короны,
И мир таким запылал огнем,
Что королевства, рушась, гибли в нем.
Не так ли было с Францией, веками
Униженной, стопавшей под ярмом,
Пока не поднял ярой мести знамя
Народ, разбуженный Руссо с его друзьями.

82

И страшен след их воли роковой.
Они сорвали с Правды покрывало,
Разрушив ложных представлений строй,
И взорам сокровенное предстало.
Они, смешав Добра и Зла начала,
Все прошлое низвергли. Для чего?
Чтоб новый трон потомство основало,
Чтоб выстроило тюрьмы для него
И мир опять узрел насилья торжество.

83

Так не должно, не может долго длиться!
Народ восстал, оковы сбросил он,
Но не сумел в свободе утвердиться.
Почувяв силу, властью ослеплен,
Забыл он все — и жалость и закон.
Кто рос в тюрьме, во мраке подземелий,
Не может быть орлу уподоблен,
Чьи очи в небо с первых дней глядели,—
Вот отчего он бьет порою мимо цели.

Чем глубже рана, тем упорней след.
 Пускай из сердца кровь уже не льется,
 Рубец остался в нем на много лет.
 Но тот, кто знал, за что с судьбою бьется,
 Пусть бой проигран, духом не сдается.
 Страсть притаилась и безмолвно ждет.
 Отчаянью нет места. Все зачтется
 В час торжества. Возмездие придет,
 Но Милосердьё пусть проверит Мести счет.

Леман! Как сладок мир твой для поэта,
 Изведавшего горечь бытия!
 От шумных волн, от суетного света
 К тебе пришел я, горная струя.
 Неси ж меня, заветная ладья!
 Душа отвергла сумрачное море
 Для светлых вод, и, мнится, слышу я,
 Сестра, твой голос в их согласном хоре:
 «Вернись! Что ищешь ты в бушующем просторе?»

Нисходит ночь. В голубоватой мгле
 Меж берегом и цепью гор окрестной
 Еще все ясно видно на земле.
 Лишь Юра, в тень уйдя, стеной отвесной,
 Вся черная, пронзила свод небесный.
 Цветов неисчислимых аромат
 Восходит ввысь. Мелодией чудесной
 Разносится вечерний звон цикад,
 И волны шепчутся и плещут веслам в лад.

По вечерам цикада веселится
 И жизнью детства шумного живет.
 Вот залилась и вдруг умолкла птица,
 Иль замечтавшись, иль уснув. А вот

Неясный шепот от холмов идет.
Нет, слух обманут! Это льют светила
(Как девушка о милом слезы льет)
Росу, чтоб грудь земную напоила
Живущей в них души сочувственная сила.

88

О звезды, буквы золотых писем
Поэзии небесной! В них таится
И всех миров, и всех судеб закон.
И тот, чей дух к величию стремится,
К ним рвется ввысь, чтоб с ними породниться.
В них тайна, ими движет Красота.
И все, чем может человек гордиться,
«Своей звездой» зовет он неспроста,—
То честь и счастье, власть и слава, и мечта.

89

Земля и небо смолкли. Но не сон —
Избыток чувств их погрузил в мечтапье.
И тишиною мир заворужен.
Земля и небо смолкли. Гор дыханье,
Движенье звезд, в Лемане — волн плесканье,—
Единой жизнью все напоено.
Все существа, в таинственном слиянье,
В едином хоре говорят одно:
«Я славлю мощь творца, я им сотворено».

90

И, влившись в бесконечность бытия,
Не одинок паломник одинокий,
Очищенный от собственного «я».
Здесь каждый звук, и близкий и далекий,
Таит всемирной музыки истоки,
Дух красоты, что в бег миров ввела
И твердь земли, и неба свод высокий,
И пояс Афродиты создала,
Которым даже Смерть побеждена была.

Так чувствовали персы в опы дни,
 На высях гор верша богослуженье.
 Лицом к лицу с природою они
 В молитве принимали очищенье —
 Не средь колонн, не в тесном огражденье.
 Сравни тот храм, что строил грек иль гот,
 С молельнею под небом, в окруженье
 Лесов и гор, долин и чистых вод,
 Где не стеснен души возвышенный полет.

Но как темнеет! Свет луны погас,
 Летят по небу грозовые тучи.
 Подобно блеску темных женских глаз,
 Прекрасен блеск зарницы. Гром летучий
 Наполнил все: теснины, бездны, кручи.
 Горам, как небу, дан живой язык,
 Разноречивый, бурный и могучий,
 Ликуют Альпы в этот грозный миг,
 И Юра в ночь, в туман им шлет ответный клик.

Какая ночь! Великая, святая,
 Божественная ночь! Ты не для сна!
 Я пью блаженство грозового рая,
 Я бурей пьян, которой ты полна.
 О, как фосфоресцирует волна!
 Сверкая, пляшут капли дождевые.
 И снова тьма, и, вновь озарена,
 Гудит земля, безумствуют стихии,
 И сотрясают мир раскаты громовые.

Здесь, между двух утесистых громад,
 Проложен путь беснующейся Роной.
 Утесы, как любовники, стоят,
 Когда они любовью оскорбленной

И злобой, в пепле нежности рожденной,
Как бездною, разделены навек,
И май сердец, в цвету испепеленный,
Две жизни ввергнул в вечный лед и снег
И на сердечный ад изгнанников обрек.

95

Где Рона буйно об утесы бьет,
Там ярых бурь приют оледенелый.
Их сонмы там — и там передает
Одна другой пылающие стрелы.
Вот вспыхнул сноп, извилистый и белый,
И, раздвоившись, ринулся в пролет.
Он понял: там Отчаянья пределы,
Там все разрушил Времени полет,—
Так пусть же молния последнее убьет.

96

Ночь, буря, тучи, взрывы молний, гром,
Река, утесов черные громады,
Душа, в грозе обретшая свой дом,—
До сна ли здесь? Грохочут водопады,
И сердца струны откликаться рады
Родным бессонной мысли голосам.
Куда ты, буря, гонишь туч армады?
Иль бурям сердца ты сродни? Иль там,
Среди орлиных гнезд, твой облачный сезам?

97

О, если бы нашел я воплощенье
И выразил хотя б не все, хоть часть
Того, что значит чувство, увлечение,
Дух, сердце, разум, слабость, сила, страсть,
И если б это все могло совпасть
В едином слове «молния» и властно
Сказало бы, что жить дана мне власть,—
О, я б заговорил! — но ждать напрасно:
Как скрытый в ножнах меч, зачихнет мысль безгласно.

Восходит утро — утро все в росе,
 Душисто, ярко и, как розы, ало,
 И так живет, рассеяв тучи все,
 Как будто смерти на земле не стало.
 Но вот и день! И снова все сначала:
 Тропою жизни — дальше в путь крутой!
 Лемана зыбь, деревьев опахала —
 Все будит мысль и говорит с мечтой,
 Вливая в путника отраду и покой.

Кларан, Кларан! Приют блаженства милый!
 Твой воздух весь любовью напоен.
 Любовь дает корням деревьев силы,
 Снегов альпийских озаряет сон.
 Любовью предвечерний небосклон
 Окрашен, и утесы-великаны
 Хранят покой влюбленного, чтоб он
 Забыл и свет, и все его обманы,
 Надежды сладкий зов, ее крушений раны.

В Кларане все — любви бессмертной след,
 Она везде, как некий бог, который
 Дарует тварям жизнь, добро и свет,
 Здесь трон его, ступени к трону — горы,
 Он радужные дал снегам уборы,
 Он в блеске зорь, он в ароматах роз,
 Его, ликуя, славят птичьи хоры,
 И шорох трав, и блески летних рос,
 И веянье его смиряет ярость гроз.

Все — гимн ему. И темных сосен ряд
 Над черной бездной — сень его живая,—
 И звонкий ключ, и рдяный виноград,
 И озеро, где нежно-голубая,

К его стопам незримым припадая,
Поет волна, и тень седых лесов,
И зелень, как Веселье, молодая,
Ему и всем, кто с ним прийти готов,
В безлюдной тишине дарит радушный кров.

102

Там среди пчел и птиц уединенье,
Мир многоцветен там и многолик.
Там краткой жизни радостно кипенье
И бессловесный ярче слов язык.
Вот сквозь листву горячий луч проник,
В ручье проворном блики заблестели.
И Красота во всем, и ты постиг,
Что этот запах, краски, свист и трели —
Все создала Любовь для некой высшей цели.

103

Кто гнал любовь, здесь устремится к ней
И тайн ее волшебных причастится,
А любящий начнет любить сильнее
И не захочет с пустыней проститься,
Куда людскому злу не докатиться.
Любовь растет иль вянет. Лишь застой
Несвойствен ей. Иль в пепел обратится,
Иль станет путеводною звездой,
Которой вечен свет, как вечен мира строй.

104

Недаром здесь Руссо капризный гений
Остановил мечты своей полет
И приютил для чистых наслаждений
Две избранных души. У этих вод
Психеи пояс распустил Эрот,
Благословив для счастья эти склоны.
Там тишина и нега. Там цветет
Гармония. Над ложем светлой Роны
Там Альпы возносятся блистательные троны.

Лозанна и Ферней! Святой предел,
 Где двух титанов обитают тени,
 Где смертных вел тропой бессмертных дел
 На штурм небес отважившийся гений.
 Здесь разум на фундаменте сомнений
 Дерзнул создать мятежной мысли храм,
 И если гром не сжег ее творений,
 Так, значит, не впервые небесам
 Улыбкой отвечать на все угрозы нам.

Один из них Протей был — вечно повый,
 Изменчивый, ни в чем не знавший уз,
 Шутник, мудрец, то кроткий, то суровый,
 Хронист, философ и любимец муз,
 Предписывавший миру мненья, вкус,
 Оружьем смеха исправлявший нравы,
 Как ветер вольный, истинный француз,
 Прямой, коварный, добрый, злой, лукавый,
 Бичующий глупцов, колеблющий державы.

Другой — пытлив, медлителен, глубок,
 Упорством мысли изощрял сужденья,
 Оттачивал иронии клинок,
 Отдав труду ночей бессонных бденья,
 Насмешкой низвергал предубежденья,
 И — бог сарказма! — яростью глупцов
 Был ввергнут в ад на муки искупленья, —
 Там, если верить рассказиям попов,
 Для усомнившихся ответ на все готов.

Мир спящим! Те, кто кары заслужили,
 Уже осуждены на небесах.
 Не нам судить того, кто спит в могиле!
 Но тайна тайн раскроется — и страх
 С надеждой вместе ляжет в тлен и прах.

А прах, пусть не распался он покуда,
Распасться должен, как и все в гробах,
Но если мертвый встанет, — верю в чудо! —
Ему простится все, не то — придется худо.

109

Но от людских созданий мне пора
К созданьям божьим снова обратиться.
Уже и так, по прихоти пера,
Исписана не первая страница.
Вон облаков несется вереница
К альпийским льдам, сияющим вдали.
Пора и мне к вершинам устремиться,
В лазурь, куда их глетчеры ушли,
Где духов неба ждут объятия земли.

110

А дальше ты, Италия! Бессменно
Векам несешь ты свет земли своей —
От войн, пресекших дерзость Карфагена,
До мудрецов, поэтов и вождей,
Чья слава стала славой наших дней.
Империй трон, гробница их живая,
Не стал твой ключ слабей или мутней.
И, жажду знанья вечную питаю,
Из римских недр бежит его струя святая.

111

Я с горьким чувством эту песню пел:
Актерствовать, носить чужие лица,
Знать, что собой остаться не сумел,
И лицедейству каждый миг учиться,
На самого себя ожесточиться,
Скрывать — о боже! — чувство, мысль и страсть,
Гнев, ненависть — все, чем душа томится,
И ревности мучительную власть, —
Вот что изведаль я, что пало мне на часть.

112

Не думайте, что это все — слова,
Прием литературный, обрамленье
Летающих сцен, намеченных едва,
Картин, запечатленных мной в движенье,

238

Чтоб вызвать в чьем-то сердце восхищенье;
Нет, слава — это молодости бог,
А для меня — что брань, что одобренье,
Мне безразлично. Так судил мой рок:
Забыт ли, не забыт — я всюду одинок.

113

Как мир — со мной, так враждовал я с миром,
Вниманье черни светской не ловил,
Не возносил хвалу ее кумирам,
Не слушал светских бардов и сивилл,
В улыбке льстивой губы не кривил,
Не раз бывал в толпе, но не с толпою,
Всеобщих мнений эхом не служил,
И так бы жил — но, примираясь с судьбою,
Мой разум одержал победу над собою.

114

Я с миром враждовал, как мир — со мной.
Но, несмотря на опыт, верю снова,
Простаясь, как добрый враг, с моей страной,
Что Правда есть, Надежда держит слово,
Что Добродетель не всегда сурова,
Не уловленьем слабых занята,
Что кто-то может пожалеть другого,
Что есть нелицемерные уста,
И Доброта — не миф, и Счастье — не мечта.

115

Дочурка Ада! Именем твоим
В конце я песнь украшу, как в начале.
Мне голос твой неслышен, взор незрим,
Но ты мне утешение в печали.
И где б мои стихи ни прозвучали, —
Пускай нам вместе быть не суждено, —
Из чуждых стран, из замогильной дали
К тебе — хотя б мой прах истлел давно —
Они придут, как вихрь, ворвавшийся в окно.

Следить, как начинаешь ты расти,
 Знакомишься с вещами в удивленье,
 И первые шаги твои вести,
 И видеть первых радостей рожденье,
 Ласкать тебя, сажая на колени,
 Целуя глазки, щечки — таково,
 Быть может, и мое предназначенье?
 И сердце шепчет: да! Но что с того?
 Я это счастье знал — я потерял его.

И все же ты со мною, ты не с ними,
 Ты будешь, ты должна меня любить!
 Пускай они мое бесчестят имя,
 Сведут в могилу, — им не разрубить
 Отца и дочь связующую нить.
 В дочерних венах всей их камарилье
 Кровь Байрона другой не заменить.
 И как бы тень мою ни очернили,
 Твоя любовь придет грустить к моей могиле.

Дитя любви! Ты рождена была
 В раздоре, в помраченьях истерии,
 И ты горишь, но не сгоришь дотла,
 И не умрут надежды золотые,
 Как умерли мои во дни былые.
 Спи сладко! С этих царственных высот,
 Где воскресаешь, где живешь впервые,
 Тебя, дитя, благословляет тот,
 Кто от тебя самой благословенья ждет.

Песнь четвертая

Visto ho Toscana, Lombardia, Romagna,
Quel monte che divide, e quel che serra
Italia, e un mare e l'altro, che la bagna.

Ariosto, Satira III¹.

Джону Хобхаузу, эсквайру

Венеция, 2 января 1818 г.

Мой дорогой Хобхауз!
Восемь лет прошло между созданием первой и последней песни «Чайльд-Гарольда», и теперь нет ничего удивительного в том, что, расставаясь с таким старым другом, я обращаюсь к другому, еще более старому и верному, который видел рождение и смерть того, второго, и пред которым я еще больше в долгу за все, что дала мне в общественном смысле его просвещенная дружба,— хотя не мог не заслужить моей признательности и Чайльд-Гарольд, снискавший благосклонность публики, перешедшую с поэмы на ее автора,— к тому, с кем я давно знаком и много путешествовал, кто выхаживал меня в болезни и утешал в печали, радовался моим удачам и поддерживал в неудачах, был мудр в советах и верен в опасностях,— к моему другу, такому испытанному и такому нетребовательному,— к вам.

Тем самым я обращаюсь от поэзии к действительности и, посвящая вам в завершенном или, по крайней мере, в законченном виде мою поэму,— самое большое, самое богатое мыслями и наиболее широкое по охвату из моих произведений,— я надеюсь повысить цену самому себе рассказом о многих годах интимной дружбы с человеком образованным и честным. Таким людям, как мы с вами,

¹ Я видел Тоскану, Ломбардию, Романью, те горы, что разрезают Италию надвое, и те, что отгораживают ее, и оба моря, которые омывают ее.

Ариосто, Сатира III (итал.).

не пристало ни льстить, ни выслушивать лесть. Но искренняя похвала всегда позволена голосу дружбы. И совсем не ради вас, и даже не для других, но только для того, чтобы дать высказаться сердцу, ни прежде, ни потом не встречавшему доброжелателя, союзника в битвах с судьбой,— я подчеркиваю здесь ваши достоинства, вернее, преимущества, воздействие которых я испытал на себе. Даже дата этого письма, годовщина самого несчастного дня моей прошлой жизни,— которая, впрочем, куда меня поддерживает ваша дружба и мои собственные способности, не может отравить мое будущее,— станет отныне приятней нам обоим, ибо явится напоминанием о моей попытке выразить вам благодарность за неустанную заботу, равную которой немногим довелось повстречать, а кто встретил, тот, безусловно, начал лучше думать и обо всем человеческом роде, и о себе самом.

Нам посчастливилось проехать вместе, хотя и с перерывами, страны рыцарства, истории и легенды — Испанию, Грецию, Малую Азию и Италию; и чем были для нас несколько лет назад Афины и Константинополь, тем стали недавно Венеция и Рим. Моя поэма, или пилигрим, или оба вместе сопровождали меня с начала до конца. И, может быть, есть простительное тщеславие в том, что я с удовольствием думаю о поэме, которая в известной степени связывает меня с местами, где она возникала, и с предметами, которые охотно описывала. Если она оказалась недостойной этих чарующих, незабываемых мест, если она слабее наших воспоминаний и непосредственных впечатлений, то, как выражение тех чувств, которые вызывало во мне все это великое и прославленное, она была для меня источником наслаждений, когда писалась, и я не подозревал, что предметы, созданные воображением, могут внушить мне сожаление о том, что я с ними расстаюсь.

В последней песни пилигрим появляется реже, чем в предыдущих, и поэтому он менее отделим от автора, который говорит здесь от своего собственного лица. Объясняется это тем, что я устал последовательно проводить линию, которую все, кажется, решили не замечать. Подобно тому китайцу в «Гражданине мира» Голдсмита, которому никто не хотел верить, что он китаец, я напрасно доказывал и воображал, будто мне это удалось, что пилигрима не следует смешивать с автором. Но боязнь утратить различие между ними и постоянное недовольство

тем, что мои усилия ни к чему не приводят, настолько угнетали меня, что я решил затею эту бросить — и так и сделал. Мнения, высказанные и еще высказываемые по этому поводу, теперь уже не представляют интереса: произведение должно зависеть не от автора, а от самого себя. Писатель, не находящий в себе иных побуждений, кроме стремления к успеху, минутному или даже постоянному, успеху, который зависит от его литературных достижений, заслуживает общей участи писателей.

Мне хотелось коснуться в следующей песни, либо в тексте, либо в примечаниях, современного состояния итальянской литературы, а может быть, также и нравов. Но вскоре я убедился, что текст, в поставленных мною границах, едва ли может охватить всю путаницу внешних событий и вызываемых ими размышлений. Что же касается примечаний, которыми я, за немногими исключениями, обязан вашей помощи, то их пришлось ограничить только теми, которые служат разъяснению текста.

Кроме того, это деликатная и не очень благородная задача — говорить о литературе и нравах нации, такой несхожей с собственной. Это требует внимания и беспристрастия и могло бы вынудить нас — хотя мы отнюдь не принадлежим к числу невнимательных наблюдателей и профанов в языке и обычаях народа, среди которого недавно находились, — отнестись с недоверием к собственному суждению или, во всяком случае, отложить его, чтобы проверить свои познания. Разногласия партий, как в политике, так и в литературе, достигли или достигают такого ожесточения, что для иностранца стало почти невозможным сохранить беспристрастность. Достаточно процитировать — по крайней мере, для моей цели — то, что было сказано на их собственном и прекрасном языке: «Mi pare che in un paese tutto poetico, che vanta la lingua la più nobile ed insieme la più dolce, tutte le vie diverse si possono tentare, e che sinche la patria di Alfieri e di Monti non ha perduto l'antico valore, in tutte essa dovrebbe essere la prima»¹

Италия продолжает давать великие имена — Канова, Монти, Уго Фосколо, Пиндемонте, Висконти, Морелли,

¹ Мне кажется, что в стране, где все исполнено поэзии, в стране, которая гордится самым благородным и в то же время самым красивым языком, еще открыты все дороги, и, поскольку родина Альфери и Монти не утратила прежнего величия, она во всех областях должна быть первой (*итал.*).

Чиконьяра, Альбрицци, Медзофанти, Маи, Мустоксиди, Альетти и Вакка почти во всех отраслях искусства, науки и литературы обеспечивают нынешнему поколению почетное место, а кое в чем — даже самое высокое: Европа — весь мир — имеют только одного Канову. Альфьери где-то сказал: «La pianta uomo nasce più robusta in Italia che in qualunque altra terra e che gli stessi atroci delitti che vi si commettono ne sono una prova»¹. Не подписываясь под второй половиной этой фразы, поскольку она представляет собой опасную доктрину, истинность которой можно опровергнуть более сильными доказательствами, хотя бы тем, что итальянцы несколько не свирепее, чем их соседи, я скажу, что должен быть преднамеренно слепым или просто невежественным тот, кого не поражает исключительная одаренность этого народа, легкость их восприятия, быстрота понимания, пламенность духа, чувство красоты и, несмотря на неудачи многих революций, военные разрушения и потрясения Истории, — неугасимая жажда бессмертия, «бессмертия свободы». Когда мы ехали вдвоем вокруг стен Рима и слушали бесхитростную жалобу певших хором крестьян: «Рим! Рим! Рим не тот, каким он был!» — трудно было удержаться от сравнения этой грустной мелодии с вакхическим ревом торжествующих песен, которые несутся из лондонских таверн, напоминая о резне при Мон-Сен-Жан, о том, как были преданы Генуя, Италия, Франция, весь мир людьми, поведение которых вы сами описали в произведении, достойном лучших дней нашей истории. А что до меня:

Non moverò mai corda
Ove la turba di sue ciance assorda².

Тем, что выиграла Италия при недавнем перемещении папий, англичанам нет нужды интересоваться, пока они не убедятся в том, что Англия выиграла нечто гораздо большее, чем постоянная армия и отмена Habeas corpus. Пока им достаточно заниматься собственными делами. Что касается их действий за рубежами и особенно на Юге, истинно говорю вам, они получают возмездие, и притом — в недалеком будущем.

¹ Лоза человеческая рождается в Италии более мощной, чем где бы то ни было, и это доказывают даже те преступления, которые там совершаются (*итал.*).

² Я там не прикоснусь к струне, // Где черни вой терзает уши мне (*итал.*).

Желая вам, дорогой Хобхауз, благополучного и приятного возвращения в страну, процветание которой никому не может быть дороже, чем вам, я посвящаю вам эту поэму в ее законченном виде и повторяю, что неизменно остаюсь

Вашим преданным

и любящим другом.

Байрон.

1

В Венеции на Ponte dei Sospiri,
Где супротив дворца стоит тюрьма,
Где — зрелище единственное в мире! —
Из волн встают и храмы и дома,
Там бьет крылом История сама,
И, догорая, рдеет солнце Славы
Над красотой, сводящею с ума,
Над Марком, чей, доныне величавый,
Лев перестал страшить и малые державы.

2

Морей царица, в башенном венце,
Из теплых вод, как Анадиомена,
С улыбкой превосходства на лице
Она взошла, прекрасна и падменна.
Ее принцессы принимали вено
Покорных стран, и сказочный Восток
В полу ей сыпал все, что драгоценно.
И сильный князь, как маленький князек,
На пир к ней позванный, гордиться честью мог.

3

Но смолк напев Торкватовых октав,
И песня гондольера отзвучала,
Дворцы дряхлеют, меркнет жизнь, устав,
И не тревожит лютня сон канала.
Лишь красота Природы не увяла.
Искусства гибли, царства отцвели,
Но для веков отчизна карнавала
Осталась, как мираж в пустой дали,
Лицом Италии и празднеством Земли.

4

И в ней для нас еще есть обаянье:
 Не только прошлый блеск, не имена
 Теней, следящих в горестном молчанье,
 Как, дождей и богатства лишена,
 К упадку быстро клонится она,—
 Иным завоевать она сумела
 Грядущие века и племена,
 И пусть ее величье оскудело,
 Но здесь возникли Пьер, и Шейлок, и Отелло,

5

Творенья Мысли — не бездушный прах,
 Бессмертные, они веков светила,
 И с ними жизнь отрадней, в их лучах
 Все то, что ненавистно и постыло,
 Что в смертном рабстве душу извратило,
 Иль заглушит, иль вытеснит сполна
 Ликующая творческая сила,
 И, солнечна, безоблачно ясна,
 Сердцам иссохшим вновь цветы дарит весна.

6

Лишь там, среди них, прибежище осталось
 Для верящих надежде, молодых,
 Для стариков, чей дух гнетет усталость
 И пустота. Как множество других,
 Из этих чувств и мой рождался стих,
 Но вещи есть, действительность которых
 Прекрасней лучших вымыслов людских,
 Пленительней, чем всех фантазий ворох,
 Чем светлых муз миры и звезды в их просторах.

7

Их видел я, иль это было сном?
 Пришли — как явь, ушли — как сновиденья.
 Не знаю, что сказать о них в былом,
 Теперь они — игра воображенья.

Я мог бы вызвать вновь без напряженья
И сцен, и мыслей, им подобных, рой.
Но мимо! Пусть умрут без выраженья!
Для разума открылся мир иной,
Иные голоса уже владеют мной.

8

Я изучил наречия другие,
К чужим входил не чужестранцем я.
Кто независим, тот в своей стихии,
В какие ни попал бы он края,—
И меж людей, и там, где нет жилья,
Но я рожден на острове Свободы
И Разума — там родина моя,
Туда стремлюсь! И пусть окончу годы
На берегах чужих, среди чужой Природы,

9

И мне по сердцу будет та страна,
И там я буду тлеть в земле холодной —
Моя душа! Ты в выборе вольна.
На родину направь полет свободный,
И да останусь в памяти народной,
Пока язык Британии звучит,
А если будет весь мой труд бесплодный
Забит людьми, как ныне я забит,
И равнодушие потомков оскорбит

10

Того, чьи песни жар в сердцах будили,—
Могу ль роптать? Пусть в гордый паптеон
Введут других, а на моей могиле
Пусть будет древний стих напечатлен:
«Среди спартанцев был не лучшим он»,
Шипами мной посаженного древа —
Так суждено! — я сам окровавлен,
И, примирясь, без горечи, без гнева
Я принимаю плод от своего посева.

Тоскует Адриатика-вдова:
 Где дож, где свадьбы праздник ежегодный?
 Как символ безутешного вдовства
 Ржавеет «Буцентавр», уже негодный.
 Лев Марка стал насмешкою бесплодной
 Над славою, влачащейся в пыли,
 Над площадью, где, папе негодный,
 Склонился император и несли
 Дары Венеции земные короли.

Где сдался шваб — австриец твердо стал.
 Тот был унижен, этот — на престоле.
 Немало царств низверг столетий шквал,
 Немало вольных городов — в неволе.
 И не один, блиставший в главной роли,
 Как с гор лавина, сброшенный судьбой,
 Народ великий гаснет в жалкой доле,—
 Где Дандоло, столетний и слепой,
 У византийских стен летящий первым в бой!

Пусть кони Марка сбруей золотой
 И бронзой блещут в ясную погоду,
 Давно грозил им Дорна уздой —
 И что же? Ныне Габсбургам в угоду
 Свою тысячелетнюю свободу
 Оплакивать Венеция должна;
 О, пусть уйдет, как водоросли в воду,
 В морскую глубь, в родную глубь опа,
 Коль рабство для нее — спокойствия цена.

Ей был, как Тиру, дан великий взлет,
 И даже в кличке выражена сила:
 «Рассадник львов» прозвал ее народ —
 За то, что флаг по всем морям носила,
 Что от Европы туток отразила.

О древний Крит, великой Трои брат!
В твоих волнах — ее врагов могила.
Лепанто, помнишь схватку двух армад?
Ни время, ни тиран тех битв не умалят.

15

Но статуи стеклянные разбиты,
Блестательные дожди спят в гробах,
Лишь говорит дворец их знаменитый
О празднествах, собраньях и пирах.
Чужим покорен меч, впушавший страх,
И каждый дом — как прошлого гробница.
На площадях, на улицах, мостах
Напоминают чужеземцев лица,
Что в тягостном плену Венеция томится.

16

Когда Афины шли на Сиракузы
И дрогнули, быть может, в первый раз,
От рабских пут лишь гимн афинской музы,
Стих Еврипида, сотни граждан спас.
Их победитель, слыша скорбный глас
Из уст сынов афинского народа,
От колесницы их отпряг тотчас
И вместе с ними восхвалил рапсода,
Чьей лирою была прославлена Свобода.

17

Венеция! Не в память старины,
Не за дела, свершенные когда-то,
Нет, цепи рабства снять с тебя должны
Уже за то, что и доньше свято
Ты чтить, ты помнишь своего Торквато.
Стыд нациям! Но Англии — двойной!
Морей царица! Как сестру иль брата,
Дитя морей своим щитом укрой.
Ее закат настал, но далеко ли твой?

Венецию любил я с детских дней,
 Она была моей души кумиром,
 И в чудный град, рожденный из зыбей,
 Воспетый Радклиф, Шиллером, Шекспиром,
 Всецело веря их высоким лирам,
 Стремился я, хотя не знал его.
 Но в бедствиях, почти забытый миром,
 Он сердцу стал еще родней того,
 Который был как свет, как жизнь, как волшебство.

Я вызываю тени прошлых лет,
 Я узнаю, Венеция, твой гений,
 Я нахожу во всем живой предмет
 Для новых чувств и новых размышлений,
 Я словно жил в твоей поре весенней,
 И эти дни вошли в тот светлый ряд
 Ничем не истребимых впечатлений,
 Чей каждый звук, и цвет, и аромат
 Поддерживает жизнь в душе, прошедшей ад.

Но где растут стройней и выше ели?
 На высях гор, где камень да грапит,
 И где земля от стужи, и метели,
 И от альпийских бурь не оградит,
 И древние утесы им не щит.
 Стволы их крепнут, корни в твердь пуская,
 И гор достоин их могучий вид.
 Им нет соперниц. И как ель такая,
 И зреет и растет в борьбе душа людская.

Возникла жизнь — ей бремя не стряхнуть.
 Корнями вглубь вонзается страданье
 В бесплодную, иссушенную грудь.
 Но что ж — верблюд несет свой груз в молчанье,

А волк и при последнем издыханье
Не стонет,— но ведь низменна их стать.
Так если мы — высокие созданья,
Не стыдно ли стонать или кричать?
Наложим на уста молчания печать.

22

Страданье иль убьет, иль умирает,
И вновь, невольник призрачных забот,
Свой горький путь страдалец повторяет
И жизни ткань из той же нити тклет.
Другой, устав, узпав душевный гнет
И обессилив, падает, в паденье
Измяв тростник, неверный свой оплот.
А третий мнит найти успокоенье —
Чтоб вознестись иль пасть— в добре иль преступленьи.

23

Но память прошлых горестей и бед
Болезненна, как скорпиона жало.
Он мал, он еле видим, жгучий след,
Но он горит — и надобно так мало,
Чтоб вспомнить то, что душу истерзало.
Шум ветра — запах — звук — случайный взгляд
Мелькнули — и душа затрепетала,
Как будто электрический разряд
Ее включает в цепь крушений, слез, утрат.

24

Как? Почему? Но кто проникнуть мог
Во тьму, где Духа молния родится?
Мы чувствуем удар, потом ожог,
И от него душа не исцелится.
Пустьак, случайность — и всплывают лица,
И сколько их, то близких, то чужих,
Забытых иль успевших измениться,
Любимых, безразличных, дорогих...
Их мало, может быть, и все ж как много их!

Но в сторону увел я мысль мою.
 Вернись, мой стих, чтоб созерцать былое,
 Где меж руин руиной я стою,
 Где мертвое прекрасно, как живое,
 Где обрело величие земное
 В высоких добродетелях оплот,
 Где обитали боги и герои,
 Свободные — цари земли и вод,—
 И дух минувших дней вовеки не умрет.

Республика царей — иль граждан Рима!
 Италия, осталась прежней ты,
 Искусством и Природою любима,
 Земной эдем, обитель красоты,
 Где сорняки прекрасны, как цветы,
 Где благодатны, как сады, пустыни,
 В самом паденье — дивный край мечты,
 Где безупречность форм в любой руине
 Бессмертной прелестью пленяет мир доныне.

Взошла луна, но то не ночь — закат
 Теснит ее, полнебом обладая.
 Как в пимбах славы, Альп верхи горят.
 Фриулы скрыла дымка голубая.
 На Западе, как радуга, играя,
 Перемешал все краски небосвод,
 И день уходит в Вечность, догорая,
 И, отраженный в глуби синих вод,
 Как остров чистых душ, Селены диск плывет,

А рядом с ней звезда — как две царицы
 На полусфере неба. Но меж гор,
 На солнце рдея, марево клубится —
 Там ночи день еще дает отпор,

И лишь природа разрешит их спор,
А Бренты шум — как плач над скорбной урпой,
Как сдержанный, но горестный укор,
И льнет ее поток темно-лазурный
К пурпурным розам, и закат пурпурный

29

Багрянцем брызжет в синий блеск воды,
И, многоцветность неба отражая,—
От пламени заката до звезды,—
Вся в блестках вьется лента золотая.
Но вскоре тень от края и до края
Объемлет мир, и гаснет волшебство.
День — как дельфин, который, умирая,
Меняется в цветах — лишь для того,
Чтоб стать в последний миг прекраснее всего.

30

Есть в Аркуа гробница на столбах,
Где спит в простом гробу без украшений
Певца Лауры одинокий прах.
И здесь его паломник славит гений
Защитника страны от унижений —
Того, кто спас Язык в годину зла,
Но ту одну избрал для восхвалений,
Кто лавра соименницей была
И лавр бессмертия поэту принесла.

31

Здесь, в Аркуа, он жил, и здесь сошел он
В долину лет под кровлею своей.
Зато крестьянин, гордым чувством полоц,—
А есть ли гордость выше и честней? —
К могиле скромной позовет гостей
И в скромный домик будет верным гидом.
Поэт был сам и ближе и родней
Селу в горах с широким, вольным видом,
Чем пышным статуям и грозным пирамидам.

И тот, кто смертность ощутил свою,
 Приволье гор, укромное селенье
 Иль пинию, склоненную к ручью,
 Как дар воспримет, как благословенье.
 Там от надежд обманутых спасенье,—
 Пускай жужжат в долинах города,
 Он не вернется в их столпотворенье,
 Он не уйдет отсюда никогда.
 Тут солнце празднично — в его лучах вода,

Земля и горы, тысячи растений,
 Источник светлый,— всё твои друзья,
 Здесь мудрость — и в бездеятельной лени,
 Когда часы у светлого ручья
 Текут кристальны, как его струя.
 Жить учимся мы во дворце убогом,
 Но умирать — на лоне бытия,
 Где спесь и лесть остались за порогом,
 И человек — один и борется лишь с богом

Иль с демонами Духа, что хотят
 Ослабить мысль и в сердце угнездиться,
 Изведавшем печаль и боль утрат,—
 В том сердце, что, как пойманная птица,
 Дрожит во тьме, тоскует и томится,
 И кажется, что ты для мук зачат,
 Для страшных мук, которым вечно длиться,
 Что солнце — кровь, земля — и тлен и смрад,
 Могила — ад, но ад — страшней, чем Дантов ад.

Феррара! Одиночеству не место
 В широкой симметричности твоей.
 Но кто же здесь не вспомнит подлых Эсте,
 Тиранов, мелкотравчатых князей,

Из коих не один был лицедей —
То друг искусства, просветитель новый,
То, через час, отъявленный злодей,
Присвоивший себе венок лавровый,
Который до него лишь Дант носил суровый.

36

Их стыд и слава — Тассо! Перечти
Его стихи, пройди к ужасной клетки,
Где он погиб, чтобы в века войти,—
Его Альфонсо кинул в стены эти,
Чтоб, ослеплен, безумью брошен в сети,
Больничным адом нравственно убит,
Он не остался в памяти столетий.
Но, деспот жалкий, ты стыдом покрыт,
А славу Тассо мир еще и ныне чтит,

37

Произнося с восторгом это имя,
Твое же, сгнив, забылось бы давно,
Когда бы злодеяньями своими,
Как мерзкое, но прочное звено,
В судьбу поэта не вплелось оно.
И, облаченный княжеским нарядом,
Альфонсо, ты презретен все равно —
Раб, недостойный стать с поэтом рядом,
Посмевающий дар его душить тюремным смрадом.

38

Как бык, ты ел,— зачем? — чтоб умереть,
Вся разница лишь в корме да в жилище.
Его же нимб сиял и будет впредь
Сиять все ярче, радостней и чище,
Хоть гневу Круски дал он много пищи,
Хоть Буало не видел в нем добра
(Апологет стряпни французов нищей —
Докучных, как зуденье комара,
Трескучих вымыслов бессильного пера).

Ты среди нас живешь священной тенью!
 Ты был, Торквато, обойден судьбой,
 Ты стал для стрел отравленных мишенью,
 Неуязвим и мертвый, как живой.
 И есть ли бард, сравнившийся с тобой?
 За триста лет поэтов много было,
 Но ты царишь один над их толпой.
 Так солнце есть, и никакая сила,
 Собрав его лучи, не повторит светила.

Да! Только среди его же земляков
 Предшественники были, мой читатель,
 Не менее великие. Таков
 «Божественной Комедии» создатель
 Иль чудных небылиц изобретатель,
 Тот южный Скотт, чей гений столь же смел,
 Кто, как романов рыцарских слагатель —
 Наш Ариосто северный, воспел
 Любовь, и женщину, и славу бранных дел.

Был молнией на бюсте Ариосто
 Венец расплавлен и на землю сбит.
 Стихия дело разрешила просто:
 Железу лавром быть не надлежит.
 Как лавров Славы гром не сокрушит,
 Так сходство с лавром лишь глупца обманет.
 Но суеверье попусту дрожит:
 Рассудок трезвый по-другому взглянет —
 Гром освящает то, во что стрелою грянет.

Зачем печать высокой красоты,
 Италия! твоим проклятьем стала?
 Когда б была не столь прекрасна ты,
 От хищных орд ты меньше бы страдала.
 Ужель еще стыда и горя мало?

Ты молча терпишь гнет чужих держав!
Тебе ль не знать могущество кинжала!
Восстань, восстань — и, кровопийц прогнав,
Яви нам гордый свой, вольнолюбивый нрав!

43

Тогда бы ты, могуществом пугая,
Ничьих желаний гнусных не влекла,
И красота, доныне роковая,
Твоим самоубийством не была.
Войска бы не катились без числа
В долины Альп глумиться над тобою,
И ты б чужих на помощь не звала,
Сама не в силах дать отпор разбою, —
Твоих заступников не стала бы рабою.

44

Я плавал в тех краях, где плавал друг
Предсмертной образованности Рима,
Друг Цицерона. Было все вокруг,
Как в оны дни. Прошла Мегара мимо,
Пирей маячил справа нелюдимо,
Эгина сзади. Слева вознесен,
Белел Коринф. А море еле зримо
Качало лодку, и на всем был сон.
Я видел ряд руин — все то, что видел он.

45

Руины! Сколько варварских халуп
Поставили столетья рядом с ними!
И оттого, хотя он слаб и скуп,
Останний луч зари, сиявшей в Риме,
Он тем для нас прекрасней, тем любимей.
Уже и Сервий лишь оплакать мог
Все, от чего осталось только имя,
Бег времени письмо его сберег,
И в нем для нас большой и горестный урок.

И вслед за ним я в путевой тетрадке
 Погибшим странам вздох мой посвятил.
 Он с грустью видел родину в упадке,
 Я над ее обломками грустил.
 В столетьях вырос длинный счет могил,
 На Рим великий буря налетела,
 И рухнул Рим, и жар давно остыл
 В останках титанического тела.
 Но дух могучий зрим, и только плоть истлела.

Италия! Должны народы встать
 За честь твою, раздоры отменяя,
 Ты мать оружия, ты искусства мать,
 Ты веры нашей родина святая.
 К тебе стремятся — взять ключи от рая —
 Паломники со всех земных широт.
 И верь, бесчестье матери карая,
 Европа вся на варваров пойдет
 И пред тобой в слезах раскаянья падет.

Но вот нас манит мраморами Арно.
 В Этрурии наследницу Афин
 Приветствовать мы рады благодарно,
 Среди холмов зеленых, и долин,
 Зерна, и винограда, и маслин,
 Среди природы щедрой и здоровой,
 Где жизнь обильна, где неведом сплин,
 И к роскоши привел расцвет торговый,
 Зарю наук воззвав из тьмы средневековой.

Любви богиня силой красоты
 Здесь каждый камень дивно оживила,
 И сам бессмертью причастишься ты,
 Когда тебя радушно примет вилла,

Где мощь искусства небо нам открыла
Языческой гармонией резца,
Которой и природа уступила,
Признав победу древнего творца,
Что создал идеал и тела и лица.

50

Ты смотришь, ты не в силах с ней проститься,
Ты к ней пришел — и нет пути назад!
В цепях за триумфальной колесницей
Искусства следуй, ибо в плен ты взят.
Но этот плен, о, как ему ты рад!
На что здесь толки, споры, словопренья,
Педанства и бессмыслицы парад!
Нам голос мысли, чувства, крови, зренья
Твердит, что прав Парис и лишни заверенья.

51

Такой ли шла ты к принцу-пастуху,
Такая ли к Анхизу приходила?
Такая ли, покорствуя греху,
Ты богу битв лукаво кровь мутила,
Когда он видел глаз твоих светила,
К твоей груди прикинув головой,
А ты любви молила, ты любила,
И поцелуев буре огневой
Он отдавал уста, как раб смиренный твой.

52

Но бог, любя, не пел любовных песен,
Он в красках чувство выразить не мог.
Он был, как мы, влюбленный, бессловесен,
И смертному уподоблялся бог.
Часов любви не длит упрямый рок,
Но смертный помнит краски, ароматы,
Сердечный трепет — вечности залог,
И памятью и опытом богатый,
Ужели он не бог, творец подобных статуи!

Пусть, мудростью красуясь наживной,
 Художнической братьи обезьяна,
 Его эстетство — критик записной
 Толкует нам изгиб ноги и стана,
 Рассказывая то, что несказанно,
 Но пусть зеркал не помрачает он,
 Где должен без малейшего изъяпа
 Прекрасный образ, вечно отражен,
 Примером царственным сиять для смертных жен.

В священном Санта-Кроче есть гробницы,
 Чьей славой Рим тысячекратно свят.
 И пусть ничто в веках не сохранилось
 От мощи, обреченной на распад,
 Они его бессмертье отстают.
 Там звездный Галилей в одном приделе,
 В другом же, рядом с Альфиери, спят
 Буонаротти и Макиавелли,
 Отдав свой прах земле, им давшей колыбели.

Они бы, как стихи, вчетвером
 Весь мир создать могли. Промчатся годы,
 И может рухнуть царственный твой дом,
 Италия! Но волею Природы
 Гигантов равных не дали народы,
 Царящие огнем своих армид.
 И, как твои ни обветшали своды,
 Их зори Возрожденья золотят,
 И дал Канову твой божественный закат.

Но где ж, Тоскана, где три брата кровных?
 Где Дант, Петрарка? Горек твой ответ!
 Где тот рассказчик ста новелл любовных,
 Что в прозе был пленительный поэт?

Иль потому он так пропал, их след,
Что Смерть, как Жизнь, от нас их отделила?
На родине им даже бюстов нет!
Иль мрамора в Тоскане не хватило,
Чтобы Флоренция сынов своих почтила?

57

Неблагодарный город! Где твой стыд?
Как Сципион, храним чужою сенью,
Изгнанник твой, вдали твой Данте спит,
Хоть внуки всех причастных преступленью
Прощенья молят пред великой тенью.
И лавр носил Петрарка не родной —
Он, обучивший сладостному пенью
Всех европейских бардов, — он не твой,
Хотя ограблен был, как и рожден, тобой.

58

Тебе Боккаччо завещал свой прах,
Но в Пантеоне ль мастер несравненный?
Напомнит ли хоть реквием в церквах,
Что он возвел язык обыкновенный
В Поэзию — мелодию сирены?
Он мавзолея славы заслужил,
Но и надгробье снял ханжа презренный,
И гению нет места средь могил,
Чтобы и вздохом тень прохожий не почтил.

59

Да, в Санта-Кроче величайших нет.
Но что с того? Не так ли в Древнем Риме,
Когда на имя Брута лег запрет,
Лишь слава Брута стала ощутимей.
И Данте сон валами крепостными
Равенна благодарная хранит.
И в Аркуа кустами роз живыми
Певца Лауры смертный холм увидит.
Лишь мать-Флоренция об изгнанных скорбит.

Так пусть вельможам, герцогам-купцам
 Воздвиглись пирамиды из агата,
 Порфира, яшмы, — это льстит глупцам!
 Когда роса ложится в час заката
 Иль веет ночь дыханьем аромата
 На дерн могильный — вот он, мавзолей
 Титанам, уходящим без возврата.
 Насколько он прекрасней и теплей
 Роскошных мраморов над прахом королей!

Скульптура вместе с радужной сестрой
 Собор над Арно в чудо превратила.
 Я свято чту искусств высокий строй,
 Но сердцу все ж иное чудо мило:
 Природа — море, облака, светила;
 Я рад воспеть шедевры галерей,
 Но даже то, что взор мой поразило,
 Не рвется песней из души моей.
 Есть мир совсем иной, где мой клинок верней,

Где зыблется в теснине Тразимена,
 Где для мечты — ее желанный дом.
 Здесь победила хитрость Карфагена,
 И, слишком рано гордый торжеством,
 Увидел Рим орлов своих разгром,
 Не угадав засаду Ганнибала,
 И, как поток, в ущелье роковым
 Кровь римская лилась и клокотала,
 И, рухнув, точно лес от буревала,

Горой лежали мертвые тела, —
 Храбрейшим, лучшим не было спасенья,
 И жажда крови так сильна была,
 Что, видя смерть, в безумстве исступленья

Никто не замечал землетрясения,
Хотя бы вдруг разверзшийся провал,
Усугубляя ужас истребления,
Коней, слонов и воинов глотал.
Так ненависть слепа, и целый мир ей мал.

64

Земля была под ними как челнок,
Их уносивший в вечность, без кормила,
И руль держать никто из них не мог,
Затем что в них бушующая сила
Самой Природы голос подавила —
Тот страх, который гонит вдаль стада,
Взметает птиц, когда гроза завывала,
И сковывает бледные уста,—
Так, словно человек умолкнул навсегда.

65

Как Тразимена изменилась ныне!
Лежит, как щит серебряный, светла.
Кругом покой. Лишь мирный плуг в долине
Земле наносит раны без числа.
Там, где лежали густо их тела,
Разросся лес. И лишь одна примета
Того, что кровь когда-то здесь текла,
Осталась для забывчивого света:
Ручей, журчащий здесь, зовется Сангвинетто.

66

А ты, Клитумн, о светлая волна,
Кристалл текучий, где порой, нагая,
Купается, в струях отражена,
Собой любуясь, нимфа молодая;
Прозрачной влагой берега питаю,
О, зеркало девичьей красоты,
О, благосклонный бог родного края,
Забыв войну, растишь и холишь ты
Молочно-белый скот, и травы, и цветы.

Лишь небольшой, но стильный, стройный храм,
 Как память лет, что в битвах отгремели,
 Глядит с холма, ближайшего к волнам,
 И видно, как в прозрачной их купели
 Гоняются и прыгают форели,
 А там, где безмятежна глубина,
 Нимфеи спят, колышась еле-еле,
 И, свежести пленительной полна,
 Пришельца сказками баюкает волна.

Благословен долины этой гений!
 Когда, устав за долгий переход,
 Пьешь полной грудью аромат растений,
 И вдруг в лицо прохладой дохнет,
 И, наконец, ты, смыв и пыль и пот,
 Садись в тень, на склон реки отлогий,
 Сама душа Природе гимн поет,
 Дарующей такой приют в дороге,
 Где далеко и жизнь, и все ее тревоги.

Но как шумит вода! С горы в долину
 Гигантской белопенною стеной —
 Стеной воды! — свергается Велино,
 Все обдавая бурей водяной.
 Пучина Орка! Флегетон шальной!
 Кипит, ревет, бурлит, казнимый адом,
 И смертным потом — пеной ледяной —
 Бьет, хлещет по утесистым громадам,
 Как бы глумящимся над злобным водопадом,

Чьи брызги рвутся к солнцу и с небес,
 Как туча громоносная в апреле,
 Дождем струятся на поля, на лес,
 Чтобы они смарагдом зеленели,

Не увядая. В тьму бездонной щели
Стихия низвергается, и вот
Из бездны к небу глыбы полетели,
Низринутые вглубь с родных высот
И вновь летящие, как ядра, в небосвод,

71

Наперекор столбу воды, который
Так буйно крутит и швыряет их,
Как будто море, прорывая горы,
Стремится к свету из глубин земных
И хаос бьется в муках родовых —
Не скажешь: рек источник жизнедарный!
Нет, он, как Вечность, страшен для живых,
Зеленый, белый, голубой, янтарный,
Обворожающий, но лютый и коварный.

72

О, Красоты и Ужаса игра!
По кромке волн, от края и до края,
Надеждой подле смертного одра
Ирида светит, радугой играя,
Как в адской бездне луч зари, живая,
Нарядна, лучезарна и нежна,
Над этим мутным бешенством сияя,
В миллионах шумных брызг отражена,
Как на Безумие — Любовь, глядит она.

73

И вновь я на лесистых Апеннинах —
Подобьях Альп. Когда б до этих пор
Я не бывал на ледяных вершинах,
Не слышал, как шумит под фирном бор
И с грохотом летят лавины с гор,
Я здесь бы восхищался непрестанно,
Но Юнгфрау мой чаровала взор,
Я видел выси мрачного Монблана,
Громовершинную, в одежде из тумана,

Химари — и Парнас, и лёт орлов,
 Над ним как бы соперничавших славой,
 Взмывавших выше гор и облаков;
 Я любовался Этной величавой,
 Я, как троянец, озирал дубравы
 Лесистой Иды, я видал Афон,
 Олимп, Соракт, уже не белоглавый,
 Лишь тем попавший в ряд таких имен,
 Что был Горацием в стихах прославлен он,

Девятым валом вставший средь равнины,
 Застывший на изломе водопад,—
 Кто любит дух классической рутины,
 Пусть эхо будит музыкой цитат.
 Я ненавижу этот школьный ад,
 Где мы латынь зубрили слово в слово,
 И то, что слушал столько лет назад,
 Я не хочу теперь услышать снова,
 Чтоб восхищаться тем, что в детстве так сурово

Вколачивалось в память. С той поры
 Я, правда, понял важность просвещенья,
 Я стал ценить познания дары,
 Но, вспоминая школьные мученья,
 Я не могу внимать без отвращенья
 Иным стихам. Когда бы педагог
 Позволил мне читать без принужденья,—
 Как знать,— я сам бы полюбить их мог,
 Но от зубрежки мне постыл их важный слог.

Прощай, Гораций, ты мне ненавистен,
 И горе мне! Твоя ль вина, старик,
 Что красотой твоих высоких истин
 Я не пленен, хоть знаю твой язык.

Как моралист, ты глубже всех постиг
Суть жизни нашей. Ты сатирой жгучей
Не оскорблял, хоть резал напрямик.
Ты знал, как бог, искусства строй певучий,
И все ж простимся — здесь, на Апеннинской круче.

78

Рим! Родина! Земля моей мечты!
Кто сердцем сир, чьи дни обузой стали,
Взгляни на мать погибших царств — и ты
Поймешь, как жалки все твои печали.
Молчи о них! Пройди на Тибр и дале,
Меж кипарисов, где сова кричит,
Где цирки, храмы, троны отблестали,
И однодневных не считай обид:
Здесь мир, огромный мир в пыли веков лежит.

79

О Древний Рим! Лишенный древних прав,
Как Ниобея — без детей, без трона,
Стоишь ты молча, свой же кепотаф.
Останков нет в гробнице Сципиона,
Как нет могил, где спал во время оно
Прах сыновей твоих и дочерей.
Лишь мутный Тибр струится неуклонно
Вдоль мраморов безлюдных пустырей.
Встань, желтая волна, и скорбь веков залей!

80

Пожары, войны, бунты, гунн и гот, —
О, смерч над семихолмною столицей!
И Рим слабел, и грянул страшный год:
Где шли в цепях, бывало, вереницей
Цари за триумфальной колесницей,
Там варвар стал надменною пятой
На Капитолий. Мрачною гробницей
Простерся Рим, пустынный и немой.
Кто скажет: «Он был здесь», — когда двойною тьмой,

Двойною тьмой — незнания и столетий
 Закрыт его гигантский силуэт,
 И мы идем на ощупь в бледном свете;
 Есть карты мира, карты звезд, планет,
 Познание идет путем побед,
 Но Рим лежит неведомой пустыней,
 Где только память пролагает след.
 Мы «Эврика!» кричим подчас и ныне,
 Но то пустой мираж, подсказка стертых линий.

О Рим! Не ты ль изведаль торжество
 Трехсот триумфов! В некий день священный
 Не твой ли Брут вонзил кинжал в того,
 Кто стать мечтал диктатором вселенной!
 Тит Ливий, да Вергилий вдохновенный,
 Да Цицерон — в них воскресает Рим.
 Все остальное — прах и пепел бренный,
 И Рим свободный — он неповторим!
 Его блестящих глаз мы больше не узрим.

Ты, кто орлов над Азией простер
 И рвался дальше в бранном увлеченье,
 Ты, Сулла, чей победоносный взор
 Не разглядел, что Рим готовит мщенье:
 Народ — за кровь, сенат — за униженье
 (Один твой взгляд — и подчинялся он), —
 Ты все впитал: порок и преступленье,
 Но, Рима сын, храня небрежный тон,
 С улыбкой отдал то, что более, чем трон,

Давало власть — диктаторское право.
 Ты мог ли знать, что Рим, его оплот,
 Возвысившая цезарей держава —
 Всесильный Рим, — когда-нибудь падет,

Что в Рим царить не римлянин придет,
Он — «Вечный град» в сознание поколений,
Он, крыльями обнявший небосвод,
Не знающий проигранных сражений,
Он будет варваром поставлен на колени!

85

Как Сулла — первый корифей войны,
Так первый узурпатор, от природы,
Наш Кромвель. Для величия страны,
Для вечной славы и за миг свободы
Он отдал мрачным преступлениям годы,
Прогнал сенат и сделал плахой трон.
Священный бунт! Но вам мораль, народы:
В день двух побед был смертью награжден
Некоронованный наследник двух корою.

86

В тот самый месяц, третьего числа,
Отвергнув трон, но больше, чем на троне,
Он опочил, и смерть к нему пришла,
Чтобы в могильном упокоить лопе.
Не в высшем ли начертано законе,
Что слава, власть — предмет вражды людской —
Не стоят нашей яростной погони,
Что там, за гробом, счастье и покой.
Усвой мы эту мысль — и станет жизнь другой.

87

А ты, ужасный монумент Помпея,
Пред кем, обрызгав кровью пьедестал,
Под крик убийц пал Цезарь и, слабая,
Чтобы сыграть достойно свой финал,
Закрывшись тогой, молча умирал, —
В нагом величье, правда ль, в этом зале
Ты алтарем богини мщенья стал?
Мертвы ль вы оба? Что за роль играли?
Быть может, кукол роль, хоть в плен царей вы брали?

А ты, в кого ударил дважды гром,
 Дыныне, о священная волчица,
 Млеко побед, которым вскормлен Рем,
 Из бронзовых сосцов твоих сочится.
 Навек — музея древностей жилица,
 От жгучих стрел Юпитера черна,
 Чтoб вечно Рим тобою мог гордиться,
 Мать смелых! Вечно ты стоять должна
 И город свой хранить, как в оны времена.

Храни его! Но тех людей железных
 Давно уж нет. Мир города воздвиг
 На их могилах. В войнах бесполезных
 Им подражало множество владык,
 Но их пугало то, что Рим велик
 И нет меж ними равного судьбою,
 Иль есть один, и он всего достиг,
 Но, честолюбец, вставший над толпою,
 Он — раб своих рабов — низвергнут сам собою.

Лжевластью ослепленный, он шагал,
 Поддельный Цезарь, вслед за неподдельным,
 Но римлянин прошел другой закал:
 Страсть и рассудок — все в нем было цельным.
 Он был могуч истинтком нераздельным,
 Который все в гармонии хранит,
 Гость Клеопатры — подвигам смертельным
 За прялкой изменяющий Алкид,—
 Который вновь пойдет, увидит, победит,

И вот он Цезарь вновь! А тот, хотящий,
 Чтoб стал послушным соколом орел,
 Перед французской армией летящий,
 Которую путем побед он вел,—

Тому был нужен Славы ореол,
И это все. Он раболепство встретил,
Но сердцем был он глух. Куда он шел?
И в Цезари — с какою целью метил?
Чем, кроме славы, жил? Он сам бы не ответил.

92

Ничто иль все! Таков Наполеон.
А не накличь он свой конец печальный,
Он был бы, словно Цезарь, погребен,
Чей прах топтать готов турист нахальный.
И вот мечта об арке Триумфальной,
Вот кровь и слезы страждущей Земли,
Поток, бурлящий с силой изначальной!
Мир тонет в нем, и нет плота вдали...
О боже, не ковчег, хоть радугу пошли!

93

Жизнь коротка, стеснен ее полет,
В суждениях не терпим мы различий.
А Истина — как жемчуг в глуби вод.
Фальшив отяготивший нас обычай.
Средь наших норм, условностей, приличий
Добро случайно, злу преграды нет,
Рабы успеха, денег и отличий,
На мысль и чувство наложив запрет,
Предпочитают тьму, их раздражает свет.

94

И так живут в тупой, тяжелой скуке,
Гордясь собой, и так во гроб сойдут.
Так будут жить и сыновья и внуки,
И дальше рабский дух передадут,
И в битвах за ярмо свое падут,
Как падал гладиатор на арене.
Не за свободу, не за вольный труд,—
Так братья гибли: сотни поколений,
Сметенных войнами, как вихрем — лист осенний.

О вере я молчу — тут каждый сам
 Решает с богом, — я про то земное,
 Что так понятно, ясно, близко нам, —
 Я разумею то ярмо двойное,
 Что нас гнетет при деспотичном строе,
 Хотя нам и лгут, что следуют тому,
 Кто усмирят надменное и злое,
 С земных престолов гнал и сон и тьму,
 За что одно была б вовек хвала ему.

Ужель тирану страшны лишь тираны?
 Где он, Свободы грозный паладин,
 Каким, Минерва девственной саванны,
 Колумбия, был воин твой и сын?
 Иль, может быть, такой в веках один,
 Как Вашингтон, чье сердце воспиталось
 В глухих лесах, близ гибельных стремнин?
 Иль тех семян уж в мире не осталось
 И с жаждой вольности Европа расквиталась?

Пьяна от крови, Франция в те дни
 Блевала преступленьем. Все народы
 Смутила сатурналия резни,
 Террор, тщеславье, роскошь новой моды, —
 Так мерзок был обратный лик Свободы,
 Что в страхе рабству мир себя обрек,
 Надежде вновь сказав «прости» на годы.
 Вторым грехопаденьем в этот век
 От Древа Жизни был отторгнут человек.

И все-таки твой дух, Свобода, жив,
 Твой стяг под ветром плещет непокорно,
 И даже бури грохот заглушив,
 Пускай, хрипя, гремит твоя валторна.

Ты мощный дуб, дающий лист упорно,—
Он топором надрублен, но цветет.
И Вольностью посеянные зерна
Лелеет Север, и настанет год,
Когда они дадут уже не горький плод.

99

Вот почернелый мрачный бастион.
Часть крепости, обрушиться готовой,
Врагам отпор давал он испокон,
Фронтон его, изогнутый подковой,
Плюща гирляндой двадцативековой,
Как Вечности венком, полузакрыт.
Чем был, что прятал он в тот век суровый?
Не клад ли в подземелье был зарыт?
Нет, тело женщины,— так быть нам говорит.

100

Зачем твой склеп — дворцовый бастион?
И кто ты? Как жила? Кого любила?
Царь или больше — римлянин был он?
Красавиц дочек ты ему дарила,
Иль вождь, герой, чья необорна сила,
Тобой рожден был? Как ты умерла?
Боготворимой? Да! Твоя могила
Покоить низших саном не могла,
И в ней ты, мертвая, бессмертье обрела.

101

А муж твой — не любила ль ты чужого?
Такие страсти знал и Древний Рим.
Была ль ты, как Корнелия, сурова,
Служа супругу, детям и родным
И нет! сказав желаниям иным,
Иль, как Египта дерзкая царица,
Жила лишь наслаждением одним?
Была грустна? Любила веселиться?
Но грусть любви всегда готова в радость влиться.

Иль, сокращая век твой, как скала,
 Тебя давило горе непрестанно?
 Иль ты богов любимицей была
 И оттого сошла в могилу рано?
 И туча, близясь грозно и туманно,
 Обрушила на жизнь твою запрет,
 А темный взор, порой блестевший странно,
 Был признаком чахотки с детских лет,
 И цветом юных щек был роц осенних цвет?

Иль старой умерла ты, пережившей
 Свой женский век, и мужа, и детей,
 Но даже снег, твой волос убеливший,
 Не обеднил густой косы твоей —
 Твоей короны в пору лучших дней,
 Когда Метеллой Рим любил хвалиться.
 Но что гадать! Меж римских богачей
 Был и твой муж, и знала вся столица,
 Что гордостью его была твоя гробница.

Но почему, когда я так стою
 В раздумье пред гробницей знаменитой,
 Как будто древний мир я узнаю,
 Входящий в сердце музыкой забытой,
 Но не такой ликующей, открытой,
 А смутной, скорбной, как над гробом речь,
 И, сев на камень, хмелем перевитый,
 Я силюсь в звуки, в образы облечь
 Все, что могла душа в крушении сбересть,

Чтобы из досок, бурей разметенных,
 Ладью Надежды зыбкой сколотив,
 Изведать снова злобу волн соленых,
 Грызущих берег в час, когда прилив
 Идет, их силы удесятерив.

Но сам не знаю — в ясный день, в ненастье,—
Хотя давно я стал непрехотлив,
Куда направлюсь, в ком найду участие,
Когда лишь здесь мой дом, а может быть, и счастье.

106

И все же в путь! Пусть голоса ветров,
Ночною песней наполняя дали,
Вбирают моря шум и крики сов,
Которые здесь только что стонали
В душистой тьме, на смолкшем Квиринале,
И, медленны — глаза как две свечи,—
За Палатин бесшумно проплывали.
Что стоят в этой сказочной ночи
Все наши жалобы! Любишься — и молчи.

107

Плющ, кипарис, крапива да пырей,
Колонн куски на черном пепелище.
На месте храмов — камни пустырей,
В подземной крипте — плящущий глазищи,
Неспящий филин. Здесь его жилище.
Ему здесь ночь. А это — баня, храм?
Пусть объяснит знаток. Но этот нищий
Твердит: то стен остатки. Знаю сам!
А здесь был римский трон,— мощь обратилась в хлам.

108

Так вот каков истории урок:
Меняется не сущность, только дата.
За Вольностью и Славой — дайте срок! —
Черед богатства, роскоши, разврата
И варварства. Но Римом все объято,
Он все познал, молился всем богам,
Изведал все, что проклято иль свято,
Что сердцу льстит, уму, глазам, ушам...
Да что слова! Взгляни — и ты увидишь сам.

Плачь, смейся, негодуй, хвали, брани.
 Для чувств любых тут хватит матерьяла.
 Века и царства — видишь, вот они!
 На том холме, где все руиной стало,
 Как солнце, мощь империи блистала.
 О, маятник — от смеха и до слез,—
 О, человек! Все рухнет с пьедестала.
 Где золотые кровли? Кто их снес?
 Где все, чьей волею Рим богател и рос?

Обломок фриз, брошенный во рву,
 Увы! красноречивей Цицерона.
 Где лавр, венчавший Цезаря главу?
 Остался плющ — надгробная корона.
 Венчайте им меня! А та колонна?
 Траян увековечен в ней иль Тит?
 Нет, Время, ибо Время непреклонно
 Меняет все. И там святой стоит,
 Где император был умерший не зарыт,

А поднят в воздух. Глядя в небо Рима,
 В соседстве звезд обрел он вечный свет,
 Последний, кто владел неколебимо
 Всем римским миром. Тем, кто шел вослед,
 Пришлось терять плоды былых побед.
 А он, как Македонец, невозбранно
 Свои владенья множил столько лет,
 Но без убийств, без пьяного дурмана,
 И мир доныне чтит величие Траяна.

Где холм героев, их триумфов сцена,
 Иль та скала, где в предрешенный срок
 Закапчивала путь земной измена,
 Где честь свою вернуть изменник мог,
 Свершив бесстрашно гибельный прыжок.

Здесь Рим слагал трофеи на вершине,
Здесь партий гнев и камни стен прожег,
И, пламенная, в мраморной пустыне
Речь Цицеронова звучит еще донныне.

113

Все Рим изведал: партий долгий спор,
Свободу, славу, иго тирании —
С тех пор, как робко крылья распростер,
До той поры, когда цари земные
Пред ним склонили раболепно выи.
И вот померк Свободы ореол,
И Рим узнал анархию впервые —
Любой пройдоха, захватив престол,
Топтал сенаторов и с чернью дружбу вел.

114

Но где последний Рима гражданин,
Где ты, Риенци, ты, второй Помпилий,
Ты, искупитель тягостных годин
Италии, ее позорных былей,
Петрарки друг! В тебе трибуна чтили.
Так пусть от древа Вольности листья
Не увядают на твоей могиле!
С тобой народ связал свои мечты.
О рыцарь Форума, как мало правил ты!

115

Эгерия! Творенье ли того,
Кто, для души прибежища не зная,
Ей, как подругу, создал божество?
Сама Аврора, нимфа ль ты лесная,
Или была ты женщина земная?
Не все ль равно! Вовек тому венец,
Кем рождена ты в мраморе живая!
Прекрасной мыслью вдохновив резец,
Ей совершенную и форму дал творец.

277

И в элизийских брызгах родника
 Цветут и зреют тысячи растений.
 Его кристалл не тронули века,
 В нем отражен должны этой гений,
 Его зеленых, диких обрамлений
 Не давит мрамор статуй. Для ключа,
 Как в древности, нет никаких стеснений.
 Его струя, пузырясь и журча,
 Бьет меж цветов и трав, среди гирлянд плюща.

Все фантастично! В яхонтах, в алмазах
 Вокруг ручья — холмов зеленых ряд,
 И ящериц проворных, быстроглазых,
 И пестрых птиц причудливый наряд.
 Они прохожим словно говорят:
 Куда спешишь? Остайся, путник, с нами,
 Не торопись в твой город, в шум и чад!
 Манят фиалки синими глазами,
 Окрашенными в синь самими небесами.

Эгерия! Таков волшебный грот,
 Где смертного, богиня, ты встречала,
 Где ты ждала, придет иль не придет,
 И, звездное раскинув покрывало,
 Вас только ночь пурпурная венчала.
 Не здесь ли, в этом царстве волшебства,
 Впервые в мире дольном прозвучало,
 Как первого оракула слова,
 Моленье о любви, признание божества.

И ты склонялась к смертному на грудь,
 В земной восторг пролив восторг небесный,
 Чтобы в любовь мгновенную вдохнуть
 Бессмертный пламень страсти бестелесной.

Но кто, какую силою чудесной
Не затупит стрелу, отраву смыв —
Пресыщенность и скуку жизни пресной,—
И плевелы, смертельные для нив,
Кто вырвет, луг земной в небесный обратив?

120

Наш юный жар кипит, увы! в пустыне,
Где бури чувства лишь сорняк плодят,
Красивый сверху, горький в сердцевине,
Где вреден трав душистых аромат,
Где из деревьев брызжет трупный яд
И все живое губит зной гнетущий.
Там не воскреснет сердца юный сад,
Сверкающий, ликующий, поющий,
И не созреет плод, достойный райских кущей.

121

Любовь! Не для земли ты рождена,
Но верим мы в земного серафима,
И мучеников веры имена —
Сердец разбитых рать неисчислима.
Ты не была, и ты не будешь зрима,
Но, к опыту скептическому глух,
Какие формы той, кто им любима,
Какую власть, закрыв и зор и слух,
Дает измученный, усталый, скорбный дух!

122

Он собственной отравлен красотой,
Он пленник лжи. В природе нет того,
Что создается творческой мечтою,
Являя всех достоинств торжество.
Но юность вымышляет божество,
И, веруя в эдем недостижимый,
Взыскует зрелость и зовет его,
И гонится за истиною мнимой,
Ни кисти, ни перу — увы! — непостижимой.

Любовь — безумье, и она горька.
 Но исцеленье горше. Чар не стало,
 И, боже! как бесцветна и мелка,
 Как далека во всем от идеала
 Та, чей портрет нам страсть нарисовала.
 Но сеять ветер сердце нас манит
 И бурю жнет, как уж не раз бывало,
 И наслажденья гибельный магнит
 Алхимией любви безумца вновь пьянит.

Мы так больны, так тяжело нам дышать,
 Мы с юных лет от жажды изнываем.
 Уже на сердце — старости печать,
 Но призрак, юность обольстивший раем,
 Опять манит — мы ищем, мы взываем,
 Но поздно — честь или слава, — что они!
 Что власть, любовь, колы счастья мы не знаем!
 Как метеор, промчатся ночи, дни,
 И смерти черный дым потушит все огни.

Немногим — никому не удастся
 В любви свою мечту осуществить.
 И если нам удача улыбнется
 Или потребность верить и любить
 Заставит все принять и все простить,
 Конец один: судьба, колдунья злая,
 Счастливых дней запутывает нить,
 И, демонов из мрака вызывая,
 В наш сон вторгается реальность роковая.

О наша жизнь! Ты во всемирном хоре
 Фальшивый звук. Ты нам из рода в род
 Завещанное праотцами горе,
 Анчар гигантский, чей отравлен плод.

Земля твой корень, крона — небосвод,
Струящий ливни бед неисчислимых:
Смерть, голод, рабство, тысячи невзгод,
И зримых слез, и хуже — слез незримых,
Кипящих в глубине сердец неизлечимых.

127

Так будем смело мыслить! Отстоим
Последний форт среди общего паденья.
Пускай хоть ты останешься моим,
Святое право мысли и сужденья,
Ты, божий дар! Хоть с нашего рожденья
Тебя в оковах держат палачи,
Чтоб воспарить не мог из заточенья
Ты к солнцу правды, — но блеснут лучи,
И все поймет слепец, томящийся в ночи.

128

Повсюду арки, арки видит взор,
Ты скажешь: Рим не мог сойти со сцены.
Пока не создал Колизей — собор
Своих триумфов. Яркий свет Селены
На камни льется, на ступени, стены,
И мнится, лишь светильнику богов
Светить пристало на рудник священный,
Питавший столько будущих веков
Сокровищами недр. И синей мглы покров

129

В благоуханье почти итальянской,
Где запах, звук — все говорит с тобой,
Простерт над этой пустошью гигантской.
То сам Сатурн всеильною рукой
Благословил ее руин покой
И сообщил останкам Рима бранным
Какой-то скорбный и высокий строй,
Столь чуждый нашим зданьям современным.
Иль душу время даст их безразличным стенам?

281

О Время! Исцелитель всех сердец,
 Страстей непримиримых примиритель,
 Философ меж софистов и мудрец,
 Суждений ложных верный исправитель.
 Ты украшаешь смертную обитель.
 Ты проверяешь Истину, Любовь,
 Ты знаешь все! О Время, грозный мститель,
 К тебе я руки простираю вновь
 И об одном молю, одно мне уготовь:

Среди руин, где твой пустынный храм,
 Среди богов, вдали мирского шквала,
 Среди жертв, где в жертву приношу я сам
 Руины жизни — пусть я прожил мало:
 Когда хоть раз во мне ты спесь видало,
 Отринь меня, мои страданья множь,
 Но если в бедах сердце гордым стало,
 А был я добр, нося в нем острый нож,
 Заставь их каяться за клевету и ложь.

Зову тебя, святая Немезида!
 О ты, кем взвешен каждый шаг людской,
 Кем ни одна не прощена обида,
 Ты, вызвавшая фурий злобный рой,
 Чтобы Ореста, яростной рукой
 Свершившего неслыханное дело,
 Погнал к возмездию вопль их, свист и вой,
 Восстань, восстань из темного предела,
 Восстань и отомсти, как древле мстить умела.

Когда б за грех моих отцов иль мой
 Меня судьба всезрящая карала,
 Когда б ответил оскорбленный мной
 Ударом справедливого кинжала!

Но в прах безвинно кровь моя бежала,—
Возьми ее и мщеньем освяти!
Я сам бы мстил, но мщенье не пристало
Тому, кто хочет на другом пути...
Нет, нет, молчу, но ты — проснись и отомсти!

134

Не страх, не мука пресекла мой голос!..
Пред кем, когда испытывал я страх?
Кто видел, как душа моя боролась
И судорожно корчилась в тисках?
Но месть моя теперь в моих стихах.
Когда я буду тлеть, еще живые,
Они, звуча пророчески в веках,
Преодолев пространства и стихии,
Падут проклятием на головы людские.

135

Но как проклятье — Небо и Земля! —
Мое прощенье я швырну в лицо им.
Да разве я, пощады не моля,
С моей судьбой не бился смертным боем?
Я клеветы и сплетни стал героем,
Но я простил, хоть очернеп, гоним,
Да, я простил, простясь навек с покоем.
Я от безумья спасся тем одним,
Что был вооружен моим презреньем к ним.

136

Я все узнал: предательство льстеца,
Вражду с приязнью дружеской на лице,
Фигляра смех и козни подлеца,
Невежды свист бессмысленный и дикий,
И все, что Янус изобрел двуликий,
Чтоб видимостью правды ложь облечь,
Немую ложь обученной им клики:
Улыбки, вздохи, пожимающа плеч,
Без слов понятную всеядной сплетне речь.

Зато я жил, и жил я не напрасно!
 Хоть, может быть, под бурею невзгод,
 Борьбою сломлен, рано я угасну,
 Но нечто есть во мне, что не умрет,
 Чего ни смерть, ни времени полет,
 Ни клевета врагов не уничтожит,
 Что в эхе многократном оживет
 И поздним сожалением, быть может,
 Само бездушие холодное встревожит.

Да будет так! Явись же предо мной,
 Могучий дух, блуждающий ночами
 Средь мертвых стен, объятых тишиной,
 Скользящий молча в опустелом храме,
 Иль в цирке, под неверными лучами,
 Где меж камней, перевитых плющом,
 Вдруг целый мир встает перед очами
 Так ярко, что в прозрении своем
 Мы отшумевших бурь дыханье узнаем.

Здесь на потеху буйных толп когда-то,
 По знаку повелителя царей,
 Друг выходил на друга, брат на брата —
 Стяжать венок иль смерть в крови своей,
 Затем, что крови жаждал Колизей.
 Ужели так? Увы, не все равно ли,
 Где стать добычей тленья и червей,
 Где гибнуть: в цирке иль на бранном поле,
 И там и здесь — театр, где смерть в коронной роли.

Сраженный гладиатор предо мной.
 Он оперся на локоть. Мутным оком
 Глядит он вдаль, еще борясь с судьбой,
 Сжимая меч в бессилии жестоком.

Слабея, каплет вязким черным соком,
Подобно первым каплям грозовым,
Из раны кровь. Уж он в краю далеком.
Уж он не раб. В тумане цирк пред ним,
Он слышит, как вопит и рукоплещет Рим,—

141

Не все ль равно! И смерть, и эти крики —
Все так ничтожно. Он в родном краю.
Вот отчий дом в объятых повилики,
Шумит Дунай. Он видит всю семью,
Играющих детей, жену свою.
А он, отец их, пал под свист презренья,
Приконченный в бессмысленном бою!
Уходит кровь, уходят в ночь виденья...
О, скоро ль он придет, ваш, готы, праздник мщенья!

142

Здесь, где прибой народов бушевал,
Где крови пар носился над толпою,
Где цирк ревел, как в океане шквал,
Рукоплеща минутному герою,
Где жизнь иль смерть хулой иль похвалою
Дарила чернь,— здесь ныне мертвый сон.
Лишь гулко над ареною пустою
Звучит мой голос, эхом отражен,
Да звук шагов моих в руинах будит стон.

143

В руинах — но каких! Из этих глыб
Воздвиглось не одно сооруженье.
Но издали сказать вы не могли б,
Особенно при лунном освещенье,
Где тут прошли Грабеж и Разрушенье.
Лишь днем, вблизи, становится ясней,
Расчистка то была иль расхищенье,
И чем испорчен больше Колизей:
Воздействием веков иль варварством людей.

Но в звездный час, когда ложатся тени,
 Когда в прострапстве темно-голубом
 Плывет луна, на древние ступени
 Бросая свет сквозь арку иль в пролом,
 И ветер зыблет медленным крылом
 Кудрявый плющ над сумрачной стеною,
 Как лавр над лысым Цезаря челом,
 Тогда встают мужи передо мною,
 Чей гордый прах дерзнул я попирать пятою.

«Покуда Колизей неколебим,
 Великий Рим стоит неколебимо,
 Но рухни Колизей — и рухнет Рим,
 И рухнет мир, когда не станет Рима».
 Я повторяю слово пилигрима,
 Что древле из Шотландии моей
 Пришел сюда. Столетия мчатся мимо,
 Но существуют Рим и Колизей
 И Мир — притон воров, клоака жизни сей.

Храм всех богов — языческий, Христов,
 Простой и мудрый, величаво-строгий,
 Не раз я видел, как из тьмы веков,
 Взыскуя света, ищет мир дороги,
 Как все течет: народы, царства, боги.
 А он стоит, для веры сохранен,
 И дом искусств, и мир в его чертоге,
 Не тронутым дыханием времен.
 О, гордость зодчества и Рима — Пантеон.

Ты памятник искусства лучших дней,
 Ограбленный и все же совершенный.
 Кто древность любит и пришел за ней,
 Того овеет стариной священной

Из каждой ниши. Кто идет, смиренный,
Молиться, для того здесь алтари.
Кто славы чтитель — прошлой, современной,—
Броди хоть от зари и до зари
И на бесчисленные статуи смотри.

148

Но что в темнице кажет бледный свет?
Не разглядеть! И все ж заглянем спова.
Вот видно что-то... Чей-то силуэт...
Что? Призраки? Иль бред ума больного?
Нет, ясно вижу старика седого
И юную красавицу... Она,
Как мать, пришла кормить отца родного.
Развились косы, грудь обнажена.
Кровь этой женщины нектаром быть должна.

149

То Юность кормит Старость молоком,
Отцу свой долг природный отдавая.
Он не умрет забытым стариком,
Пока, здоровье в плоть его вливая,
В дочерних жилах кровь течет живая —
Любви, Природы жизнетворный Нил,
Чей ток щедрей, чем та река святая.
Пей, пей, старик! Таких целебных сил
В небесном царствии твой дух бы не вкусил.

150

У сердца и от сердца тот родник,
Где сладость жизни пьет дитя с пленок.
И кто счастливей матери в тот миг,
Когда сосет и тянет грудь ребенок,
Весь теплый, свежий, пахнувший спросонок.
(Все это не для нас, не для мужчин!)
И вот росток растет, и слаб и топок,
А чем он станет — знает бог один.
Ведь что ни говори, но Каин — Евы сын.

287

И меркнет сказка Млечного Пути
 Пред этой былью чистой, как светила,
 Которых даже в небе не найти.
 Природа верх могущества явила
 В том, что сама закон свой преступила.
 И, в сердце божье влиться вновь спеша,
 Кипит струи живительная сила,
 И ключ не сякнет, свежестью дыша, —
 Так возвращается в надзвездный мир душа.

Вот башня Адриана, — обозрим!
 Царей гробницы увидав на Ниле,
 Он наградил чужим уродством Рим,
 Решив себе на будущей могиле
 Установить надгробье в том же стиле,
 И мастеров пригнал со всех сторон,
 Чтоб монумент они соорудили.
 О, мудрецы! — и замысел смешон,
 И цель была низка, — и все ж колосс рожден.

Но вот собор — что чудеса Египта,
 Что храм Дианы, — здесь он был бы мал!
 Алтарь Христа, под ним святого крипта.
 Святылище Эфеса я видал —
 Бурьяном зарастающий портал,
 Где рыщут вокруг шакалы и гиены.
 Софии храм передо мной блистал,
 Чаруя всей громадой драгоценной,
 Которой завладел Ислама сын надменный.

Но где, меж тысяч храмов и церквей,
 Тебя достойней божия обитель?
 С тех пор как в дикой ярости своей
 В святой Сион ворвался осквернитель

И не сразил врага небесный мститель,
Где был еще такой собор? — Нигде!
Недаром так дивится посетитель
И куполу в лазурной высоте,
И этой стройности, величию, красоте.

155

Войдем же внутрь — он здесь не подавляет,
И здесь огромно все, но в этот миг
Твой дух, безмерно ширясь, воспаряет,
Он рубежей бессмертия достиг
И вровень с окружающим велик.
Так он в свой час на божий лик воззрится,
И видевшего святости родник
Не покарает божия десница,
Как не карает тех, кто в этот храм стремится,

156

И ты идешь, и все растет кругом.
Так — что ни шаг, то выше Альп вершины.
В чудовищном изяществе своем
Он высится столичный, по единый,
Как все убранство, статуи, картины,
Под грандиозным куполом, чей взлет
Не повторит строитель ни единый,
Затем, что в небесах его оплот,
А зодчеству других земля его дает.

157

Взор не охватит все, но по частям
Он целое охватывает вскоре.
Так тысячами бухт своим гостям
Себя сначала раскрывает море.
От части к части шел ты и в соборе,
И вдруг — о, чудо! — сердцем ты постиг
Язык пропорций в их согласном хоре —
Магической огромности язык,
В котором лишь сумбур ты видел в первый миг.

Випа твоя! Но смысл великих дел
 Мы только шаг за шагом постигаем,
 Кто словом слабым выразить умел
 То сильное, чем дух обуреваем?
 И, жалкие, бессильно мы взираем
 На эту мощь взметенных к небу масс,
 Покуда вширь и ввысь не простираем
 И мысль и чувство, дремлющие в нас,—
 И лишь тогда весь храм охватывает глаз.

Так не спеши — да приобщишься к свету!
 Сей храм, он мысли может больше дать,
 Чем сто чудес пресыщенному свету,
 Чем верующим — веры благодать,
 Чем все, что в прошлом гений мог создать.
 И то познаешь, то поймешь впервые,
 Что ни придумать, ни предугадать,
 Ты россыпи увидишь золотые,
 Всего высокого источники святые.

И дальше — в Ватикан! Перед тобой
 Лаокоон — вершина вдохновенья.
 Неколебимость бога пред судьбой,
 Любовь отца и смертного мученья —
 Всё здесь! А змеи — как стальные звенья
 Тройной цепи, — не вырвется старик,
 Хоть каждый мускул полон напряженья,
 Дракон обвил, зажал его, приник,
 И все страшнее боль, и все слабее крик.

Но вот он сам, поэтов покровитель,
 Бог солнца, стреловержец Аполлон.
 Он смотрит, лучезарный победитель,
 Как издыхает раненый дракон.

Прекрасный лик победой озарен,
Откинут стан стремительным движеньем.
Бессмертный, принял смертный облик он,
Трепещут ноздри гневом и презреньем,—
Так смотрит только бог, когда пылает миценьем.

162

О, совершенство форм! — То нимфы сон,
Любовный сон,— любовь такими снами
В безумие ввергает дев и жен.
Но в этих формах явлен небесами
Весь идеал прекрасного пред нами,
Сияющий нам только в редкий час,
Когда витает дух в надмирном храме,
И мыслей вихрь — как сонмы звезд вокруг нас,
И бога видим мы, и слышим божий глас.

163

И если впрямь похитил Прометей
Небесный пламень — в этом изваянье
Богам оплачен долг за всех людей.
Но в мраморе — не смертного дыханье,
Хоть этот мрамор — смертных рук созданье —
Поэзией сведен с Олимпа к нам,
Он целым, в первоизданном обаянье,
Дошел до нас наперекор векам
И греет нас огнем, которым создан сам.

164

Но где мой путешественник? Где тот,
По чьим дорогам песнь моя блуждала?
Он что-то запропал и не идет.
Иль сгинул он и стих мой ждет финала?
Путь завершен, и путника не стало,
И дум его, а если все ж он был,
И это сердце билось и страдало,—
Так пусть исчезнет, будто и не жил,
Пускай уйдет в ничто, в забвенье, в мрак могил,

Где жизнь и плоть — все переходит в тени,
 Все, что природа смертному дала,
 Где нет ни чувств, ни мыслей, ни стремлений,
 Где призрачны становятся тела,
 На всем непроницаемая мгла,
 И даже слава меркнет, отступая
 Над краем тьмы, где тайна залегла,
 Где луч ее темней, чем ночь иная,
 И все же нас влечет, желанье пробуждая

Проникнуть в бездну, чтоб узнать, каким
 Ты будешь среди тлена гробового,
 Ничтожней став, чем когда был живым.
 Мечтай о славе, для пустого слова
 Сдувай пылинки с имени пустого,—
 Авось в гробу ты сможешь им блеснуть.
 И радуйся, что не придется снова
 Пройти тяжелый этот, страшный путь,—
 Что сам господь тебе не в силах жизнь вернуть.

Но чу! Из бездны точно гул идет,
 Глухой и низкий, непостижно странный,
 Как будто плачет гибнущий народ
 От тягостной, неисцелимой рапы,
 Иль стонет в бездне духов рой туманный.
 А мать-принцесса мертвенно-бледна.
 В ее руках младенец бездыханный,
 И, горя материнского полна,
 Грудь к его губам не поднесет она.

Дочь королей, куда же ты спешила?
 Надежда наций, что же ты ушла?
 Иль не могла другую взять могилу,
 Иль менее любимой не нашла?

Лишь два часа ты матерью была,
Сама над мертвым сыном неживая.
И смерть твое страданье пресекала,
С тобой надежду, счастье убивая —
Все, чем империя гордилась островная.

169

Зачем крестьянок роды так легки,
А ты, кого миллионы обожали,
Кого любых властителей враги,
Не пряча слез, к могиле провожали,
Ты, утешенье Вольности в печали,
Едва надев из радуги венец,
Ты умерла. И плачет в тронном зале
Супруг твой, сына мертвого отец.
Какой печальный брак! Год счастья — и конец!

170

И стал паряд венчальный власяницей.
И пеплом — брачный плод. Она ушла.
Почти боготворимая столицей,
Та, кто стране наследника дала,
И нас укроет гробовая мгла,
Но верилось, что выйдет он на форум
Пред нашими детьми и, чуждый зла,
Укажет путь их благодарным взорам,
Как пастухам — звезда. Но был он метеором.

171

И горе нам, не ей! Ей сладок сон,—
Изменчивость толпы, ее влеченья,
Придворной лестии похоронный звон,
Звучащий над монархами с рожденья
До той поры, пока в восторге мщенья
Не кинется к оружию народ,
Пока не взвесит рок его мученья
И, тяжесть их признав, не возведет
Позорящих свой трон владык на эшафот.

293

Грозило ль это ей? О, никогда!
 Сама вражда пред нею отступила.
 Была добра, прекрасна, молода,
 Супруга, мать — и все взяла могила!
 Как много уз в тот день судьба разбила
 От трона и до нищенских лачуг!
 Как будто здесь землетрясение было,
 И цепью электрическою вдруг
 Отчаянье и скорбь связали все вокруг.

Но вот и Неми! Меж цветов и трав
 Покоится овал его блестящий,
 И ураган, дубы переломав,
 Подняв валы в пучине моря спящей,
 Ослабевае здесь, в холмистой чаще,
 И даже рябь воды не замутиг,
 Как ненависть созревшая, хранящей
 Спокойствие, бесчувственной на вид,—
 Так кобра — вся в себе,— свернувшись в кольца, спит.

Вон там, в долине, плещетсА Альбано,
 Там Тибр блестит, как желтый самоцвет,
 Вон Лациум близ моря-океана,
 Где «Меч и муж» Вергилием воспет,
 Чтоб славил Рим звезду тех грозных лет.
 Там, справа, Туллий отдыхал от Рима,
 А там, где горный высится хребет,
 Та мыза, что Горацием любима,
 Где бард растил цветы, а время мчалось мимо.

Но к цели мой подходит пилигрим,
 И время кончить строфы путевые.
 Простимся же с приятелем моим!
 Последний взгляд возлюбленной стихии,
 На чьи валы туманно-голубые
 Мы в этот час глядим с Альбанских гор.
 О море Средиземное! Впервые
 В проливе Кальп ты наш пленило взор,
 И на Эвксинский Понт нас вывел твой простор

У синих Симплегад. Прошло немного,
 Зато каких тяжелых, долгих лет!
 Какая нами пройдена дорога,
 И скольких слез храним мы горький след!
 Но без добра недаром худа нет.
 Мы также не остались без награды:
 По-прежнему мы любим солнца свет,
 Лес, море, небо, горы, водопады,
 Как будто нет людей, что все испортить рады.

О, если б кончить в пустыни свой путь
 С одной — прекрасной сердцем и любимой, —
 Замкнув навек от ненависти грудь,
 Живя одной любовью неделимой.
 О море, мой союзник нелюдимый,
 Ужели это праздная мечта?
 И нет подруги для души гонимой?
 Нет, есть! И есть заветные места!
 Но их найти — увы — задача не проста.

Есть наслажденье в бездорожных чащах,
 Отрада есть на горной крутизне,
 Мелодия в прибое волн кипящих
 И голоса в пустынной тишине.
 Людей люблю, природа ближе мне.
 И то, чем был, и то, к чему иду я,
 Я забываю с ней наедине.
 В себе одном весь мир огромный чуя,
 Ни выразить, ни скрыть то чувство не могу я.

Стремите, волны, свой могучий бег!
 В простор лазурный тщетно шлет армады
 Земли опустошитель, человек.
 На суше он не ведает преграды,
 Но встанут ваши темные громады,
 И там, в пустыне, след его живой
 Исчезнет с ним, когда, моля пощады,
 Ко дну пойдет он каплей дождевой
 Без слез папутственных, без урны гробовой.

Нет, не ему поработить, о море,
 Простор твоих бушующих валов!
 Твое презренье тот узнает вскоре,
 Кто землю в цепи заковать готов.
 Сорвав с груди, ты выше облаков
 Швырнешь его, дрожащего от страха,
 Молящего о пристани богов,
 И, точно камень, пущенный с размаха,
 О скалы раздробишь и кинешь горстью праха.

Чудовища, что крепости громят,
 Ниспровергают стены вековые —
 Левиафаны боевых армад,
 Которыми хотят цари земные
 Свой навязать закон твоей стихии,—
 Что все они! Лишь буря заревет,
 Растаяв, точно хлопья снеговые,
 Они бесследно гибнут в бездне вод,
 Как мощь Испании, как трафальгарский флот.

Ты Карфаген, Афины, Рим видало,
 Цветущие свободой города.
 Мир изменился — ты другим не стало.
 Тиран поработил их, шли года,
 Грозой промчалась варваров орда,
 И сделались пустынями державы.
 Твоя ж лазурь прозрачна, как всегда,
 Лишь диких волн меняются забавы,
 Но, точно в первый день, царишь ты в блеске славы.

Без меры, без начала, без конца,
 Великолепно в гнев и в покое,
 Ты в урагане — зеркало Творца,
 В полярных льдах и в синем южном зное
 Всегда неповторимое, живое,
 Твоим созданьям имя — легион,
 С тобой возникло бытие земное.
 Лик Вечности, Невидимого трон,
 Над всем ты царствуешь, само себе закон.

Тебя любил я, море! В час покоя
 Уплыть в простор, где дышит грудь вольней,
 Рассечь руками шумный вал прибоя —
 Моей отрадой было с юных дней.
 И страх веселый пел в душе моей,
 Когда гроза внезапно налетала,
 Твое дитя, я радовался ей,
 И, как теперь, в дыханье буйном шквала
 По гриве пенистой рука тебя трепала.

Мой копчен труд, дописан мой рассказ,
 И гаснет, как звезда перед зарею,
 Тот факел, о который я не раз
 Лампаду поздней зажигал порою.
 Что написал, то написал, — не скрою,
 Хотел бы лучше, но уж я не тот,
 Уж, верно, старость кружит надо мною,
 Скудеет чувств и образов полет,
 И скоро холодом зима мне в грудь дохвет.

Прости! Подходит срок неумолимо.
 И здесь должны расстаться мы с тобой.
 Прости, читатель, спутник пилигрима!
 Когда его признаний смутный рой
 В тебе хоть отзвук находил порой,
 Когда хоть раз им чувства отвечали,
 Я рад, что посох взял избранник мой.
 Итак, прощай! Отдав ему печали,—
 Их, может быть, и пет,— ищи зерно морали.



Тяур

Тоска о минувшем, как черная мгла,
На радости и на печали легла;
И в смене то горьких, то сладостных дней
Все та же она — ни светлей, ни темней.

Т. Мур

Сэмюэлу Роджерсу, эсквайру

Как слабую, но искреннейшую
дань удивления пред его талантом,
уважения к его душевным качествам
и благодарности за его дружбу
это произведение посвящает его преданный слуга *Байрон*.

Лондон, май 1813

ПРЕДИСЛОВИЕ

Рассказ, составляющий содержание этих разрозненных отрывков, основан на происшествиях, менее обычных на Востоке в настоящее время, чем прежде, — может быть, потому, что дамы стали теперь более осмотрительны, чем в старину, или же потому, что христианам теперь больше улыбается счастье, или же они менее предприимчивы. В законченном виде рассказ должен был заключать в себе историю невольницы, брошенной, по мусульманскому обычаю, в море за неверность и за которую мстит молодой венецианец, ее возлюбленный. Событие это отнесено к тому времени, когда Семь Островов были под властью Венеции и вскоре после того, как арнауты были прогнаны из Морей, которую они опустошили несколько времени спустя после вторжения русских. Отпадение майнотов после того, как им не позволили разграбить Мизитру, помешало предприятию русских и привело к разгромлению Морей, во время которого жестокость, проявленная всеми, была беспримерной даже в летописях правоверных.

Все тихо... Не шумит прибой
Там, где над грозною скалой
Вознесся памятник герою
Афин прекрасных. Над страной
Надгробный камень тот царит,
О славных битвах говорит
И издалека парус белый
Приветом радостным дарит.
Родится ль вновь защитник смелый?..

· · · · ·
О, дивный край, где круглый год
Весна природе ласку шлет.
Когда же путник умиленный
С высот Колонны отдаленной
Зрит ту страну, то веселит
Сердца ее счастливый вид,
С уединеньем примиряя.
Чуть-чуть волнуясь, гладь морская
Вершины отражает гор.
И прихотливый их убор,
И переливы красок чудных
В струях дробятся изумрудных,
Что омывают этот край —
Востока благодатный рай.
Когда зефир смутит порою,
Гладь моря легкою игрою,
Когда случайный ветерок
С густых ветвей сорвет цветок,—
Его чуть слышное дыханье
Несет с собой благоуханье.
По склонам гор, среди лугов
Цветет там роза — королева
Сладкоголосых соловьев.
Певцу ночей внимает дева
И рдеет вся от слов любви,
Он трели звонкие свои
Лишь перед нею рассыпает...
И роза нежная не знает
Ни вьюг, ни северных снегов,
Зефир всегда ее ласкает;
Нет у красавицы врагов
Среди времен различных года,
Ее лелеет вся природа.

Она же небу воздает,
Что от природы в дар берет,
И небеса с улыбкой ясной
Берут ее наряд прекрасный,
Ее тончайший аромат...
Цветов там летних дивный сад,
Местечек много там укропных,—
Любви живой приютов скромных.
Немало разных тайников,—
Пирату в них притон готов.
Он притаился под скалою
С своею легкою ладьею.
Он ждет, но лишь издалека
Заслышит лютню моряка
И лишь над морем загорится
Звезда в небесной вышине,
Тогда в вечерней тишине
Он за добычею стремится,
Потом вдруг бросится... и стон
Сменяет лютни легкий звон.
Не странно ли, что в этом рае,
Где, все приманки собирая,
Природа создала дворец,
Творенья мудрого венец,
Богов достойное жилище,—
Влюбленный в смуту род людской,
Ее цветы поправ ногой,
Рай превращает в пепелище...
Меж тем прелестная страна,
Без помощи трудов, одна
Цветет красою превосходной,
Бежит руки его холодной,
Сама дары свои несет
И лишь пощады кротко ждет.
Не странно ль: там, где мир счастливый
Разлит повсюду,— там бурливой,
Разгульной страстью все кипит.
Порок и злоба там царит,
Как будто светлых духов рая
Прогнала бесов шайка злая
И захватил их дикий рой
На небесах престол святой...
Так нежно все кругом в природе,
Так чуждо мысли о невзгоде...

Тем большее проклятье вам,
Страны той низким палачам!

Кто над умершим наклонился,
Когда он только что простился
С земной юдолью, смерти тень
Когда лежит на нем лишь день,
Пока рукою тяжкой тленье
Не совершило разрушенья
Его печальной красоты,—
Тот видит ясные черты,
Тот видит счастье неземное,
Улыбку тихую покоя
И бледность нежную ланит.
И если бы не грустный вид
Закрытых глаз, чей сумрак вечный
Скрыл все — и гнев, и смех беспечный,
Чей взор отныне чужд всего,
Когда б не хладный лоб его,
Что сердце ужасом сжимает
И грустью тайной наполняет,
Когда б не это — мы порой
Могли б не верить смерти злой,
Забуть о силе самовластной,—
Такой спокойной и прекрасной
Она является средь нас,
Когда пробьет кончины час.
Таков Эллады край чудесный,
Уже умершей, но прелестной
В печальной кротости своей:
Навеки жизнь угасла в ней...
Но холодеющее тело
Краса покинуть не успела.
В ней отблеск жизни молодой,
В ней тленье ореол златой,
И чувств последнее мерцанье,
Небесной искры догоранье:
Ее лучи еще блестят,
Но землю все ж не оживят.

О, край героев вдохновенных,
Досель веками незабвенных,
Страна, где всюду, от долин
До гротов и крутых вершин,
Приют свобода находила!
О, славы пышная могила!

Геройства храм! Иль от него
Уж не осталось ничего?
Рабы с позорными цепями!
Ведь Фермопилы перед вами!
Потомки доблестных отцов!
Иль вы забыли очертанья
Вольнолюбивых берегов
И вод лазоревых названье?
Ведь это славный Саламин!
Воспоминанья тех картин
Пусть пред вами вновь восстанут
И вновь душе родными станут.
Пусть отцов священный прах
Огонь зажжет у вас в сердцах.
Пусть увеличит вождь бесстрашный
Имен великих ряд прекрасный,—
В борьбе неравной поражен,
Бессмертье их разделит он.
И задрожит тиран надменный!
Герой свой помысл сокровенный
В сынах сумеет заронить;
Они не согласятся жить
В позорном рабстве, и святая
Борьба, однажды начатая,
Хоть затихает иногда,
Победой кончится всегда.
О, Греция! Века седые,
Страницы подвигов живые,
Пусть расскажут это нам.
Египта Древнего царям
Достался ряд гробниц унылых,
Но прах твоих героев милых,
Назло безжалостной судьбе
Разбившей мрамор их надгробный,
Напоминает о себе
В горах отчизны бесподобной,
И нам укажет муза с них
Могилы витязей твоих.
Зачем следить нам за паденьем
Благословенной стороны?
Не царств враждующих сыны
Ее свободный дух сломили,
Ее погибель предрешили...

В презренной распре сыновей
Причина рабства и цепей...

Но ни новейших дней сказапья,
Ни были канувших веков
Нам житель грустных берегов
Не передаст... Лишь встарь деянья
Внушали творчеству полет,
Когда людей свободных род,
Для громких подвигов хранимый,
Достоин был страны родимой...
Где гордый дух твоих детей,
Для славы созданных людей,
Героев с твердыми сердцами?
Они ничтожными рабами
Раба презренного живут;
Себя к животным приближая,
Но доблесть диких презирая,
Они ярмо свое несут.
Уже давно в среде народной
Не нарождался дух свободный;
Плывут их ветхие суда,
В живой торговле города.
О вечных плутнях вспоминая,
О них гремит молва людская,
Лишь этим в современный век
Себя прославил хитрый грек.
И тщетно стала бы свобода
Будить заснувший гнев народа...
Довольно слез о той стране!
Теперь пришло на память мне
Одно печальное сказанье.
Поймете вы мое старанье,
Когда я слушал в первый раз
Тот незатейливый рассказ.

.

Ложатся тени скал густые
На волны моря голубые,
И очертанья тех теней
Пугают мирных рыбаей
Майнота призраком ужасным —
Пирата хищного морей.
Рыбак не хочет плыть к опасным,
Хотя и близким берегам,
Он ударяет по волнам,

Рукою налегает сильной
И свой улов везет обильный
Туда, где хищных нет врагов,
К скалам Леоне отдаленным,
Луной спокойной озаренным;
Так нужен блеск ее лучей
Для этих ласковых ночей.

· · · · ·
Чу.... Топот звонкий раздаётся...
Какой же всадник там несется
На скакуне во весь опор?
И эхо близлежащих гор
Подков удары повторяет...
Густая пена покрывает
Бока крутые скакуна,
Как будто бурная волна
Его недавно обмывала.
Уж зыбь на море затихала.
Но всадник мчался молодой,
Его душе был чужд покой.
Хоть облака грядущей бури
Смутят завтра блеск лазури,—
Зловещий мрак души твоей
Все ж этих черных туч грозней.
Гяур! Хоть я тебя не знаю,
Но твой народ я презираю.
В твоём лице я вижу след
Страстей... Щадит их время лет,
И, несмотря на возраст нежный,
В тебе таится дух мятежный.
Стрелой ты мимо пролетел,
Но рассмотреть я все ж успел
Коварный взор, сулящий мщенье,
Он выдал мне твоё рожденье;
Сыны Османа истреблять
Должны ваш род иль вас бежать.
Вперед, вперед! Я с удивленьем
Следил за странным появленьем.
Как демон мчался он ночной.
Но образ этот, как живой,
Потом в душе моей остался;
И долго после раздавался
В ушах подков железных звои...
Коня пришпоривает он,

Вот пропасть видит пред собою,
Обрыв с нависшею скалою.
Он повернул тогда коня
В обход горы и у меня
Из глаз сокрылся за горою.
Все беглецу грозит бедою —
И взгляд непрошенных очей,
И блеск звезды во тьме ночей.
Но с ним не сразу я простился;
Коня он гордого сдержал,
На стременах своих привстал
И вдруг назад оборотился,
Взор неподвижный устремив
Поверх темпеющих олив.
Луна сияет над скалами,
Вдали мечеть горит огнями,
Пальбы ружейной огоньки
Мелькают, слишком далеки,
Чтоб эхо разбудить лесное.
Сокрылось солнце золотое,
И, провожая Рамазан,
Встречает набожный осман
Байрама праздник долгожданный.
Но кто же ты, о путник странный,
В одежде чуждой и с лицом,
Застывшим в ужасе немом?
Что взор твой ныне привлекает?
Что бег твой быстрый направляет?
Он все стоит... В его глазах
Сначала виден был лишь страх,
Но вскоре дикий гнев родился;
В лице он краской не разлился —
Резцом из мрамора оно,
Казалось, было создано.
Он наклонился над лукою,
Поникнув гордой головою,
И вдруг с отчаянной тоской
Потряс он в воздухе рукой,
Не зная сам, на что решиться —
Бежать вперед иль возвратиться.
Сердито конь его заржал —
Давно хозяина он ждал.
Но путник, руку опуская,
Задел за саблю в этот миг;

Как филина зловещий крик
Нас будит, сон наш разгоняя,
Так верной стали резкий звук
Прогнал его раздумье вдруг.
И шпоры он тогда стальные
Коню вонзил в бока крутые,
И легкий копь вперед летит,
Как ловко брошенный джирит.
Исчез наездник за скалою
С христианской каскою стальною
И с гордо поднятым челом.
Уже на берегу крутом
Подков стальных не слышно звука...
Он лишь на миг перед горой
Сдержал могучею рукой
Коня — и, как стрела из лука,
Помчался вновь в ночную тьму.
Пришли, мне кажется, к нему
В тот быстрый миг воспоминанья
О жизни, полной слез, страданья,
И преступлений, и страстей.
Когда нахлынет на людей
Поток любви, давно хранимый,
Иль старый гнев, в груди носимый,
Тогда в минуту человек
Переживает целый век.
Что испытал он в продолженье
Того короткого мгновенья,
Когда нахлынула волна
Страстей? Казалась так длинна
Минута для души усталой,
И вместе с тем какою малой
В сравненье с вечностью была!
Лишь мысль безбрежная могла
Так озарить внезапно совесть,
Прочесть нерадостную повесть,
Скорбь без надежды, без конца.
Но миг прошел, и беглеца
Сокрыла мгла. Сражен судьбою
Он лишь один, или с собою
Других он к гибели увлек?
Да будет проклят злобный рок,
И тяжкий час его явленья,
И горький миг исчезновенья!

Раба, погрязшего в грехах,
Гассана, покарал Аллах
И обратил его обильный
Роскошный замок в склеп могильный.
Когда гяур вошел туда,
Вошла с ним черная беда.
Так, коль самум в степи промчится,
Все в прах печальный обратится,
И кипарис не избежит
Той доли... Тихо сторожит
Он мертвецов покой глубокий,
Стоит недвижимый, одинокий...
Его немая грусть прочней,
Чем слезы ветреных людей.

Коней приветливое ржанье,
Рабов заботливых старанье
Исчезли в замке с этих пор...
Там паутины лишь узор
Заткал в пустынных залах ниши,
Жилищем стал летучей мыши
Гарем, и занят был совой
На башне пост сторожевой,
И у фонтана пес голодный
Уныло воет, но холодной
Себе напрасно влаги ждет:
В бассейне мох один растет.
Давно ли вверх струя живая,
Зной неподвижный умеряя,
Высоко била и потом
Прохладным падала дождем
На землю с мягкой муравою!
Как хорошо ночной порою
Дробился светлый луч звезды
В струе серебряной воды,
С журчаньем бившей из фонтана.
Прошла здесь молодость Гассана.
Еще грудным младенцем он
Любил уснуть под нежный звон,
Он здесь вкусил очарованье
Мелодий сладостных любви,
И говорливые струи
Смягчали звуков замиранье.
Но седовласым стариком
Присесть к фонтану вечерком

Уже Гассану не придется;
Струя живая не забьется;
Была пужна Гассана кровь
Врагу. И никогда уж вновь
Здесь не раздастся восклицанье
Печали, радости, страданья.
Исчез разумной жизни звук
Здесь с плачем женским, полным мук;
Далеко ветром разнесенный,
Он стих. В безмолвье погруженный
Дворец покинутый стоит.
Лишь ветер ставней здесь стучит,
Потоки льются дождевые
Сквозь окна в комнаты пустые.
Как рады мы, когда песок
В пустыне след укажет ног.
И здесь, хотя б самой печали
Мы скорбный голос услышали,
Он нас бы все ж утешить мог.
Сказал бы он: «Не все здесь рок
Унес, не все земле досталось,
И не совсем здесь жизнь прервалась».
Хоть блеск былой внутри дворца
Еще не стерся до конца,
Хотя лишь постепенно тленье
Ведет работу разрушенья,
Но не сулит покой и мир
Его наружный вид: факир,
Усталый путник, дервиш нищий
Бегут жилья, где сытной пищей
С любовью их не угостят,
И мимо вымерших палат
Идут и бедный и богатый.
Исчез хозяин тороватый,
Гостеприимства канул след
С тех пор, как здесь Гассана нет.
Его дворец стал жертвой тленья,
Там не найти отдохновенья,
Там опустел ряд пышных зал,
И скрылся раб освобожденный,
Когда с чалмою рассеченной
Гассан от рук гяура пал.

.

Вот группа движется в молчанье,
 Все ближе... Вижу я блистанье
 Их ятаганов дорогих.
 Тюрбаны щегольские их
 Перед моим пестреют взглядом,
 В зеленом платье пред отрядом
 Идет поспешно сам эмир.
 «Кто ты?» — «С тобой да будет мир,
 Салам алейкум! Звук привета
 Пусть служит вам взамен ответа!
 Я мусульманин... Но с собой
 Вы груз несете дорогой?
 Там мой баркас готов к услугам».
 «Да, да, ты прав... так будь же другом,
 Скорее челн свой снаряжай...
 Нет, паруса не наставляй,
 Возьми весло и чрез пучины
 Гребь, пока до половины
 Ты не доедешь... Надо ж нам
 Держать свой путь к тем берегам,
 Где море дремлет под скалою
 Над бесконечной глубиною.
 Теперь ты можешь отдохнуть,
 Как быстро кончили мы путь!
 Он был, однако, слишком длинен,
 Чтобы

 Над ношей тяжкою вода
 Сомкнулась, и по ней тогда
 Пошли круги к немому берегу.
 И в расступившихся струях,
 И в тихо плещущих волнах
 Я странную заметил негу...
 Ах, нет! То в синеве волны
 Дробится робкий луч луны.
 А груз все дальше погружался,
 Он меньше, меньше мне казался,
 В воде блестел он как алмаз
 И, накопец, исчез из глаз.
 И тайна та лежит глубоко
 На дне, от глаз людских далеко,
 Лишь духи темные морей
 Могли бы рассказать о ней.

Они ж в тиши пещер ютятся,
Среди кораллов, в глубине,
И даже щеотом волне
Поведать тайну не решатся.

.

Как королева мотыльков
На мягком бархате лугов
Весной восточную порхает
И за собою увлекает
Ребенка от цветка к цветку,
Потом нежданно исчезает,
Оставив слезы и тоску
Неутоленного желанья,—
Так женской красоты блистанье
Ребенка взрослого манит,
Волненье сладкое сулит,—
И он бросается за нею,
Одной надеждой пламенея,
Безумным вихрем поглощен,
Слезой всегда кончает он...
Но коль погоня удастся,
То ждет не меньшая тоска
И девушку и мотылька —
Обоим горе достается;
Капризы взрослых и детей
Уносят счастье мирных дней.
Игрушкой хрупкой обладанье
Отгонит прочь очарованье.
Неосторожные персты
Сотрут блеск юной красоты,
Тогда конец: она свободна,—
Ступай, лети, куда угодно,
Иль падай сверху в пыльный прах...
Но где ж они, с тоской в сердцах
Иль с поврежденными крылами,
Найдут покой под небесами?
Иль может бабочка опять
Беспечно по лугам порхать
На крыльях, бурей поврежденных?
Иль вновь среди стен опустошенных
Приют красавица найдет,
Коль рок слепой ее сомнет?
Невинно бабочки резвятся,
Но к бедным жертвам не садятся,

И сердце девичье порой
К беде отзывчиво людской,
Но никогда из сожаленья
Не извинят они паденья,—
И их не трогает позор
Их заблудившихся сестер.

· · · · ·
Когда во мраке преступленья
Родятся муки угрызенья,
Мятеся дух, как скорпион,
Кольцом горящим окружен.
Со всех сторон огонь пылает,
Его повсюду обжигает,
Он всюду мечется, доколь
Не станет нестерпимой боль...
Тогда ему осталось жало:
Оно доселе расточало
Смертельный яд его врагам,
Но скорпион его вдруг сам
В себя с отчаяньем вонзает.
Так мрачный грешник умирает,
Так темный дух его живет!
Его раскаянье грызет,
Глубокий мрак над головою,
Внизу отчаянье немое,
И пламя жгучее кругом,
И холод смерти в нем самом...

· · · · ·
Гарема сладостные пляски,
Красавиц пламенные ласки —
Ничто Гассана не влечет,
Охота в лес его зовет,
В горах он целый день проводит,
Но все ж забвенья не находит.
Иначе жизнь его текла,
Когда Леила с ним жила:
Гарема игры были милы...
Но разве там уж нет Леилы?
Так где ж она? Об этом нам
Сказать бы мог Гассан лишь сам.
Различно в городе судили.
Она бежала, говорили,
Когда ночная скрыла тень
Последний Рамазана день

И минарет с его огнями
Меж правоверными сынами
Благою весть распространял:
Байрама праздник возвещал.
Она в ту ночь пошла купаться,
Чтобы домой не возвращаться.
Переодетая пажом,
За мусульманским рубежом
Она от мести грозной скрылась
И стать подругой согласилась
Она гяура своего.
Гассан, хотя не знал всего,
Но все ж не чужд был подозренья,
Она же все его сомненья
Умела лаской усыплять.
Рабе привык он доверять
И в час, когда ждала измена,
Пошел в мечеть, чтоб там колена
Перед святыней преклонить
И после кубок осушить
В своем дворце... Так рассказали
Нубийцы. Плохо охраняли
Они бесценнейший алмаз!
Но в этот самый день и час,
Когда по небу разливался
Таинственный Фингари свет,
Гяур вдоль берега промчался...
Но видно было всем, что нет
При всаднике пажа с собою
Иль девы, скрытой за спиною.

.
Бегу усилий я напрасных
Тебе словами передать
Всю прелесть глаз ее прекрасных.
Случалось ли тебе видеть
Глаза печальные газели?
Вот так ее глаза темнели
И так казались томны,
В них столько ж было глубины.
Коль их ресницы не скрывали,
Чистейшим пламенем сверкали
Они, как редкостный рубин;
Души в них нежной было много...
Когда б Пророк сказал мне строго,

Что все в Леиле прах один,
Клянусь, я спорил бы с Пророком,
Хотя б над огненным потоком
На Эль-Сирате я стоял,
И рай меня в объятья звал,
И пламень ждал бы под ногами.
Кто любовался только раз
Леилы грустными очами,
Тот усомнился в тот же час,
Что бедных женщин назначенье
Служить орудьем наслажденья,
Что нет души у них в телах.
Сияньем бога в небесах
Был полон взор ее прекрасный,
Ланит ее румянец ясный
С цветком граната спорить мог,
И волосы до самых ног
Душистой падали волною,
Когда, блистая красотой,
Леила распускала их
Среди прислужниц молодых,
А ножки нежные стояли
На белом мраморе... Блестали
Они, как чистый снег в горах,
Когда, рожденный в облаках
И не успевший загрязниться,
На землю мягко он ложится,
И, дивной грации полна,
Как лебедь по водам, она
Походкой двигалась прелестной...
О, Франгестана цвет чудесный!
Как лебедь волны бьет крылом,
Когда на берегу родном
Шаги слышит, так Леила
Не раз нескромный взор сразила
Одним лишь жестом, и смельчак
Ей отдавал почтенья знак.
В ней все гармонией дышало,
Любовью нежной трепетало.
К кому ж летят ее мечты?
Увы, Гассап, тот друг — не ты.

В далекий путь Гассан пустился,
Отряд с ним вместе снаряжился;

В отряде этом у него
Лишь двадцать воинов всего,
Как мужам битвы подобает,
У каждого из них сверкает
И ятаган, и ствол ружья.
У их же мрачного вождя
На шарфе сбоку прикрепленный,
Бандитов кровью окропленный
Палаш виднелся. Был жесток
Для арнаутов тот клинок,
Когда Гассану отступление
Они отрезали и мщенье
В долине Парны их ждало.
Из них не многие сумели
Сказать, что там произошло...
Отделкой дорогой блестели
Пистолы — память прежних дней,
Но, несмотря на блеск камней,
Разбойник вида их пугался,
И шла молва: Гассан умчался
Себе невесту добывать.
Она не станет изменять,
Как та, что клятвы не сдержала,
Что темной ночью убежала,
Чтобы с гяуром молодым
Смеяться издали над ним.

.

Лучи заката освещали
Вершины гор и зажигали
В ручье прозрачную струю.
Волну холодную свою
Ручей прохожим предлагает.
Здесь горец жажду утоляет,
Торговец-грек сюда порой
Зайдет. Здесь ждет его покой
И отдых ждет от жизни трудной.
Там в городах, средь многолюдной
Толпы врагов несчастный грек
Лишь раб, а здесь он человек!
За свой товар он не боится,
Вина запретного напиток
Из кубка может... Ведь оно
Османам лишь запрещено.

.

Верх желтой шапки показался.
В ущелье тесном пробирался
Татарин... А за ним гуськом
Другие крались тайком.
Вот впереди скала крутая,
Там коршунов голодных стая
Свой точит клюв; их ждет обед,
Лишь только дня угаснет свет.
Поток, зимою разъяренный,
Но летом зноем иссушенный,
Оставил черное русло...
Кустов там множество росло,
Их также зной спалит жестоко.
Вились по берегам потока
Тропинки; их загромождал
Хаос камней, обломков скал,
Оторванных иль вихрем горным,
Или годов трудом упорным
От неприступных диких гор,
Одетых в облачный убор...
Когда глаза людей видали
Пик Лиакуры без вуали?

.
Вот лес пред ними. «Бисмиллах!
Теперь откинуть можно страх,
Сейчас долина перед нами,
Простор там будет нам с конями!»—
Сказал чауш... Но в тот же миг
Сраженный пулею поник
Передовой. Все заспешили,
С коней мгновенно соскочили,—
Но вот уж трое на земле,
Им не сидеть уж на седле.
Напрасны их мольбы о мщенье,
Врагов не видно приближенья.
Одни спешат, грозя ружьем,
От пуль укрыться за конем,
Другие за скалой спасенья
Бегут искать, чтоб нападенья
Там терпеливо ожидать,
Не соглашаясь погибать
Под частым градом пуль незримых
Своих врагов неуязвимых.
Гассап один остался тверд,

Не слез с коня... Он слишком горд.
Вперед коня он направляет,
Пока мушкетов трескотня
Ему секрет не открывает:
Их всех накрыла западня!
Он, с запылавшими глазами
И потрясая бородой,
От гнева кверху поднятой,
Вскричал: «Пусть пули вокруг летают!
Меня ль опасность испугает?
Я выходил не из такой!»
Враги, оплот покинув свой,
Его вассалам предложили,
Чтоб те оружие сложили...
Гассана бледное чело,
Значенье клятв произнесенных
Внушить им больший страх могло,
Чем меч врагов ожесточенных.
Не согласился ни один
На землю бросить карабин,
И «Амаун» — призыв к пощаде —
Сказать никто не смел в отряде.
Враги все ближе; из-за скал
Уже последний выезжал.
Но кто же их начальник бравый?
В руке своей он держит правой
Меч иноземный... Сталь клипка
Блестит всем издавека...
 «То он, клянусь! Узнал я это
По коже мертвенного цвета
Его чела... Узнал я взгляд,
Лелеющий измены яд,
И бороду смолы чернее.
О, пизкой веры ренегат!
К тебе не будет смерть добрее
За арнаутский твой паряд!
О, смерть тебе, гяур проклятый, —
Клянусь Леилы в том утратой!»
 Коль в море массу бурных вод
Река стремительно несет
И на пути прилив встречает, —
С валами гордыми вступает
Она в борьбу. И все кругом
Тогда ревет, кипит ключом,

И ветер пеной брызжет, воя...
А волны шумного прибоя,
Смирив потока гнев слепой,
Блистают пены белизной
И ревом землю сотрясают...
Как та река прилив встречает
И на волну идет волна,
И бездна вод возмущена —
Так злобой лютой ослепленных,
Обидой тяжкой опьяненных
Порою рок столкнет людей.
Свист пуль, и треск, и звон мечей
Гудит в ушах. Стенанья, крики
Разносит эхо гор. Как дики
Они в долине мирной той;
К беседе пастухов простой
Она скорей бы подходила.
Какой огонь, какая сила
У малочисленных бойцов!
Здесь каждый победить готов
Иль умереть. С такою властью
Любовь нас не толкает к счастью,
В объятия милой, к красоте.
Сильней, теплей объятия те,
Когда враги сплетутся дружно:
Им расставаться уж не нужно.
Друзей разлука часто ждет,
Любовь с насмешкой цепи рвет;
Врагов, сплетенных воедино,
Не разлучит и час кончины.

.
Уж сломан верный ятаган,
Залитый кровью вражьих ран.
Удар ужасный отсекает
Гассану руку; но сжимает
Еще упрямая рука
Осколок хрупкого клинка.
И, рассеченная глубоко,
Чалма отброшена далеко,
В клочки изорван весь наряд,
И пятна алые пестрят
На нем. Пред утренней зарею
Такой же мрачной краснотою
Края темнеют облаков —

Предвестник грозных бурунов.
И не одна зияет рана
На теле мертвого Гассана,
Когда лежит перед врагом
Он к небу синему лицом.
Но глаз открытых выраженье
Сулит лишь ненависть и мщенье,
Как будто смерть своим крылом
Не погасила гнева в нем.
Над ним склонился враг жестокий.
Был бледен лоб его высокий:
Гассана мертвое чело
Едва ль бледнее быть могло.

• • • • •
«На дне морском моя Лейла,
Тебе ж кровавая могила
Досталась... В грудь твою клинок
Лейлы дух вонзить помог.
И были все мольбы напрасны,
Аллах тебя не услышал,
Пророк твоим мольбам не внял,
Они гяуру не опасны...
Ужель на помощь неба ты
Питал надменные мечты,
Коль у небес ее моления
Не вызывали снисхожденья?
Бандитов шайку я набрал,
Я долго часа мести ждал,
Теперь, узнавши миг счастливый,
Пойду дорогой сиротливой».

• • • • •
В окно доносится с лугов
Негромкий звон колокольцов
От стад верблюжьих. Мать Гассана
Сквозь дымку легкую тумана
Печально смотрит из окна,
И зелень пастбищ ей видна,
И звезд несмелое сиянье.
«Уж вечер. Близок час свиданья».
Но беспокойно сердце в ней
В уютном доме средь ветвей.
Она на башню быстро всходит,
Она от окон не отходит,
«Ах, почему не едет он?»

Иль ехать днем им было жарко?
Жених счастливый что ж подарка
Не шлет? Иль страсть прошла как сон?
О, нет! Вот всадник выезжает,
Вот он вершины достигает,
Вот он в долине. У седла
Подарок сына. Как могла
Я упрекать гонца в медленье?
Теперь ему за утомленье,
За службу щедро я воздам».
Он подъезжает к воротам,
Он соскочил с коня. Усталость
Его с ног валит. Скорбь и жалость
В его чертах. Нет, просто он
Дорогой дальней утомлен.
На платье пятна крови алой:
То ранен, верно, конь усталый.
Подарок, скрытый под полой,
Он достает... Создатель мой!
Тот дар — остатки лишь тюрбана
Да весь в крови кафтан Гассана.
«О госпожа! Сын бедный твой
Повенчан с страшною женой.
Меня спасло не состраданье,
Но кровожадное желанье
Отправить дар через гонца.
Мир праху храброго бойца!
Да грянет гром над головою
Гяура! Он всему виною».

· · · · ·
Чалма из камня. За кустом
Колонна, скрытая плющом,
Где в честь умершего османа
Стихи начертаны Корана,—
Не видно больше ничего
На месте гибели его.
В сырой земле лежит глубоко
Вернейший из сынов Пророка,
Каких досель из года в год
К себе святая Мекка ждет.
Он, твердо помня запрещенье,
К вину всегда питал презренье,
Лишь «Алла-Гу», призыв святой,
Он слышал — чистою душой

Тотчас стремился он к Пророку,
Оборотясь лицом к востоку.
От рук гяура здесь он пал.
В родной долине умирая,
Врагу он мщеньем не воздал...
Но там, на небе, девы рая
Его нетерпеливо ждут,
И стройных гурий взоры льют
Лучи небесного сиянья.
Свое горячее лобзанье
Они несут ему скорей.
Такой кончины нет честней.
В борьбе с неверным смерть — отрада,
Ее ждет лучшая награда.

.
Изменник с черною душой!
Тебя Монкир своей косою
Изрежет. Коль освободиться
Успеешь ты от этих мук,
То вечно должен ты вокруг
Престола Эблиса кружиться,
И будет грудь гореть огнем...
Нет, о страдании твоём
Пересказать не хватит силы.
Но перед этим из могилы
Ты снова должен выйти в мир
И, как чудовищный вампир,
Под кровлю приходишь родную —
И будешь пить ты кровь живую
Своих же собственных детей.
Во мгле томительных ночей,
Судьбу и небо проклиная,
Под кровом мрачной тишины
Вопьешься в грудь детей, жены,
Мгновенья жизни сокращая.
Но перед тем, как умирать,
В тебе отца они признают
Успеют. Горькие проклятья
Твои смертельные объятя
В сердцах их скорбных породят,
Пока совсем не облетят
Цветы твоей семьи несчастной.
Когда же юной и прекрасной
Любимой дочери придет

Погибнуть за тебя черед —
Она одна тебя обнимет,
И назовет *отцом*, и снимет
Она кору с души твоей,
И загорится пламень в ней.
Но все же нет конца мученью:
Увидишь ты, как тень за тенью
Румянец нежный на щеках
У юной жертвы исчезает
И гаснет блеск у ней в глазах,
И взгляд печальный застывает...
И ты отделишь от волос
Одну из золотистых кос,
И унесешь в воспоминанье
Невыразимого страданья:
Ведь в знак любви всегда с собой
Носил ты локон золотой.
Когда с кровавыми устами,
Скрежеща острыми зубами,
В могилу с воем ты придешь,
Ты духов ада оттолкнешь
Своею страшною печатью
Неотвратимого проклятья.

· · · · ·
«Кто этот сумрачный монах?
Давно уж на моих глазах,
Близ вод моей страны родимой,
Как быстрым вихрем уносимый,
На легком мчался он коне,
И в память врезалось мне
Безбрежной скорби выраженьё
В его чертах. Тоска, мученье
Не стерлись с бледного чела.
Иль смерть доселе в нем жила?»

«Седьмой уж год начнется летом,
Как, распростиаясь с греховным светом,
Живет он с нами. Совершен
Какой-то грех им был, и он
Искать пришел успокоенья,
Но, чужд духовного смиренья,
В исповедальню не идет,
По вечерам не вознесет
Мольбы, колена преклоняя...
Церковных служб не замечая,

В убогой келье он сидит
И, с думой на челе, молчит.
Какой он веры, где родился,
Не знает здесь никто. Явился
Он из-за моря к нам, из стран,
Где царствует в сердцах Коран.
На турка не похож чертами,
Скорей одной он веры с нами,
Причислить мог скорей всего
Я к ренегатам бы его,
Что вновь, раскаявшись в измене,
Хотят с мольбой склонить колени,
Когда б он храм наш посещал
И Тайн Святых не избегал.
Когда в казну святого братства
Неисчислимы богатства
Вложил таинственный чернец,
То настоятель наконец
Пришел от гостя в умиление.
Будь я приором — ни мгновенья
Его терпеть не стали б мы
Иль не пускали б из тюрьмы.
Во сне бормочет он порою
Обрывки фраз, обрывки слов —
О деве, скрытой под волною,
О звоне сабельных клинков,
О жалком бегстве побежденных,
И об обидах отомщенных,
И об османе, павшем в прах...
И часто на крутых скалах
Его видали мы над морем,
Когда он там, с тоской и горем,
Все спорит с призраком одним:
Рука кровавая пред ним
В волнах могилу открывает
И вниз безмолвно призывает».

.
Надвинув темный капюшон,
На мир угрюмо смотрит он,
О, как глаза его сверкают,
Как откровенно выражают
Они волненья дней былых!
Непостоянный пламень их,
Смущенье странное вселяя,

Проклятья всюду вызывая,
Всем встречным ясно говорит,
Что в мрачном чернеце царит
Доселе дух неукротимый.
Как птичка, встретив недвижимый
И полный чар змеинный взор,
Напрасно рвется на простор,
Бессильно трепеща крылами,—
Так, встретившись с его глазами,
Замрет на месте всякий вдруг,
Невольный чувствуя испуг;
Его завидя в отдаленье,
Монах торопится в смущенье
С дороги своротить скорей.
Его улыбка, взгляд очей
Грехом как будто заражают
И страх таинственный вселяют,
В его чертах веселья нет;
Коль в них мелькнет улыбки след,
То это смех лишь над страданьем.
И губ презрительным дрожаньем
Усмешку злую проводив,
Он вновь замкнется, молчалив,
Как будто острой скорби жало
Навек улыбку запрещало...
Не светлой радостью она
Бывала в нем порождена.
Когда ж в чертах его разлито
Воспоминанье чувств иных,
Еще больней смотреть на них.
Не все годами в нем убито,
Его надменные черты
С пороком вместе отражают
Следы духовной красоты;
В грехе не все в нем погрязает.
Толпа не видит ничего,
Понятен ей лишь грех его,
Но в нем открыл бы взор глубокий
И сердца жар, и дух высокий.
Как жаль даров бесценных тех!
Их иссушили скорбь и грех!
Не многим небо уделяет
Дары такие, но вселяет
Носитель их лишь страх кругом;

Так, на пути заметив дом
Без крыши, полный разрушенья,
Проходит путник без волненья.
Когда ж, разрушенный войной
Иль дикой бурей ночной,
Пред ним, бойницами чернея,
Предстанет замок,— он, не смея
Взгляд пораженный оторвать,
Забудет путь свой продолжать.
Колонны вид уединенный
И свод, плющом переплетенный,
Все говорит, что погребен
Здесь гордый блеск былых времен.
«Безмолвно вдоль колонн высоких,
Закрывшись складками широких
Своих одежд, вот он скользит.
Всем страх его внушает вид.
Он службу мрачно наблюдает,
Но тотчас церковь оставляет,
Заслышав антифон святой
Над преклоненною толпой.
Стоит он мрачно в отдаленье,
Пока не кончится молеbbe.
Стоит он там, печален, тих,
Молитвы слушая других.
Тень от стены его скрывает...
Но вот он капюшон срывает,
И пряди темные кудрей
На лоб спускаются прекрасный,
Как будто самых черных змей
Из всей семьи своей ужасной
Ему Горгона отдала,
Их срезав с бледного чела.
Хоть он монаха платье носит,
Обета все ж не произносит,
Кудрей упрямых не стрижет,
Свободно им расти дает.
Не из усердия — из гордыни
Он щедро сыплет благостыни.
Обет, молитву кто из нас
Услышал от него хоть раз?
О, как его черты бледнеют,
Пока молеbbя пламенеют,
И вместе с горем виден там

Надменный вызов небесам.
Франциск! Святой наш покровитель!
Очисти от него обитель,
Пока не видим мы чудес
В знак гнева грозного небес.
Коль дьявол плотью облекался,
Он в этом облике являлся.
Клянусь спасеньем — только ад
Мог породить подобный взгляд!»

И сердцу слабому волненья
Любви знакомы, но уменья
Отдаться чувству целиком
Ты в сердце не найдешь таком.
Оно боится мук напрасных,
Отчаянья порывов страстных.
Одни суровые сердца
Сносить умеют до конца
Неисцелимые страданья,
Годов презревшие влиянье.
Металла виден блеск, когда
Перегорит в нем вся руда.
Его в горниле расплавляют,
Его, как нужно, закаляют,
И он служить потом готов
Иль как защита от врагов,
Иль как орудье нападенья —
Зависит все от назначенья;
Иль панцирь он, иль острый меч...
Как должен тот себя беречь,
Кто наточил своей рукою
Кинжал, теперь готовый к бою.
Любви так пламень роковой
Смирит свободный дух мужской,
И в том огне, забывши гордость,
Он припимает форму, твердость, —
И лишь сломаться может он
В горниле страсти закален.

.
Коль сменит скорбь уединенье,
То от страданий избавленье
Не веселит души больной.
Томясь холодной пустотой,
Минувшие страданья снова
Перенести она готова.

Как тяжело нам жить одним,
Не поверяя чувств другим...
И счастье нам не в утешенье!
Но если сердце в исступленье
От одиночества придет,
Оно исход себе найдет
В неугасимой, горькой злобе.
Терзался б так в холодном гробе
Мертвец, когда б он мог страдать
И с содроганьем ощущать
Вокруг себя червей могилы,
Их сбросить не имея силы.
Так страждет бедный пеликан,
Когда он ряд кровавых ран
Себе наносит, чтоб с любовью
Кормить птенцов горячей кровью,—
И видит в ужасе немом,
Что их уж нет в гнезде родном.
И жизни тяжкие ненастья
Порой нам дороги, как счастье,
В сравненье с хладной пустотой
Души бесстрастной и немой.
Перенести кто в состоянье
Небес пустынных созерцанье
И вечно видеть лишь лазурь,
Без туч, без солнца и без бурь?
Когда на море шторм стихает
И на песок волна бросает
Пловца,— очнется он потом
Один на берегу пустом,
И грозной бури вой ужасный
Бледнеет перед мыслью страшной,
Что он обязан с этих пор
Забыть с волнами жаркий спор
И здесь, застыв в тоске глубокой,
Погибнуть смертью одинокой.
Коль гибель небом суждена,
Приходит сразу пусть она.

· · · · ·
«Отец! Вдали от шума битвы,
Шепча лишь тихие молитвы
За прегрешения других,
Ты кончишь счет годов своих.
Не зная праздного волненья,

Ни суеты, ни согрешенья,
Ты мирно прожил длинный век,
Порой, как всякий человек,
Встречая мелкие напасти.
Ты не изведал бурной страсти
Своих духовных слабых чад,
Что без утайки говорят
Тебе о муках преступленья
И чьи грехи и угрызенья
На дне души твоей лежат.
Прошли мои молодые лета
В волненьях суетного света,
В них много счастья, больше мук.
Любви и битвы был я друг,
В кругу друзей, в разгаре боя
Я чужд был хладного покоя...
Теперь, когда не греет кровь
Ни гнев, ни слава, ни любовь
И в сердце места нет надежде,
И жить я не могу, как прежде,—
Мне прозябанье слизняка
В сырой темнице под землею
Милей, чем мертвая тоска
С ее бесплодную мечтою.
И я в сердечной глубине
Стремлюсь к покою, к тишине,
Ко сну без жгучего сознанья.
Исполнится мое желанье,
Дарует рок мне крепкий сон...
Без сновидений будет он;
Мечты, надежды в вечность канут
И грезы прошлого не встанут.
Ведь память лишь непрочный след,
Могила прежних, лучших лет.
Я умереть хотел бы с ними;
Погибнуть с грезами такими
Мне лучше было бы, чем жить
И яд мук медленных испить.
Но у меня достало силы
Своей рукой не рыть могилы,
Как сумасброд былых времен
Иль дней новейших ветрогон,
На смерть взирая равнодушно,
На гибель я пойду послушно,

С охотой смерть приму в бою,
Но руку подниму свою
Не для любви, но лишь для славы.
Честолюбивые забавы
Я всей душою презирал,
Хоть в битвах смерть не раз встречал.
Пусть за лавровыми венками
Иль за презренными деньгами
Бросаются другие в бой,
Но если бы передо мной
Поставил ставку ты иную,
Поставил бы любовь былую,
Или врага — пойду я вповь,
Где звон клинков, где льется кровь;
Куда б судьба ни захотела
Меня толкнуть — пойду я смело,
Чтоб деву милую спасти,
С лица земли врага смести.
Ты можешь верить мне. Доселе
Я подтверждаю слова на деле.
Что смерть? С улыбкою храбрец
Встречает доблестный конец,
Мирится с нею слабый в страхе
И трус лишь ползает во прахе.
Кто дал мне жизнь, пускай же Тот
Теперь назад ее берет.
Я в счастье смерти не боялся,
Чего б теперь я опасался?

· · · · ·
Когда б ты знал, как я любил,
Как я ее боготворил...
Что это не слова пустые,
Пусть скажут пятна кровяные
На этой стали. Никогда
Следов их не сотрут года.
Ведь эта кровь была ценою
За ту, в чьей смерти я виною.
Из сердца вражьего взята,
Но совесть в том моя чиста,
Не ужасайся — враг сраженный
Был враг религии твоей,
И гнев в душе ожесточенной
Будило имя «Назарей».
Неблагодарный! Умирая

От рук гяура, заслужил
Он сладкие утехи рая,—
Его рой гурий окружил
У входа в дивный сад пророка.
Да, я любил ее глубоко...
Любовь ведет порою нас
Тропинкой узкой. Волк подчас
По той тропе идти боится.
Тому ж из нас, кто не страшится
За страстью следовать, она
Награду дать потом должна.
И вот за вздохи, за волпенье
Я получил вознагражденье,
А как — не все ль равно тебе?
Я шлю порой упрек судьбе,
Зачем она меня любила...
Да, умерла моя Леила,
И гибели ее печать
Хранит чело мое. Читать
Ты можешь там следы мученья;
Следы позора, преступленья.
Не содрогайся, погоди,
Меня легко так не суди...
Ведь этот грех свершен не мною,
Хоть я и был тому виною...
Да, суд Гассана был жесток,
Но ведь иным он быть не мог.
Ее измена погубила,
Его же месть моя сразила...
Леила, изменив ему,
Осталась сердцу моему
Верна до смертного мгновенья,
И без борьбы, без сожаленья
Все отдала, что от цепей
Свободным оставалось в ней.
Ее спасти уж было поздно,
Зато отмстить успел я грозно:
За смерть я смертью оплатил,—
И разом сердце облегчил,
Врага в могилу посылая.
Но все ж Леилы доля злая
Меня гнетет: твой гнев святой
Бужу я мрачною душой.
Конец его неотвратимый

Тагир, предчувствием томимый,
Ему зловеще предсказал;
Свист пуль недаром он слышал,
Пока отряд в ущелье крался,
Где враг коварный дожидался.
Но, вихрем битвы опьянен,
Легко, без боли умер он.
Одно к Пророку обращенье,
Аллаху тихое моление —
И только... Больше ничего
Из уст не вырвалось его.
Узнав меня, ко мне он рвался,
Со мною встретиться старался...
За ним я жадно наблюдал,
Когда, сраженный, он лежал
Передо мной и уходила
Из жил его и жизнь и сила.
Зияло много ран на нем...
Так леопард лежит, копьём
Врагов безжалостных пронзенный.
Следов тоски неутоленной
Я тщетно в нем тогда искал.
Нет, я сильнее его страдал!
Умел он только ненавидеть,
Но мук раскаянья увидеть
В его чертах мне не пришлось.
Тогда б лишь мщенье удалось,
Когда бы в этот миг ужасный
Раскаянья прилив напрасный
Его душой овладевал
И он бы ясно сознавал,
Что невозможно искупленье,
Что нет надежды на спасенье.

.
Кровь северян так холодна,
Любовь у них всегда спокойна...
Едва ль на севере достойна
Такого имени она.
Моя же страсть была потоком,
Рожденным в кратере глубоком
Горячей Этны... И всегда
Мне болтовня была чужда
О красоте, о страсти жаркой.
Но если щек румянец яркий,

Но коль пожар в моей крови,
Уста сомкнутые мои
И сердце, что так быстро бьется
И из груди на волю рвется,
Коль смутных мыслей ураган,
Отважный подвиг, ятаган,
Залитый вражескою кровью,—
Коль это все зовут любовью,
Так я любил и сердца пыл
Не раз на деле проявил!
Я сердцем тверд. Мое желанье —
Иль смерть, иль счастье обладанья.
Да, я умру, но я любил,
Я радость жизни ощутил,
И хоть моя печальна доля,
Ее моя ж избрала воля.
Я духом бодр. Готов я жить
И вновь готов кипеть страстями,
Когда бы мог ее забыть.
Там, под холодными волнами,
Она лежит,— и лишь о ней
Печаль моих унылых дней.
Когда б у ней была могила,
То с ней бы ложе разделила
Моя печаль. Была она
Любви и жизни воплощенье;
Она, как светлое виденье,
Печальной красотой полна,
Стоит повсюду предо мною
Прелестной утренней звездою.

Любовь на небе рождепа
Аллаха властью всеблагою
И нам, как ангелам, дана
Святая искра. Над землею
Поднять желанья свои
Мы можем с помощью любви.
В молитве ввысь мы воспаряем,
В любви — мы небо приближаем
К земле. Аллах ее послал,
Чтоб человек порой смывал
Всю грязь, все помыслы дурные.
Пока вокруг души горят
Лучи Создателя живые.
Пускай мою любовь клеймят

Грехом, позором, преступленьем,
Карай и ты ее презреньем,
Но благость сердца докажи
И про ее любовь скажи,
Что ты греха не видишь в этом,
Она была единым светом
Моей всей жизни. Из-за туч
Не промелькнет мой светлый луч...
За пим на муки в сумрак вечный
Пошел бы я с душой беспечной.
Когда все умерло в груди
И нет надежды впереди,
То люди рок свой проклинают,
И преступлением порой
Они тяжелый жребий свой
В безумье мрачном отягчают,
Что сердцу бедному терять,
Коль кровью тайно истекать
Оно должно? Когда с высокой
Вершины счастья мы летим,
То никогда не различим
Мы края пропасти глубокой.
Старик, ты смотришь на меня,
Как будто хищный коршун я,—
Ты не скрываешь отвращенья.
Да, путь кровавый преступленья
И я прошел, как коршун злой,
Но я не знал любви другой,—
Я верен был, как голубь нежный,
Своей голубке белоснежной.
Должны бы тем мы подражать,
Кого привыкли презирать:
И птица, в рощах распевая,
И лебедь, волны рассекая,
Подруге избранной верны.
Пускай глупец, кому смешны
Томленья страсти постоянной,
С улыбкой хвастается чванной
Перед бессмысленной толпой.
Как жалок он, с душой жестокой
И с жизнью мелкой и пустой.
Но белый лебедь одинокий
Иль дева, что сдалась ему,
Поверив искренне всему,

Стоят в глазах моих высоко,
Я чужд в неверности упрека...
Леила, я к тебе одной
Стремился мыслью и душой,
Моя ты скорбь, моя отрада,
Моя небесная награда,
Ты воплощением была
Моей души добра и зла.
Кто может здесь с тобой сравняться?
Я дал бы все, чтоб не встречаться
С похожей на тебя и вновь
Тревожить скорбную любовь.
Пусть правду слов моих докажет
Вся юность грешная моя
И эта скорбная скамья
Мои страдания перескажет.
До гроба будет образ твой
Моей любимую мечтой!

Когда она погибла в море,
Я жить остался. Гнев и горе
Обвили сердце мне змеей.
К борьбе стремился я душой,
И, дней печальных не считая,
От жизни взоры отвращая,
Я на природу не глядел
И различать уж не хотел
Ее оттенков, прежде милых:
Я отраженье видел в них
Моей души тонов унылых.
Ты знаешь о грехах моих,
Ты знаешь о моем страданье,
Не говори о покаянье.
Близка уж смерть, ты видишь сам.
Хотя бы я твоим словам
Поверил — все равно несчастья
Не исцелит твое участие,
Ах, что в беседе мне твоей?
Без слов печаль души моей
Пойми. Простое сожаленье
Нужнее мне, чем поученье.
Когда б Леилу воротить
Ты мог, прощения просить
Я у тебя послушно стал бы
И за себя туда послал бы,

Где достает спасенье нам
Молитв продажных фимиам.
Ко львице ты осиротелой
Пойдешь ли с мудростью своей,
Когда возьмет охотник смелый
Ее испуганных детей?
Нет, утешать ты не пытайся,
Над скорбью зло не издевайся.

В беспечной юности, когда
Одна душа с другой всегда
Легко вступает в единенье,
Вдали, в моем родном селенье,
Жил друг моих счастливых лет.
Его в живых, быть может, нет...
Тебя прошу я об услуге:
На память об умершем друге
Вот эту вещь ему пошли,
Чтоб обо мне воспоминанья
Хотя на миг к нему пришли,
Хоть я не щедр на излишья,
Но верю твердо — до сих пор
Не уничтожил мой позор
В нем дружбы тихое мерцанье.
Мой друг судьбу мне предсказал...
Я лишь улыбкой отвечал;
Но посылало Провиденье
Мне в этот миг предупрежденье.
Тогда заметил я едва
Его зловещие слова,
Но в них скрывался смысл глубокий.
Скажи, что с точностью жестокой
Свершилось все; и будет он,
Наверно, горько поражен,
Что предсказанье оправдалось,
Что столько правды в нем сказалось.
Скажи, что если средь утех
За круговой веселой чашей
Я был забывчивее всех, —
То все ж о нем, о дружбе нашей
Я не забыл в последний миг.
Но мне мешает преступленье
За друга чистого моленье
Послать... Немеет мой язык.
О снисхожденье просьб не надо:

Он слишком любит для того,
Чтобы пролить хоть каплю яда
На крышку гроба моего.
И чужды мне о славе грезы...
Я также не прошу, чтоб слезы
Над гробом друга он не лил:
Его б я только оскорбил
Подобной просьбой. Над могилой,
Где опочил товарищ милый,
Друг верный должен горевать.
Но умоляю передать
Ему кольцо. Оно когда-то
С его руки надежной снято.
О всем ты Расскажи ему,
Что ясно взору твоему:
Об этом теле истощенном,
О сердце, страстью разоренном.
Скажи, что чувств мятежный бег
Обломок выбросил на брег,
Скажи, что я лишь свиток пыльный,
Листок оторванный, бессильный
Перед холодным ветром бед...

· · · · ·
Ах, нет, отец, то не был бред.
Нет, это не могло мне сниться:
Для грез ведь нужно сном забыться,
А я в мгновение то не спал,
Я только слез с мольбою ждал,
Но их, увы, я не дождался.
Мой мозг от боли разрывался,
Вот как теперь... Хоть бы одна
Слезинка мне была дана!
Я и теперь их жажду страстно,
Не убеждай меня напрасно;
Не излечить души моей
Тебе молитвою своей.
К чему мне рай, к чему спасенье?
Ах, дай мне лишь успокоенье...
В тот миг, отец, вдруг вижу я —
Леила предо мной моя...
Она сквозь савап свой светилась,
Как та звезда, что закатилась
За это облачко сейчас.
Нет лучше, чем она, светлее...

Чуть видит звездочку мой глаз,—
Назавтра ночь еще темнее...
Опять мелькнет вдали звезда,
Но я уж буду тем тогда,
Чего живой всегда боится.
Отец, я брежу... но стремится
Моя душа из тела прочь.
Монах! Она пришла в ту ночь!
Я позабыл про скорбь, про горе
И бросился с мольбой во взоре
За ней вперед, чтобы скорей
Ее прижать к груди своей.
Но что же обнял я? Проклятье!
Лишь ночь была в моем объятье.
Моя Леила, где же ты?
Ведь видел я твои черты.
Иль ты настолько изменилась,
Что лишь глазам моим явилась,
Но ласки милого бежишь?
Но нет, живая ты стоишь!
Я вновь обнять тебя желаю —
И снова тьму лишь обнимаю,
И руки падают с тоской.
Но ты стоишь передо мной,
Твоя коса до ног спадает,
Меня о чем-то умоляет
Печальный взор твоих очей.
Не верил смерти я твоей,
А *он* погиб, он в том же поле
Зарыт, и не в его уж воле
Являться мстителем сюда...
Но как же *ты* встаешь тогда?
Я слышал, что валы морские
Черты сокрыли дорогие.
Но лишь об этом вспомню вновь —
Уста немеют, стынет кровь.
Но если в этом нет обмана
И ты пришла из океана
Просить, послушная судьбе,
Чтоб я могилу дал тебе,—
Пусть пальцы нежные остудят
Мое чело,— тогда не будет
Оно уж вновь пылать огнем.
На сердце раненом моем

Пускай лежит из сожаленья
Твоя рука. Мечта, виденье
Иль милой тень, о, пощади!
Молю тебя, не уходи,
Иль, душу взяв мою из тела,
Неси от скорбного предела
Туда, где нет шумящих волн,
Где тишиною воздух полн.

.
Окончил я свое сказанье
О муках сердца, о страданье...
И тайну тяжкую свою
Твоей душе передаю.
Но вижу я слезу печали...
Благодарю тебя, отец!
Мои глаза ведь слез не знали.
Когда наступит мой конец,
Приют моим останкам тленным
Ты дай на кладбище смиренном.
Пусть надо мной лишь крест стоит,
Пусть надписи надгробной вид
Пришельца взор не привлекает
И путь он дальше направляет».

Так умер он, и ничего
О роде, имени его
Мы не узнали. Исповедник,
Его печальных тайн наследник,
Скрывать обязан их от нас.
И лишь неровный мой рассказ
Поведал вам о нежной деве
И о враге, сраженном в гневе.



Корсар

ПОВЕСТЬ

I suoi pensieri in lui dormir non ponno.

Tasso. Gerusalemme Liberata, canto X¹

ТОМАСУ МУРУ — эсквайру.

Мой дорогой Мур!
Я посвящаю Вам свое последнее произведение, которым в ближайшие годы буду испытывать терпение публики и Вашу снисходительность. Признаюсь, я хотел бы воспользоваться этой последней и единственной возможностью украсить свои страницы именем, освященным неколебимой гражданской принципиальностью, а также несомненными и разнообразными талантами. Когда Ирландия считает Вас одним из самых верных патриотов, когда Британия повторяет и утверждает это мнение, разрешите человеку, сожалеющему о потерянных годах (ибо знакомство наше состоялось так поздно), присовокупить скромные изъявления дружбы к голосу двух народов. Это, по крайней мере, докажет Вам, что я не забыл удовольствия, полученного от общения с Вами, и не оставил надежды возобновить его в любое время, когда досуг или желание разрешат Вам искупить перед друзьями столь долгое Ваше отсутствие. Друзья говорят — и я этому верю, — что Вы заняты сочи-

¹ Его тревоги в нем уснуть не могут.

Tasso. Освобожденный Иерусалим, песнь X.

нением поэмы, действие которой развернется на Востоке. Никто не сможет описать эти картины более достоверно. Обиды Вашей собственной страны, великолепный и пламенный дух ее сынов, красоту и нежность ее дочерей — все это можно найти и там. И Коллинз, назвав свою восточную поэму «Ирландскими эклогами», даже не подозревал, сколь верно было такое сопоставление хотя бы в одной своей части. Солнце в Вашем изображении станет теплее, небо безоблачнее, но страстность, доброта и самобытность — это неотъемлемая часть ваших национальных притязаний на восточное происхождение, которое, быть может, Вы уже доказали убедительнее, чем самые рьяные знатоки древности в вашей стране.

Могу ли добавить несколько слов о предмете, на коем все склонны упражнять свое красноречие, весьма неприятное, — о себе. Я написал много и опубликовал вполне достаточно для того, чтобы сделать заявку и на более длительное молчание, чем то, о котором сейчас мечтаю. Я больше не намерен хотя бы в течение нескольких ближайших лет добиваться награды «богов, читателей, книгопродавцев». В настоящем сочинении я испробовал не самый трудный, но, может быть, наиболее свойственный нашему языку метр — доброе, старое, а ныне забытое герсическое двустипшие. Спенсера строфа, пожалуй, слишком медлительна и величественна для повествования, хотя, признаться, форма эта мне более других по сердцу: пока что из нынешнего поколения один лишь Скотт полностью восторжествовал над фатальной легковесностью восьмисложного стиха, и это не последняя победа, одержанная его богатым и могучим гением. Что же касается Мильтона, Томсона и наших драматургов с их белым стихом, то это маяки, которые сияют над пучиной и предостерегают нас от тех суровых и бесплодных скал, на которых они зажжены. Героическое двустипшие, разумеется, не самый общедоступный размер. Но поскольку я, даже для того чтобы польстить так называемому общественному мнению, к другому размеру не обращался, я откажусь от него без дальнейших извинений и еще раз попытаю счастья в той поэтической форме, в которой доныне были написаны только такие мои сочинения, о публикации которых я отчасти сожалею в настоящем и не перестану сожалеть в будущем.

Что же до моей истории и всех историй вообще, то я хотел бы изобразить моих героев более совершенными и

приятными, ибо меня часто упрекали за них, считая, что я несу ответственность за их дела и качества, как если бы они были моими собственными. Пусть будет так — если я был подвержен мрачному тщеславию самоизображения, то эти портреты, возможно, и похожи, поскольку они не-симпатичны; а если это не так — те, кто знает меня, не будут введены в заблуждение. Что же касается тех, кто меня не знает, мне нет нужды их разубеждать. Я не жажду, чтобы кто-либо, кроме моих знакомых, считал автора лучше, чем существа, им выдуманые. Но я не могу скрыть некоторого удивления и даже удовольствия при мысли о нескольких исключениях в нашей критике, весьма странных при нынешних обстоятельствах: ведь многие (разумеется, весьма достойные) барды пользуются блестящей репутацией и полностью освобождены от всякого соучастия в провинностях своих героев, едва ли отличающихся более высокими моральными качествами, чем «Гяур» и возможно... нет, нет, я должен признать, что Чайльд-Гарольд — весьма омерзительный персонаж. А если говорить о его прототипе, то те, кому захочется, могут присудить ему все, что им заблагорассудится.

Если, однако, стоит развеять это впечатление — быть может, мне сослужит некоторую службу то, что человек, который приносит радость и читателям и друзьям, поэт всех сословий и властитель дум своего круга, разрешит мне здесь и где-нибудь еще назвать себя

самым искренним и любящим его

покорным слугой —

Байрон.

2 января 1814

Теснь первая

...nessun maggior dolore,
Che ricordarsi del tempo felice
Nella miseria...

Dante¹

I

«Средь ликования темно-синих вод
Безбрежна мысль, свободен душ полет
Над пенной, бесконечною волной —
Вот царство наше, вот наш дом родной!
Крепка и беспредельна паша власть,
Наш флаг державный всех принудит пасть.
Беспечный отдых и кровавый труд,
Сменяясь бурно, радость нам несут.
Ее поймешь не ты, комфорта раб,
Чей дух пред бурей сдался б и ослаб,
Не ты, чья доля — праздность и разврат,
Кто сну и наслаждению не рад.
Лишь тот поймет, чей дух над синевою
Вершит победоносно танец свой,
Кто трепет счастья чувствует, когда
Кругом одна бескрайняя вода,
Кто к предстоящей схватке сам спешит
И рад тому, что всех иных страшит,
Кто ищет то, что труса гонит прочь,
А слабого заставит изнеможь,—
Он слышит, как растут в груди его

¹ ...тот страждет высшей мукой,
Кто радостные помнит времена
В несчастии...

Данте

Прилив надежд и духа торжество.
Нет страха смерти, если враг сражен!..
Но смерть скучна,— еще скучней, чем сон;
Из жизни жизнь выхватывая вдруг,
Теряем вмиг здоровье и недуг.
Привыкший ползать увяданье длит,
Он тянет годы, он с постелью слит,
Паралича ему не миновать —
Для нас милей земля, а не кровать;
Ползет он к смерти, еле шевелясь,—
А с нами души рвут мгновенно связь;
Его костям надгробный мрамор льстит,
Могилу враг лукавый золотит —
А нас оплачет скорбь, а не обман,
Когда нам даст свой саван океан.
Грустя о нас, ушедших, облик наш
Пиры помянут красной влагой чаш,
И этот тост — как траурный венок
От тех, кто завладеть добычей смог,—
Они твердят: «О, как бы ликовал
Сейчас храбрец, который в битве пал!»

II

Так эти звуки, оглашая весь
Пиратский остров, где костров не счесть,
И отражаясь от прибрежных скал,
Казались пенем тем, кто им внимал.
Пираты пьют на золотом песке,
Играют в карты, дремлют в холодке,
И точат, беззаботны и ловки,
От крови потускневшие клинки;
Обстругивают руль или гурьбой
Шатаются, глаза на прибой;
Те в птицеловстве тщатся преуспеть,
Те расстилают каплющую сеть,
Те за далеким парусом следят,
И алчностью сверкает зоркий взгляд.
Толкуют о баталиях ночных
И о добыче, где-то ждущей их;
Где и когда — зачем гадать им зря?
На то да будет воля Главаря!
Кто ж их Вожак? Вокруг, на всех морях,
Одно лишь имя в душах сеет страх;

Он скуп на речи — знает лишь приказ,
Рука тверда, остер и зорок глаз;
Он их пирам веселья не дарит,
Но вне упреков счастья фаворит.
Он к чаше с багровеющим вином
Не прикоснется — пьянство не по нем;
То, что он ест, — последний человек
Из слуг его не стал бы есть вовек:
Хлеб грубый с овощами, иногда
Как роскошь фрукты — вот его еда,
Скупая пища, родственная той,
Которую отшельник ест святой.
Враг чувственного, он суров и прост,
Ему идет на пользу этот пост.
«Вперед!» — Они идут. «Стоять!» — Стоят.
«За мною!» — И трофеем богатый взят.
Он скор в решениях и надменен так,
Что и не спросишь, что решил Вожак,—
Ведь на другое и надежды нет,
Чем краткий и презрительный ответ.

III

«Корабль! Корабль!» — нам шлет трофеем судьба.
Чей флаг? Скажи, подзорная труба!
Нет, не трофеем... Сюда идет не враг:
Нам говорит кроваво-красный флаг,
Что этот бриг — корабль пиратский, наш,
Мы засветло увидим экипаж;
Гостеприимно встретит наш причал
Нос корабля, что гордо шторм встречал;
Он славно плыл вдали от берегов,
Он в вечном беге — но не от врагов.
Плывет он горделиво, как живой,
Как бы зовя стихию вод на бой.
Любой пойдет через пучину вброд,
Чтоб царственный корабль летел вперед!

IV

Шуршит канат, грохочет цепь — и вмиг,
Покачиваясь, стал на якорь бриг.
Толпясь, глазееет с берега народ,
Как на воду, спеша, спускают бот;

Удары весел, за рывком рывок,—
И вот под килем заскрипел песок.
Смех, восклицанья — радость велика,
Когда с рукой встречается рука;
Вопрос, ответ, рукопожатье, взгляд
Сулят застолье, празднество сулят.

V

Толпа растет, все жаждут новостей,
Шум, крик и смех приветствуют гостей;
Речь женщин в гомон нежно вплетена —
Звучат, как ласка, милых имена:
— Ах, все ли живы? Ждем мы их давно,
С добычей, без нее ли — все равно!
Там, в реве волн, в боях был каждый смел
И честь хранил — но кто же уцелел?
Пусть поспешат сюда утешить нас,
Пусть поцелуй изгонит страх из глаз!

VI

«Где Предводитель? Новость есть — она
Нам праздник встречи сократить должна.
Но и короткой радости — ура!
Жуан, веди! Нам к Вожаку пора.
Мы пир устроим, возвратясь назад,
И все узнают то, что знать хотят».
Над бухтой башня высится, и к ней
Восходит путь, змеясь среди камней,
Кусты минуя, яркие цветы,
Родник, чьи воды свежи и чисты,—
Сосуд, струящий водяную нить,
Искрясь, зовущий жажду утолить.
Вверх, шаг за шагом! Что за нелюдим,
На волны глядя, там стоит один,
На меч в раздумье опершись? Едва ль
Опорой мирной быть привыкла сталь!
«Да, это Конрад — ждет, от всех вдали;
Ступай, Жуан, скажи, что мы пришли.
Он смотрит на корабль — скажи, что есть
О спешном деле радостная весть.
Мы подождем — все знают, какво
Нарушить, не спросясь, покой его».

VII

Жуан сказал — и выслушал Вожак
И промолчал,— но дал согласия знак.
Они к нему приблизились — кивка
Их Конрад удостоил свысока.
«Вам пишет Грек — давишний наш шпион,
В сраженьях и в добыче сведущ он.
Что до вестей, как видно, неплохих,
То мы...» — «Довольно!» — оборвал он их.
Они, смутясь и отойдя, слова
Его ловили, слышные едва,
В глаза старались жадно заглянуть,
Чтобы узнать, понять хоть что-нибудь.
Отворотясь — волнением ли томим
Или гордыней, недоступной им,—
Он все прочел. «Гонзальво где?» — «У нас,
На судне, у причала». — «Вот приказ,
Пусть там и будет. Собери людей,
Готовьтесь в путь — за дело, поживей!
Сегодня в бой сам поведу я вас». —
«Сегодня, сэр?» — «Да, ровно через час:
Окрепший бриз придет с вечерней тьмой.
Подай сюда мой плащ и панцирь мой;
Дай мой рожок; проверь замок ружья,
Чтобы оружием твердо верил я;
Исправят пусть мой абордажный меч,
Чтоб рукоять в ладонь могла бы лечь
Не так, как в битве прошлой: меч тогда
Врагу немного причинил вреда;
Пусть вовремя орудье даст сигнал
О том, что час отплытия настал».

VIII

Он дал приказ — они уйти спешат;
Увы, как скор в пустыню вод возврат!
Но Он велел — приказ успех сулит,—
Кто усомнится в том, что Он велит?
Он тайною отъединен от всех,
В диковину и вздох его и смех,
А имя «Конрад» превращает в мел
Загар любого, кто свиреп и смел.
Властитель душ, искуснейший стратег,
Он, ужасая, восхищает тех,

Кто страшен,— славословящих его,
Ему покорных,— что за волшебство!
Что ж их сливает в верности ему?
Волшба души, подвластная уму!
Блеск мастерства — удачливость — успех,—
И, властный, он силен безвольем всех.
Диктует он — а подвиги их рук
Все чтут вокруг в числе его заслуг.
Так повелось: в любые времена
На одного трудиться чернь должна.
И все ж, бедняк, не будь непримирим
К тем, кто привык владеть трудом твоим.
Когда б ты знал вес золотых цепей,
Ты примирился б с ношею своей.

IX

Был с демонскою, черной сутью слит
Богоподобный, величавый вид
Героев древних — Конрад не таков:
Не схож с лучами блеск его зрачков,
Он худощав, и ростом — не гигант,
Силен — но не Геракл и не Атлант;
Но так, по виду, судит лишь толпа,
Что к истому величию слепа:
Она дивится всякий раз ему,
Страшится, но не знает почему.
Щека в загаре, белое чело,
Волна кудрей — как ворона крыло;
Изгиб губы невольно выдает
Высокомерной мысли тайный ход;
Хоть голос тих, а облик прям и смел,
В нем что-то есть, что скрыть бы он хотел.
Лица увидев резкие черты,
Ты и пленишься, и смутишься ты.
Как будто в нем, в душе, где мрак застыл,
Кипит работа страшных, смутных сил.
Взгляд пристальный — идет молва о нем,
Что дерзких он сжигает, как огнем.
Кто из людей, тщеславием гоним,
Глаза в глаза готов столкнуться с ним?
Когда лукавство проявляет прыть
И лезет в душу, пробуя смутить,
Проникнуть в тайну гордого лица —

Он сам в упор глядит на наглеца,
Он сам вонзит в чужие мысли взгляд,
Но в грудь свою влить не позволит яд.
В его ухмылке виден дьявол сам,
Он гнев и страх внушает всем, а там,
Где бурей пройдет его вражда,—
Надежды и пощады нет следа.

Х

Едва видны Зла внешние черты,
Дух там, внутри — внутри, среди темноты!
От глаз сокрыты Злость, Порыв, Вина —
И лишь улыбка горькая видна;
Движение губ, едва заметный взгляд,
Румянец слабый мало говорят
О муках человека — их поймет,
Кто способ стать невидимым найдет.
Тогда — по взору вверх, по дрожи рук,
По паузам, врывающимся вдруг
В беседу, по открытости лица,
По трепету, по вздохам без конца,
Тогда — по неуверенным шагам,
По силу набирающим страстям,
Толкающим и в бездну и в полет,
Ввергающим его в огонь и лед,—
Суди, бесстрастный зритель, и реши:
Известен ли ему покой души?
Как сушит грудь усталую, заметь,
О прошлом дума, горькая, как смерть;
Смотри! Но кто когда-нибудь проник
В суть смертного — в души его тайник?!

ХІ

И все ж не для того родился он,
Чтоб возглавлять отринувших закон:
Был чист, пока не начал он свои
С людьми и Вседержителем бои;
Был мудр, но свет считал его тупым
И портил обучением своим;
Был слишком горд, чтоб жизнь влачить, смирясь,
И слишком тверд, чтоб пасть пред сильным в грязь;
Достоинствами собственными он

Стать жертвой клеветы был обречен,
Он их причиной бедствий называл,
А не лжецов, не тех, кто клеветал.
Не знал, что одаренности печать
Сулит надежду снова жизнь начать;
Внушая страх, оболган с юных лет,
Стал другом Злобе, а Смиренью — нет,
Зов Гнева счел призывом Божества
Мстить большинству за козни меньшинства.
«Да, я преступник — как и все кругом!
О ком скажу иначе я, о ком?!
Открытому Пороку не в пример
Подспудный грешник — низкий лицемер...»
Он ненависть питал — но к тем сердцам,
Где ненависть с холопством пополам;
Его, от всех стоящего вдали,
И дружба и презренье обошли:
Дивясь ему, его страшились дел,
Но унижать никто его не смел —
Отбросим червяка мы, но навряд
Будить посмеем спящей кобры яд:
Прочь уползет отброшенный червяк,
Змея умрет — по ведь умрет и враг,
Она того, кто дерзко ей грозит,
Цепною жизни собственной разит!

XII

Никто не создан целиком из Зла,
И в Конраде благая страсть жила;
Считал он чувства, жгущие сердца,
Достойными ребенка иль глупца;
Но эта страсть была его сильней,
И даже в нем: Любовь — название ей!
Любовь — без перемен и без измен —
К одной, кому он сдался в вечный плен.
Он, дивных пленниц видя каждый день,
Скучал, ему и глянуть было лень
На дев прекрасных, — ни одну из них
К себе он не приблизил ни на миг.
Да, страсть! Да, нежность! И когда она
Угрозою беды закалена,
Когда она любых разлук сильней,
Когда не в силах сладить время с ней,

Когда надежда с нею заодно,
А мрачным мыслям таять суждено
Лишь от улыбки радостной, когда
При ней немеют ярость и беда,
Когда счастливый длится непокой
И друга взор уныньем и тоской
Любимой не грозит, когда их страсть
Ничто сгубить не может и проклясть,—
Тогда, коль дар любви Всевышним был
Ниспослан людям,— значит, он любил!
Его злодейство заклеил позор,
Но страсти не коснется приговор —
Она ему дана как благодать,
И с нею ничему не совладать!

ХІІІ

Он ждал, покуда посланные им
Свернули вниз, к лощипам луговым.
«Опасных я свершил немало дел,
Но гложет мысль: не тут ли мой предел?
Душа моя сомненьями полна —
Но знать о них команда не должна;
Бить первым — риск, но смерть — удара ждать:
Застигнет враг — придется жизнь отдать.
Но если б Рок признал мой дерзкий план,
То в траур бы оделся вражий стан!
Пусть мирный сон на турок снизойдет!
Лучами света завтрашний восход
Их не коснется, чтобы сон стереть,
Чтоб мстителей медлительных согреть...
Теперь — к Медоре! Жажду, чтоб она
От мук моих была ограждена.
Трус в положенье может быть таком,
Что против воли станет смельчаком.
Тут проявлять отвагу — что за честь!
У насекомых тоже жало есть
Для обороны; делим со зверьем
И мужеством отчаянья зовем
Отвагу эту. Я людей учил
Превосходящих не бояться сил;
Я вел их не напрасно, и для всех
Теперь одно лишь — смерть или успех.
Пусть будет так! Я не боюсь утрат.

Что ж медлят люди? Пусть спешат, летят!
Я о судьбе своей не знал забот,
Но здесь, в ловушке, гордость восстает:
С моим умением так в силки попасть
И на кон бросить жизнь, надежду, власть?!
Себя браню — тут не Судьбы вина,
Еще спасет нас, может быть, она...»

XIV

Так толковал он мрачно сам с собой,
Взбираясь к замку узкою тропой,
И вдруг услышал звонкий голосок, —
Он слушал и наслушаться не мог.
Ловил он чутко слышные едва
Певуньи милой нежные слова:

1

«В моей душе есть тайна — никому
О тайне той не сказано ни слова,
Ее лишь сердце сердцу твоему
Откроет вдруг и умолкает снова.

2

Там, в глубине, — лампада у меня
Всегда горит, лелеемая мною,
И свет неяркий тихого огня
Не погасить отчаяния тьмою.

3

Не проходи близ склепа моего
Без мысли обо мне, ушедшей в бездну,
Страданья я страшусь лишь одного —
Что из твоей я памяти исчезну.

4

Услышь слова, что я сказать должна:
Тоску о мертвых порицать не надо.
Мне от тебя одна слеза нужна —
Моей любви последняя награда».

Он шел на песнь — и комнаты достиг
В тот самый миг, как нежный голос стих.
«Моя Медора! Песнь твоя грустна».

«Иной не будет без тебя она.
Мой Конрад, песня тем и хороша,
Что в ней, грустя, поет моя душа!
Ах, песня эта сердцу в лад звучит,
А коль умолкнет — сердце не молчит:
Ночами одинокими, впотьмах,
Мой страх кружился с ветром на морях
И мнил, что бриз, надувший парус твой,—
Начало непогоды грозовой
И что тебя уже оплакал он,
Как погребальный безутешный звон.
Я поднималась ночью, в поздний час,
Следить, чтоб свет маячный не погас,
Ждала, покуда не гасил рассвет
Ночные звезды,— а тебя все нет.
Холодный ветер грудь мне обдавал,
День предо мною мрачным предстával,
И не всплывали мачты кораблей
Наградой слез и верности моей.
Но в полдень... Боже! Твой корабль!.. Но нет —
Мелькнул чужого судна силуэт...
И вдруг — твой бриг, стремящийся сюда!
Пусть кончатся такие дни... Когда
Избавимся от жизни мы такой
С ее богатством, и когда покой
Нас в мирный дом введет своей рукой?
Ты знаешь, не страшусь я ничего —
Отсутствия боюсь лишь твоего,
Томлюсь, тоскую, плачу о тебе,
Любви бегущем, рвущемся к борьбе.
Как странно, Конрад: нежен ты со мной —
А на людей, на мир идешь войной!»

«Да, я таков — но жалит, мстит змея,
Задетая подошвой бытия.
Надежда — лишь в любви, что даришь ты,—
Ведь я лишен Всевышней доброты.
Но я судом обычным не судим:
Любовь к тебе — одно с враждой к другим,
Разъять слиянье — и тогда, любя

Весь род людей, я разлюблю тебя.
Но не страшись — нам прошлое сулит,
Что я и впредь с тобой пребуду слит...
Теперь, Медора, мужественной будь:
Я должен вновь уйти в недолгий путь». —
«Ах, знало сердце! Вновь уходишь ты...
Так гаснут все волшебные мечты,
Мы расстаемся, вместе не побыв...
А бриг вошел лишь час назад в залив,
Еще не подошел корабль другой,
Пред боем людям надобен покой...
Над слабостью не смейся, не спеши
С закалкой трепещущей души,
Себя игрой с тоской моей не тешь —
Игры тут мало, муки же все те ж.
О Коград мой, любовь моя, — стой!
Пила я светлой радости настой,
Легко трудясь, готова пир простой:
Плоды в саду для нашего стола
Я самые красивые брала,
Налившиеся соком; трижды я
Холм обогнула в поисках ручья
Прохладного — чтоб сладок был шербет,
Он ледяной, и в нем искрится свет!
Дары лозы не веселят твой дух,
Ты к звону чаш, как мусульманин, глух;
Я не сержусь — я не грущу о том,
Что называют жизнь твою постом.
Иди скорее. Стол уже накрыт;
Серебряный светильник наш горит,
Сирокко не страшась; нас ждет уют;
Прислужницы станцуют и споют;
В беспечной неге слух наш усладим
Гитарным звоном; или повторим
Песнь Ариосто, что волнует нас, —
О брошенной Олимпии рассказ.
Ведь ты б, сейчас меня покинув, был
Черней того, кто клятву позабыл,
Тезея хуже — помню, ты глядел,
Смеясь, на Наксос. «Вот и твой удел:
Уйти, забыв спасительную нить,
И мне с морским простором изменить!» —
Так я сказала в шутку и всерьез;
Но был в моих словах немой вопрос:

Не превратит ли Время в море слез
Мои сомненья? Но пришел ты вновь...» —
«Да, вновь, и вечно вновь, моя любовь!
Пока я жив и в небе есть для нас
Надежды свет — вернусь я, по сейчас
Разлуки миг летит к нам, и его
Не избежать, не минуть. Отчего
Мы расстаемся? Но не все ль равно:
Прощаньем все окончиться должно.
А о враге скажу тебе, что он
Не так уж нестигаем и силен;
Я здесь оставлю воинов отряд —
В нем ветераны штурмов и осад;
Останется с тобой привычный круг
Твоих служанок и твоих подруг.
Исчезнет тень угрозы, и, поверь,
Нам встреча будет слаще, чем теперь.
Но — чу! Трубят! Пора, пора идти!
Дай губы мне! Еще! Еще! Прости!»

Она на нем сомкнула рук кольцо,
К его груди прижав свое лицо;
А он не смел искать глазами взгляд
Глаз, что не слезы, а тоску струят;
Как ливень, изобилие волос
Ему на руки щедро пролилось;
В ее груди, чуть дышащей в тиши,
Его жил образ — суть ее души;
Она слилась так неразрывно с ним,
Что от нее он был неотделим...
Чу! Выстрела сигнального раскат —
Заката час, — и проклял он закат!
И обнял, и привлек ее к себе,
Прильнувшую к нему в немой мольбе,
Отнес на ложе и взглянул в упор,
И был как бы прощальным этот взор,
И, чувствуя, что в ней — его судьба,
Ушел, коснувшись поцелуем лба.

XV

«Ушел — я одинока!» Сколько раз
Еще звучать ужаснейшей из фраз!
«Он миг назад стоял здесь, а сейчас...»
Во двор Медора кинулась и там

Остановилась, волю дав слезам,
Не замечая, их она лила,
И все ж «Прощай!» промолвить не смогла:
Во что ни верь и что ни обещаю —
Отчаянье в трагическом «Прощай!».
На бледном лице — скорби властный след,
Его не снять, не смыть потоку лет.
Огромных, нежных глаз голубизна
Застыла, в пустоту устремлена;
Лишь облик друга уловив вдали,
Глаза безумной синью истекли;
Сквозь шелк ресниц, по белизне щеки,
Текли, текли печали ручейки.
«Ушел!» Смирив ладонью сердца стук,
Она небесный оглядела круг
И моря бурно дышащую грудь.
Вот белый парус! Вновь страхась взглянуть,
Скорбя, к дверям направилась она.
«Нет, я не сплю — мне скорбь в удел дана!»

XVI

Спускаясь вниз, среди каменистых гряд,
Ни разу он не поглядел назад,
И лишь когда изгиб пути среди скал
Оставленное видеть вынуждал,
Он вздрагивал: вверху виднелся дом,
Его встречавший после бурь, а в нем —
Она, Медора, грустная звезда,
Чей дивный луч светил ему всегда.
О ней — забыть, обратно — не смотреть:
Там отдых ждет — но с риском умереть.
И все ж едва он не рискнул судьбой,
Ее вручив случайности слепой...
Но истый вождь скорей погибнет вдруг,
Чем честь уронит из-за женских мук.
Вон — виден бриг, погода хороша,
Суровой силой полнится душа.
Вперед, вперед! Уже почувял он,
Как в уши бьется шумных сборов звон:
Причал бурлит, сумятицей объят,
Сигналят, машут веслами, вопят;
Он парусов услышал дружный плеск,
Увидел якорей подъятых блеск

И взмах платков — безмолвное «Прости!»
Тем, кто уходит в дальние пути,
И флаг кровавый — более всего! —
В мягкосердечье укорил его.
Себя он прежним ощутил опять:
Вперед, воитель, и ни шагу вспять!
Поспешный шаг, прыжок, рывок, бросок —
И вот прибрежный заскрипел песок.
Он сбавил шаг — не с тем, чтоб, кончив путь,
Дыханье бриза свежего вдохнуть,
А чтоб народ, что командира ждал,
Поспешности его не увидал.
Умел он скрыть страстей палящий зной,
Смирять толпу гордыней показной;
Вельможный вид, высокомерный взгляд
Издалека благоговеть велят;
Спокойствие, учтивость свысока
Любого укротят весельчака.
Он, подчиняя, тешился игрой,
Но все ж умел и снизить порой —
Он лаской мог от страха оберечь;
Что суть людей? — была важнее речь,
Которой вдруг пожалует их сам
Вожак, даривший музыку сердцам.
Но лишь немногих ждал такой удел:
Он подчинять, а не смягчать хотел,
Воспитан злом, он помнил: для борьбы
Не те в цене, кто любит, а рабы.

XVII

Вот и причал. Жуан собрал сюда
Отряд отборный. «Все готовы?» — «Да.
Все на борту, и лишь последний бот
Здесь, у причала, командира ждет,
Чтоб тронуться». — «Отлично. Плащ и меч!»
Меч у бедра колыхнется, и с плеч
Свисает плащ. «Где Педро?» Вот и он.
Учтиво Конрад отдает поклон:
«Возьми приказ — в нем действий наших суть.
Внимательным, Жуан, и точным будь.
Доверье в них и истина в них есть.
Удвой посты. Ансельмо жди. Приказ
Прочтите вместе. Ожидайте нас

С попутным ветром на победный пир
Дня через три. Да будет с вами мир!»
Рукопожатьем Педро одарив,
Он в бот шагнул, надменен, горделив;
Удары весел — каждое весло
Светящиеся всплески вознесло;
Вот судно — он взошел — взлетает ввысь
Свисток сигнальный — мышцы напряглись;
Послушен бриг, непогрешим штурвал,
И экипаж достоин всех похвал.
Он гордым взглядом поглядел вокруг...
Но что с ним? Отчего он вздрогнул вдруг?
Медоры замок перед ним возник —
И вновь он пережил прощанья миг.
Их парус увидала ли она?
О, как сейчас любовь его сильна!..
Но до восхода много важных дел —
И Конрад вновь собою овладел;
В каюте командирской, за столом,
Они с Гонзальво бодрствуют вдвоем.
Пред ним лежат, свечой освещены,
Помощники в делах морской войны —
Чертеж и карты; спор над грудой карт —
Что ночь тому, кем овладел азарт?
А бриз гудит в округлых парусах,
И бриг летит, как сокол в небесах,
За мысом мыс минуя на пути,
Чтоб затемно в желанный порт прийти.
Трубы подзорной зоркой глаз — и вот
Залив открыл наши галерный флот.
Видны сквозь редкий утренний туман
Огни галер беспечных мусульман;
Бриг Конрада прокрался мимо них,
В засаде стал на якорь и притих,
Укрыт от глаз враждебных, от беды
Массивом в море вдвинутой гряды.
Клич Конрада — и встал, к резне готов,
Отряд, вооруженный до зубов,
А вождь, храня невозмутимый вид,
О крови и о смерти говорит!

Песнь вторая

Conosceste i dubiosi desiri?
Dante¹

I

Огням галер в заливе счету нет,
Сквозь окна в ночь струится яркий свет —
Устроил пир в честь будущих побед
Сеид-паша: пиратов в кандалах
Он приведет — порукой в том Аллах
И меч паши! Собрал его фирман
В порту ладьи покорных мусульмап,
Заранее добычу поделив.
Порт многолюден, шумен и хвастлив,
Хоть враг далеко, но сомненья нет:
Им лишь отплыть осталось, и рассвет
Узрит пиратов пленных — а пока
Пусть спит дозорный, пусть его рука
Во сне разит, урон неся врагу!
А между тем толпа на берегу
Горланит, распалившись, как в бою,
Являя грекам ненависть свою;
Раздолье чалмоносцам, благодать —
Власть сабли над бессильным утверждать!

¹ Сомнительные страсти знали ль вы?

Данте

Врываться в дом — не с тем, чтоб зарубить,
Их руки нынче ленились убить
И не разят, щадят... Но, может быть,
Удар падет — для упражненья ль он,
Забавы ль ради будет нанесен?..
Бушует пир, в ночи земля дрожит.
Не хмурьтесь, вы, кто жизнью дорожит,—
Гремят посулы грозные солдат,
Покуда им оружием не грозят.

II

Сеид-паша на ложе возлежит,
Вокруг вожди — их поведет Сеид;
Окончен пир, и убран плов давно;
Он пить посмел запретное вино,
Другие же — как и велел Пророк —
Пьют лишь душистых ягод трезвый сок.
Кальян струит густые облака,
Танцуют альмы, музыка дика.
Заря вождей увидит на борту —
Ведь ночью плыть опасно в темноту,
На ложе слаще выпится хмельной,
Чем в море, над суровой глубиной.
Оружье спит, пока сигнал не дан,
Сулит победу праведным Коран,
Подтверждено Сеида хвастовство
Обильем войск под знаменем его.

III

К Сеид-паше надменно идет,
Сгибаясь раболепно, страж ворот.
Смиренно оглядел он пышный зал,
Рукой коснулся пола и сказал,
Что дервиш, ускользнувший из гнезда
Пиратского, сейчас пришел сюда.
Паша кивнул, и дервиш, в зал войдя,
Стал пред лицом турецкого вождя,
Неровный шаг, лица землистый цвет,
Зеленый плащ на страннике надет;
Казалось, от постов он изнемог,
Не страх, а голод вызвал бледность щек;
Величественно черноту волос

Венчал колпак: дыхание рвалось
И грудь вздымалась, из которой сам
Он все изгнал, что чуждо небесам.
Уверенный, спокойней всех стократ,
С достоинством встречал он каждый взгляд.
Но все ж, казалось, ждет его душа:
Когда начнет спрашивать паша?

IV

«Откуда ты?» — «Бежал, судьбой храним,
Я от пиратов». — «Как попал ты к ним?» —
«Я к Хиосу на судне плыл, но бог
Нам, за грехи карая, не помог.
Доход купцов — торговли щедрый дар, —
Нас заковав, себе забрал Корсар.
Мне смерть не в страх, нет ни богатств, ни жен,
Но я свободы странствий был лишен;
Рыбачий ветхий брошенный челнок
Внушил надежду и бежать помог.
Я в ночь ушел — и здесь обрел покой,
От бед твоею огражден рукой!» —
«А что пираты? Знают ли они,
Что ждет их смерть, что сочтены их дни?
Боятся ль нас? О том известно ль им,
Что пламени гнездо их предадим?» —
«Сеид-паша! Никчемный я шпион:
Лишь на побег был взор мой устремлен,
Я видел только синий небосклон —
Для пленного был слишком ярк он;
Я слышал лишь, как буйствуют валы, —
Они разбить не в силах кандалы;
Но верил я: избавлюсь от цепей
И осушу горячих слез ручей.
А мой побег — на твой вопрос ответ:
У них пока предчувствий черных нет,
Иначе случай зря бы я искал
Покинуть край пиратских диких скал;
Беспечный страж, проспавший мой уход,
И твой проспит непобедимый флот...
Паша! Меня измучила волна,
Я ослабел, я жду еды и сна;
К стопам твоим нелегким был мой путь.
Мир всем вокруг! Дозволь мне отдохнуть».

«Стой, дервиш, стой! Еще не время спать.
 Продли рассказ. Не прекословь мне! Сядь!
 Я прикажу еду тебе подать,
 Ты на пиру не будешь голодать.
 А кончишь есть — готовься отвечать,
 Я не приемлю скрытности печать».
 Что зря гадать, чем дервиш был задет,
 Но хмуро поглядел он на совет
 Мужей войны. Казалось, что ему
 И пир не в пир и гости ни к чему.
 Недобрый гневный отблеск багреца
 Коснулся щек и вмиг исчез с лица.
 В молчании за пиршественный стол
 Он сел — и вновь спокойствие обрел;
 Но яства и напитки все подряд
 Он отвергал, как будто в них был яд.
 Для тех, кто был так долго осужден
 На пост и труд, себя вел странно он.
 «Ты что ж не ешь? Иль ты нам всем не друг?
 Иль христиан увидел ты вокруг?
 Ты соль отверг — святыню! Ведь она,
 Вкушенная совместно, племена
 Враждебные смирит, притупит меч,
 Противников сведет для братских встреч».
 «Соль — роскошь, о паша! Моя еда —
 Одни коренья, и питье — вода;
 Я Ордена запрет не перейду:
 Не должен я с людьми делить еду;
 Что говорить, он странен, мой закон,
 Но никому вредить не может он.
 А я и ради трона, о паша,
 Среди людей не стал бы есть, греша;
 А если я нарушу свой зарок,
 Мне путь мой в Мекку преградит Пророк».—
 «Ну, что же — будь по-твоему, аскет;
 Иди, ступай — но прежде дай ответ:
 Их много ли?.. Аллах!.. Светло как днем!..
 Какое солнце жжет залив огнем?..
 Кто свет разлил?.. Кого мы проклянем?..
 Предательство! Эй, стража! Где мой меч?..
 Горят галеры! Как их уберечь?..
 Шпион, проклятый дервиш! Вестник лжи!
 Лови его! Руби его! Держи!»

И вспрянул дервиш, яростен и скор,
Преобразившись, устрашал он взор:
Он выглядел не странником святым,
А всадником, несущимся сквозь дым;
Он сбросил плащ и прочь колпак швырнул,
Броня блеснула, грозно меч сверкнул,
Плюмажем черным был увенчан шлем,
Глаза — как угли; мусульманам всем
Явился он как Африт — демон зла,
Чья злоба правоверным смерть несла.
Ворвался в окна пламени багрец,
И блеск его заполонил дворец,
Сумятица, многоголосый крик,
Лязг — меч о меч — броня к броне — впритык,
Дух ада здесь, над схваткою, возник!
В смятенье турки увидали брег,
Залитый кровью, волн горящих бег;
Паши команда каждому страшна:
Взять дервиша?! Да он же сатана!
Узрев их страх, Кюрсар сказал себе:
«Нет, я не сдамся — вопреки судьбе,
Хоть пламень слишком рано запылал —
Когда еще не прозвучал сигнал».
Узрев их страх, он в рог свой протрубил
И услышал, как грянул что есть сил
Ответ его людей.

«А я решил,
Что эти люди к сроку не придут,
Что я один на смерть остался тут!»
Взмахнул рукой он—сталь, крутясь, свистит,
Грозит, разит, за промедленье мстит;
Гнев Конрада и трепет их сердец
Неотвратимый им сулят конец,
Лишь у немногих сохранился дар —
Ответствовать ударом на удар.
Свиреп и гневен, тяжело дыша,
Сражаясь, отступает сам паша;
Смятеньем силу Конрада крепя,
Хоть и не трус, но, потеряв себя,
Пожаром флота сломленный, бежит,
В безумье вырвав бороду, Сеид.
Ведь медлить — смерть: уже пиратский сброд
Ворвался в дом, сломив заслон ворот;
Страж на колени падает, крича

О милости... Вотще! Из-под меча
Струится кровь; корсары рвутся в зал,
Куда их рог начальника призвал.
Крик, стоны, ругань пополам с мольбой
Дают им знать, как завершил он бой;
Ворвавшись, видят: он стоит теперь,
Как растерзавший жертву лютый зверь;
Крик ликования — а в ответ звучит:
«Все хорошо, но жив еще Сеид;
Все хорошо, но есть немало дел:
Их флот горит, а город еще цел!»

V

И факелы взметнулись! Мигом дом
Охвачен был ликующим огнем.
В глазах вождя восторга блеск возник;
Но вдруг он замер: дальний женский крик
Достиг ушей — как погребальный звон,
Ударил в сердце каменное он.
«О, крик в гареме, в пламени, в огне!
О наших женах он напомнил мне,
Страдающих так часто без вины;
Мы убивать и гибнуть рождены —
Но нежный пол всегда падать должны!
Как? Буду я причиною тому,
Что беззащитных смерть сразит в дыму?
Иду я! Кто со мною? Нам дано
Смыть с наших душ хотя б одно пятно!»
Идет вперед, ломает дверь Корсар,
Не чувствуя, как жжет подошвы жар;
Из зала в зал, по лестницам крутым
Они спешат, глотая едкий дым;
Ура! Нашли! И вот любой пират
Затворницу принять в объятья рад,
Взять эту слабость к силе на постой —
Так должно обращаться с красотой,
Ее оберегая и щадя,—
Таков приказ свирепого вождя.
Но кто она, прильнувшая к нему
Средь стен коптящих, в пламени, в дыму,
Чью жизнь спасти вела его судьба?
Гарема перл — Сеид-паши раба!

VI

Словцом-другим едва успел Корсар
Приободрить дрожащую Гюльнар;
Недолго жалость на войне царит:
Сперва был враг уверен, что разбит,
Но, никого не видя за собой,
Замедлил бег и снова начал бой —
Сеид-паша вдруг увидал, как мал
Отряд, который волю их сломал;
Стыд жжет лицо при мысли, сколько зла
Им, правоверным, трусость принесла.
«Велик Аллах!» — вопит и воет Месть,
И Стыд кричит: «Погибель или честь!
За пламя — кровь!»

Разбойников увлек
И вспять швырнул сражения поток.
Вернулся Конрад к прерванной борьбе
Не для трофеев — жизнь сберечь себе.
Он вдруг увидел, как его отряд
Магометане, осмелев, теснят:
«Один рывок, чтобы прорвать их вал!»
Сошлись — рванулись — дрогнули — провал!..
Кольцо все уже, все сильнее нажим,
Все безнадежней дальше драться им,
Их рассекли, отряд их раздробя,
Теперь дерется каждый за себя
И падает, врагами окружен,
Не сталью, а усталостью сражен;
«Прощай!» Дыханье гаснет на устах,
И меч зажат в мертвеющих перстах..

VII

Но до того, как сшибся вновь металл,
Как ряд на ряд в противоборстве встал,
Гюльнар и всем, кто был вокруг нее,
Нашли единовверного жилие —
Таков приказ был Конрада. Тогда
Просохли слезы страха и стыда
У темноглазой леди. И она
Удивлена была и смущена
Тем, что заботы Конрада и взгляд
С суровой речью война не в лад.

«Как странно, что грабитель, весь в крови,
Нежней казался, чем Сеид в любви:
Тот страсть дарил, как будто бы она
Быть для рабыни счастием должна —
Корсар помог, и защитил, и спас,
Как будто уважать обязап нас!
С ним встретиться падежду я таю
И благодарность высказать свою,
Ведь жизнь мою сберег мпе он один —
Меня спасти забыл мой господин!»

VIII

Но вот он в гуще свалки и резни,
Средь бездыханных — счастливы они! —
Отрезанный, сражаясь против всех,
Расплачиваясь за былой успех,
Упал — а смерть промчалась стороной! —
И схвачен был — для казни площадной,
Чтоб умереть — но медленно, не вдруг,
Пока Возмездье ищет новых мук
И кровь щадит, чтоб дать ей течь опять —
По капельке — все время умирать,
Не умирая, — этот приговор
Порадовал бы турка алчный взор.
Ах, он ли — рыцарь, жест небрежный чей
Законом был для яростных мечей?
Да, он! Разбит, но так же горделив,
Скорбит о том лишь, что еще он жив;
Что раны — вздор! Такое предстоит,
Что он убийцу возблагодарит,
Который в преисподнюю, во тьму,
Его бы вверг — не нужен рай ему!
В живых остаться должен ли такой,
Кто чаще прочих Смерти был слугой?
Он чувствовал, что чувствует любой,
Когда бывает присужден судьбой
К расплате за былое; был готов
К мученьям долгим, к выплате долгов;
Но Гордость, вдохновив его дела,
И здесь, в плену, достоинство блюла:
Суров, сосредоточен, он хранит
Воителя несломленного вид,
Не видно, как слабеет дух, — такой

Начертан на лице его покой.
Звучит все громче, грозен и угрюм,
Вокруг него толпы свирепой шум,
Но истый воин не кричал — он чтит
Того врага, кто страху научил,
И те, кто вел плененного в тюрьму,
Приглядывались с ужасом к нему.

IX

Был послан лекарь, чтоб определить:
У пленного крепка ли жизни нить?
Да, он до завтра может жить и ждать,
Чтоб поутру под пытками страдать,
И это будет лишь начало бед —
Его посадят на кол, а рассвет
Другого дня придет и будет рад
Глядеть в упор, как корчится пират.
Да, эта казнь мучительно длинна:
Томит безмерной жаждою она,
А смерть все медлит жажду утолить:
Крик воронья, хрип еле слышный: «Пить!..»
Но ненависть кривит в усмешке рот:
Ведь дать воды — и мученик умрет...
И врач ушел, неумолим, как Рок,
А он остался, горд и одинок.

X

Изобразим ли чувств бурлящих шквал?
Навряд ли даже сам он все их знал.
Бывает, что в душе как бы война,
И, хаосом охвачена, она
В смятении противится, дрожит,
Когда твердит о покаянье Стыд;
Смолчав и отступивши столько раз —
«Предупреждал я!» — он кричит сейчас;
Но зря! Томясь, отбросит страха груз
Свободный дух — а кается лишь трус.
Дух, гордый в час, когда он смят судьбой,
Раскроет все перед самим собой —
Но не одну навязчивую страсть,
Все отметать имеющую власть,
А зрелища безумного черты:
О страсти и о нежности мечты,

Рожденные, чтоб тут же умереть;
И славу обреченную, и смерть,
И радость миновавшую, и гнев
К тем, кто теперь хулит нас, одолев;
Былого скорбь, сужденья наугад,
О том, что ждет в грядущем — рай или ад;
Вернувшиеся мысли и слова —
Те, что доньше помнились едва;
То, что легко, бездумно в жизнь вошло
И что теперь, по размышленью, — зло;
Грех спрятанный, сокрытый в глубине,
И потому терзающий вдвойне, —
Короче, склеп, где все обнажено,
Где сердце оголенное — оно,
Как зеркало души, живет, пока
С ним не покончит Гордости рука.
Да, Гордость скроет, Мужество презрит
То, чем паденье смертное грозит:
Страх знают все, но кто его скрывал,
Тот лицемер, достойный всех похвал, —
Не трус-беглец, герой из болтунов,
А тот, кто молча умереть готов;
Предвидя все и дух свой укрепив,
Идет на смерть он, смел и горделив.

XI

В старинной башне, хмурой и большой,
Сидит Корсар, закованный пашой.
Дворец сгорел, но форт, оставшись цел,
Вместить и двор и пленника сумел.
Не ропщет Конрад: в случае другом
И он бы так же поступил с врагом.
Он побежден, он одинок, но в грудь
Сумела воля мужество вдохнуть;
Одну лишь мысль не мог он перенести:
«О, как Медора встретит эту весть?»
Он цепь рванул, не пересилив гнев,
Бряцающие руки вверх воздев
На миг лишь, — но собою овладел
И усмехнулся горько:

«Мой удел

Ждать пытки, быть всегда готовым к ней,
Мне отдых дан, чтоб стать ее сильней,

Не дрогнуть днем!»

И вот, промолвив так,
Он сном забылся, пав на свой тюфяк.

Была лишь полпочь, когда бой возник —
Ведь план его осуществился вмиг:
Не медлит буйство — требует оно,
Чтоб злое было сразу свершено;
Один лишь час, как, высадившись, он
Скрыт—узнан—счастлив—схвачен—осужден,
На суше — вождь, на море — сатапа,
Злодей — спаситель — узник — данник сна.

XII

Он спал спокойно, так легко дыша,
Как будто бы счастливая душа
Рассталась с ним. Но кто сложился вдруг
Над сном его? Ушли враги, а друг,
Увы, далек; быть может, серафим?
Нет, дочь земли, но с ликом неземным.
Прикрыв светильник белою рукой,
Чтоб сонный не смутить очей покой:
Им суждено раскрыться в должный час
Для мук — и вновь закрыться только раз.
Ее глаза темны, щека нежна,
В волну волос нить перлов вплетена,
Легко земли касается нога,
Бела, как лебедь белый, как снега.
Презрев посты, пришла Гюльнар сюда!
На все способна жепщина, когда
Она смела, добра и молода...
Уснул паша — ему во сне Корсар
Явился вновь; но не спала Гюльнар:
Покинув ложе, прихватив с собой
Кольцо паши с печаткою резной,
Она прошла, не прячась, не таясь,
Средь сонных стражей, знавших перстня власть.
Завидовали б Конраду они,
Его увидев спящим; от резни
Устав, они сидели у дверей,
Мечтая сном забыться поскорей,
Не думая, что может означать
Столь чтимый знак — Сеид-паши печать.

Опа глядит: «Он спит спокойным спом,
 А чьи-то очи слезы льют о нем!
 И я смотрю влюбленно, как раба,
 Так стал он дорог... Это ворожба!
 Иль благодарность? Да, быть может: нас
 От смерти он и от позора спас.
 Ах, поздно думать! Чу! Уходит сон —
 Как тяжки вздохи! О, проснулся он!»
 Он разомкнул ресницы. Лампы свет
 В лицо ударил. Спит он или нет?
 Рукой он двинул — цепи ржавый звук
 Ему сказал, что жив он — жив для мук.
 «Но кто ты, призрак? Если не мираж —
 Прекрасней пери мой тюремный страж!»

«Благодарить пирата я пришла
 За добрые, столь редкие, дела;
 Ты защитил от пламени меня
 И от людей — они страшней огня;
 Пришла сюда, прокралась... Почему?
 Я не хочу, чтоб ты ушел во тьму...»

«О, если б так! Но сердцу твоему
 Смириться надо с горестным концом:
 Паша удачлив — значит, прав во всем.
 Но все ж его благодарю пока
 За склеп роскошный, за духовника!»

Хоть странно это — не спасая нас,
 Веселье с горем сходится подчас;
 Сбить с толку Грусть Веселью не дано,
 И все ж смеется рядом с ней оно.
 Бывает, мудрый шутит до поры,
 Пока на плахе эхом топоры
 Не отзовутся!.. Радость ли? Ничуть —
 Свое ведь сердце трудно обмануть.
 Веселье это к узнику пришло —
 Смех разровнял и осветил чело,
 Как будто было это шутовство
 Последнею забавой для него,
 Ему, однако, чуждой, — на земле
 Он слишком редко думал не о зле.

«Таков твой Рок — по все же я могла б
 Смягчить пашу в тот час, когда он слаб.
 Увы, нет сил сейчас тебя спасти —
 С дороги смерти к жизни увести;
 Всего лишь на день отодвинуть твой
 Сумею приговор я роковой;
 А большего ты б сам не пожелал —
 Попытки, обреченной на провал».—
 «Да, ты права! Признал я Рока власть;
 Так пизко пав, я не боюсь упасть.
 Не искушай, рискуя головой,
 Надеждою — проигран мною бой,
 И мне ль, когда моя погибла рать,
 Схитрить и отказаться умирать?
 Но есть Одна — стремится память к ней,
 Столь простодушной в нежности своей.
 Где те, с кем был когда-то близок я:
 Мой бог — мой меч — мой бриг — любовь моя?
 Я бога бросил — ныне брошен им,
 По воле божьей попран и гошим,
 Но стыдно, призывая благодать,
 К его стопам трусливо припадать,—
 Я жив, дышу,— и я могу страдать!
 Мой острый меч не сберегла рука,
 Не стоящая верного клинка;
 Мой бриг захвачен; по любовь моя —
 О, за нее могу молиться я!
 Мой на земле единственный оплот —
 И вот ей горе сердце разобьет...
 Пока не появилась ты, Гюльпар,
 Я мнил, что нет других, столь дивных чар».—
 «Так ты влюблен в другую? Боже мой!
 А впрочем, что мне до любви чужой?
 И все же... Я завидую давно
 Тем, чьи сердца сливаются в одно,
 Тем, кто не знает скуки бытия,
 Вдыханий, грез — того, что знаю я».

«А разве ты не тянешься к тому,
 Для чьей любви я спас тебя в дыму?»

«Любить пашу?! Нет в сердце ничего,
И страстью отвечать на страсть его
Я не могла — ведь знала я давно:
Лишь на свободе жить любви дано.
Раба ж — хоть и любима, — но она
Лишь украшеньем быть осуждена!
Вопрос душе: «Ты любишь?», а ответ
Скрываемый от всех и жгущий: «Нет!»
Как тягостно терпеть чужую страсть,
Смиряться, чтоб в отчаянье не впасть,
Но много тяжелей скрывать в душе,
Что страсть к другому родилась уже!
Властитель руку трогает мою —
Ее не прячу я и не даю,
Нет ни любви, ни ненависти в ней,
Пульс бьется не слабей и не сильней,
От остального, чем дарит Сеид,
В смятенье память хладная дрожит...
Уже взошла бы ненависть в душе,
Когда бы я дарила страсть паше;
Придет, уйдет — равно ненужен мне,
Он близко, но не в сердце, а вовне...
Страшусь раздумья честного — оно
Мне отвращенье принести должно;
И я, раба, боюсь судьбы иной,
Что хуже рабства — стать его женой.
«О, вырви страсть, — сказать ему пора, —
И отпусти от пышного двора —
Хоть в мир иной, в небытие, во тьму!» —
Еще вчера сказала б я ему.
Ищу я во влюбленности предлог
Лишь для того, чтоб твой сломить замок.
Ты спас мне жизнь недрогнувшей рукой —
А я спасу и возвращу покой
Твоей любви — мне не видать такой...
Прощай — иду я — близится восход,
Не бойся — смерть сегодня не придет!»

XV

Она прижалась грудью к кандалам,
Кивнула, и легко пошла к дверям,
И миг исчезла, как прекрасный сон —
Была ли здесь? Сейчас один ли он?

Вот на цепях алмазов светлый след —
О ближнем слезы — их святее нет —
Добытые из глуби Естества,
Граненные руками Божества.

О, довод сокрушительный — ручей,
Из женских истекающий очей!
Плач женщины — оружие ее —
Разит, спасает — панцирь и копьё;
Сдается Сила, Разум с толку сбит,
Когда, любя, на плач ее глядит.
Что сокрушило дух героя? Грусть
И слезы Клеопатры. Все же пусть
Найдет прощенье слабый триумвир:
Теряем мы подчас не бранный мир,
А Небеса, душой склоняясь ниц
Пред сатаной, — чтоб радовать блудниц!

XVI

Над узником измученным рассвет
Струит лучи — надежд вчерашних нет;
Он может к ночи хладным трупом стать,
И будет ворон траурный летать,
Не видимый, не чувствуемый им.
Роса туманом, свежим и сырым,
Коснется, животворная, всего
И оживить не сможет лишь его!

Тлеснь третья

Come vedi — ancor non m'abbandona.

Dante¹

I

Прекрасно солнце пред концом пути,
Когда, готовясь за холмы зайти
Не бледным кругом северным, а свой
Свет изливая радостный, живой,
Луч желтый опускает в глубину
И золотит зеленую волну.
Над Этной, над скалистой высотой
Бог благостный с улыбкой золотой
Своей земле дарит лучи зари,
Хоть там его не чтутся алтари,
По склонам плавно двигается вниз —
И тени гор целуют Саламис.
Лазурный багровеет небосвод,
В себя вбирая спелый блеск, и вот
Огромным небом завладевает сполна,
Путь Феба красят нежные тона,
Пока, от вод и суши отделен,
У скал Дельфийских он не канет в сон.
На луч такой над крышами Афин
Глядел, прощаясь, их мудрейший сын,

¹ Ты видишь — он со мной не разлучен...

Данте

И город ждал заката — и конца
Последнего дня жизни мудреца.
Еще светило, на холме лучась,
Длит драгоценный расставанья час,
Но грустен свет, и обреченный взор
Безрадостными видит краски гор,
Как будто мрака пролит там фиал,
Где Феб издревле хмурым не бывал.
Но до того, как Киферон потух,
Был выпит кубок — и вознесся дух
Того, кто страх и бегство презирал,
Кто несравненно жил и умирал!

Но вот, сойдя в поля с Гиметских гряд,
Торжественно вершит немой парад
Царица Ночь, и никакой туман
Не закрывает лик ее и стан;
Ей белая колонна шлет привет,
Вбирая в каннелюры лунный свет;
Над минаретом — полумесяц; он
Сиянием дрожащим окружен;
Свой скудный ток едва струит Сефиз;
Темно в просторных рощах, кипарис
Печален у мечети; зыбкий лоск
Струит, блестя, мерцающий Киоск;
Маячит пальма сумрачная там,
Как воин, сторожа Тезеев храм,—
Все мапит взгляд, все краски, все цвета,
И тот лишь слеп к ним, чья душа пуста.

Утихла, отрешившись от забот,
Междоусобица эгейских вод,
А волны, нежность красок воскресив,
В сапфирно-золотой слились массив,
Лишь острова, нахмурившись вдали,
Улыбкой добрых вод пренебрегли...

II

Не вы предмет мой — что же к вам я льну?
Но кто же может глянуть на волну —
И вас не вспомнить? Сила волшебства
Доныне в вашем имени жива!
Над вами солнце увидав хоть раз,
Мои Афины! — кто забудет вас?

Не тот, чье сердце вечно бьется в лад
С очарованьем, с магией Циклад;
Его стихи восторгом внушены...
О, если б со свободной всей страны
Корсаров остров был свободным — оп,
О Греция! — твоим был испокон!

III

Угас закат — и на сердце темней;
Медора ждет; приходят в башню к ней
Три дня подряд — рассвет — закат — рассвет, —
Но ни вестей, ни Конрада все нет!
Был ясен воздух, ветер был хорош;
Ансельмо возвратился — но все то ж:
«Я ждал, но встречи не было у нас!»
Таким же скорбным был бы наш рассказ,
Но все ж иным, когда бы корабли
Друг к другу на свидание пришли.

Медора день на башне провела,
Следя за всем, что парусом звала
Надежда. Нетерпения порыв
Ее увлек на берег; весь залив
Стонал под ветром; ей грозила ночь,
Рвала одежды, прогоняла прочь.
Она брела — что ветра ей полет,
Что холод ей, когда на сердце лед! —
И перед взором мысленным возник
Его преображенный смертью лик!..
Но вот и челн. Команда челнока
Увидела подругу Вожака...
Они не знали сами, как ушли,
Изранены, избиты, от петли, —
Молчат они. Казалось, каждый нем
И ждет речей другого. Было всем
Что рассказать о Конраде, но страх
Удерживал все речи на устах.
Ей видно это было; но удар
Не сбил ее, не свергнул в дрожь и жар;
Была в ней, кроткой, эта благодать —
Терпеть, смягчать, надеяться и ждать;
Надежда есть — все чувства ей сродни,
Надежды нет — и как бы спят они,

И мудрость не избыть, не позабыть.
«Пред чем робеть, коль нечего любить?»
И, горьким этим знанием полна,
Проговорила сбивчиво она:
«Молчите вы? Ну что ж, молчите! Мне
Известно все и ясно все вполне;
Но лишь одно — ах, словно рот зашит! —
Нет сил спросить: где Конрад мой лежит?»

«Не знаем мы — самих лишь случай спас;
Но Конрада видал оди из нас:
Был связан он, и кровь струей лилась...»

Медора, над собой утратив власть,
Сознание больше не смогла сберечь —
Так в сумрак сердца вторглась эта речь, —
Упала — и бесчувственный прибор
Ее едва не утащил с собой;
Но сила слез и сила грубых рук,
Поспешность, жалость — все смешалось вдруг,
Чтоб ей помочь — от волн ее спасти —
Поднять — держать — в сознание привести —
Позвать служанок — увести домой —
Печалиться пад ней, полуживой, —
И, наконец, — к Ансельмо! Он сейчас
Услышать должен горестный рассказ...

IV

Шумит совет! Всех планов и не счесть;
Они кричат: «Спасенье! Выкуп! Мечь!»
Лишь: «Бегство, отдых» — не слышны слова, —
И, значит, воля Конрада жива.
Его они, над кем царил он тут,
Спасут живым иль мертвым погребут;
И горя враг отведает сполна
От тех, чья доблесть верности равна!

V

В гареме, озабоченный, сидит
В раздумье о разбойнике Сеид;
В душе любви и ненависти жар —
То с дерзким пленным мысли, то с Гюльнар,

Лежащей тут, у ног его,— она
Смягчить пашу решимости полпа.
Но пылкий взгляд огромных черных глаз,
Увы, не властен над пашой сейчас;
Он хмур; хоть взор на четки устремлен,
Но только кровь Корсара видит он.

«Паша! ты снова баловень побед,
Взят Конрад, и пиратов больше нет;
Пусть он заплатит за свои дела!
А все же плата для тебя мала.
Я думаю, что жизнь ему вернуть
За все богатства — это мудрый путь.
Твердят, что тьма сокровищ у него —
Ты мог бы стать хозяином всего!
Он силу потерял, разбит, и с ним
Хлопот не будет. Если же казним,
Остатки банды заберут тогда
Сокровища — и сгинут без следа».

«Когда б за каждый вражий волосок
Я получить рудник бесценный мог,
Когда б за каплю крови дали мне
Алмаз, Стамбулу равный по цене,
И все добро, какое знает свет,
Из наших сказок,— я сказал бы: «Нет!»
Час мук его с богатством несравним!
В цепях Корсар, и властен я над ним;
Теперь одно важнее всех забот:
Какая пытка медленней убьет?»

«Твой гнев, Сеид, и мудр и справедлив,
Ты правым был бы, ярость утолив;
И все ж прошу: богатством завладей!
Живому,— но без денег, без людей,
Разбитому,— грозило бы ему
Быть схваченным по слову твоему». —
«Грозило бы?! Опять считаться с ним,
Сегодняшним заточником моим?
По чьей же просьбе будет жив злодей?
Прекраснейший ходатай,— по твоей!
Гяур снискал признательность твою
За то, что пощадил тебя в бою;
Хоть к прелести трофея был он слеп,
Но не был он, как с прочими, свиреп.»

Я рад, и благодарность велика;
Но слово есть для нежного ушка:
Тебе не верю! Каждый твой совет
Льет на сомненье подтвержденья свет.
В его руках, несомая сквозь дым,
Ты медлила, чтоб не расстаться с ним!
Не отвечай мне — признаки вины
Уже румянцем на щеках видны.
Эй, женщина двуличная! Услышь:
Он смертен не один. И слово лишь —
И ты... Но нет!.. Довольно!.. Не хочу...
Будь проклят миг, когда к его плечу
Припала ты... Уж лучше бы пожар...
Я как любовник плакал о Гюльнар —
Теперь же господина слушай речь:
Я в силах крылья дерзости отсесть,
Я скор на дело — это не секрет,
Не думай, что на ложь управы нет!»

Ушел паша, медлителен, суров,
Гюльнар оставив гнев грозящих слов...
Не встретил в жизни, видно, женщин он,
Не ведающих никаких препон;
Гюльнар, не знал он сердца твоего —
На что подвигнуть может страсть его!
Ей и самой-то было невдомек,
Как корень сострадания глубок;
И пленник и паложница — равны,
Им лишь названья разные дапы.
Она, забыв угрозы,— будь что будь! —
Опять рискнула встать на страшный путь,
Сеид-паши необоримый гнев
И бедствия грядущие презрев!

VI

За часом час, тревожно, тяжело,
Устало, монотонно время шло —
Пугающая пауза, когда
Страшней, чем смерть, могла прийти беда,
Когда шагов за дверью грубый стук
Мог означать начало страшных мук,
И шум любой, перелетев порог,
Последним звуком стать для слуха мог.

Как быть спокойным? К смерти мощный дух
Непримирим, покуда не потух.
Он был измучен, но сражался все ж,
И этот бой с другими был несхож:
Жар битвы или пляска бурных вод
Для страха мало времени дает;
Но, скованный, приговоренный, он,
Тоскою осажденный, осужден,
Томясь, взглядеться в сердце и познать
Судьбу и вины — первой миновать
И искупить вторые — поздно; счет
Вести часам, покуда смерть придет;
И нет друзей, чтобы поведать мог
О том, что смерть ступает на порог;
Вокруг враги — из них готов любой
Облить последний час твой клеветой;
А впереди мученья — побороть
Душа их сможет, выдержит ли плоть?
Один лишь крик страданья очернит
Твою опору — доблесть — твой гранит;
Любвеобильным Небом решено,
Что жить в раю тебе не суждено
Тут, на земле. А там — не нужен он:
Ведь ты с любимой будешь разлучен...
Вот хаос дум! Вот мука, что сильнее
Обычных мук, — он биться должен с ней!
Он бился, устоял под градом бед,
Он тверд остался — и паденья нет!

VII

Так дни прошли, растаяв без следа,
И больше не пришла Гюльнар сюда,
Но силы, равной женским чарам, нет, —
Иначе б он не увидал рассвет.
В четвертый раз угаснул шар златой,
Смешалась мощно буря с темнотою;
О, как он слушал волн безумный хор,
Над сном его не властный до сих пор,
Как дух метал желания во тьму
Под рев стихии, родственной ему!
Он часто мчался, волны оседлав,
Влюбленный в их неукротимый нрав, —
Теперь же шумный, буйствующий вал

Вотще его, закованного, звал!
Перекрывая ветра гулкий вой,
Трясли удары тучи грозовой
Всю башню; были молнии мечи
Желанней звезд, сияющих в ночи,—
Он цепь в окно протаскивает — ждет,
Молясь, чтоб стал убийцей небосвод,
Чтоб свой же Небо отобрало дар,
Ему послав спасительный удар.
Презрев постыдный, нечестивый крик,
Катилась буря дальше; ветер сник,
Гром замолчал — он снова одинок,
Как будто друг неверный не помог!

VIII

Но в полночь вдруг Корсар услышать смог
Негромкий шаг проворных женских ног —
Засова лязг — распалась тишина:
Как и вещало сердце — вновь она!
Грешна ли, нет — но для него чиста,
Прекрасный ангел — узника мечта,
Она свой облик прежний не хранит:
Стан трепетней, бледнее цвет ланит.
И в глубине сверкающих очей
Прочел он: «Смерть!» — до всех ее речей.
«Да, смерть,— и есть один лишь путь, пират,
Он плох — но пытка тягостней стократ».

«Я не ищущ спасенья — я сейчас
Все тот же Конрад, что и в прошлый раз.
Отвержен я; зачем менять тебе
Хоть что-то в приговоре и в судьбе?
Я заслужил — грехов моих не счастье! —
За зло былое нынешнюю месть».

«Зачем менять? Корсар, не ты ли нас
От худшего, чем рабский жребий, спас?
Зачем менять? Ты стал глухим вконец
К биению женских трепетных сердец!
Что спрашивать у женщины! Она
Молчать о том, что чувствует, должна;
Ты пробудил, взяв над душою власть,
Страх — благодарность — скорбь — безумье — страсть;

Не трать слова напрасно, говоря,
Что ты — с другой и что люблю я зря;
Пусть грудь ее нежней и стан стройней,
Но я смелей — опасность не по ней.
Была б ей драгоценна жизнь твоя,
Она была б с тобою, а не я.
Ты шел один в скитающа, в непокой —
Да где ж душа у женщины такой?
Молчи, молчи, висит над нами меч,
Готовый вмиг дыханье нам пресечь;
Ты хочешь воли? Смелость есть в груди?
Возьми кинжал — вставай — за мной иди!»

«В моих цепях?! Проклятый лязг оков
Всех дремлющих поднимет с тюфяков!
Бежать в цепях? Железо кандалов
Хранить как меч для вражеских голов?»

«О, малонер! Подкуплен мною страж —
Он враг Сеида, он помощник наш;
Один мой жест — и цепи разомкнут,
Без помощи могла ли быть я тут?
Столкнулись мы — и день за днем идет
Под знаком зла, обмана и забот.
Зло? Нет, не то! Источник зла — Сеид.
Тиран проклятый должен быть убит!
Ты дрогнул? Оскорбленная душа
Живет, на месть надеждою дыша:
Измен не зная, честно я жила,
Хоть и рабыня — верной я была;
Глумленья дух Сеид-пашу увлек:
Была чиста я — был ты мне далек,—
Но он грозил, от ревности дрожа,—
Тиран, раздувший пламя мятежа!
Да будет то, что предсказал паша!
Меня купил он. Сделка хороша,
Раз получил в придачу он ко мне
И сердце, неподвластное цене.
Терпела я. Он, в ярости тупой,
Сказал, что я сбежала бы с тобой;
За лживость Рок Авгуру отомстит:
Пророчество Обида воплотит!
Ты не казнен не по моей мольбе,
А чтоб найти страшнее казнь тебе,

Чтобы вернее честь твою убить,
Отчаянье мое усугубить.
Он мне грозил расправой; но пока
Мне жизнь спасает похоть старика;
Когда ж устанет он от женских чар,
Мешок со мною море примет в дар!
Игрушка ль я, которая мила,
Покуда позолота не сошла?!
Люблю тебя, спасу! Твоя судьба —
Изведать, как благодарит раба!
И если б даже не ждала беда
(А гнев его злопамятен всегда!),
Спасла б тебя я — но и этот зверь
Не умер бы... Нет, я твоя теперь;
Во мне одно дурное видишь ты —
Я ни любви не знала, ни вражды,
О, если б ты в меня поверить мог —
В огонь, который в нас Восток зажег,
В огонь души — спасения маяк!
Он осветил в порту майнотский флаг;
Но мой властитель преградил нам путь,—
Он должен спать — навек, навек уснуть!»

«Гюльнар, не думал я, что суждено
Моей военной славе пасть на дно:
Враг разгромил весь мой отряд морской
Жестокой, но открытою рукой;
И я пришел на корабле войны,
Чтоб саблей счеты были сведены,
А не ножом — ночным оружием жен,
Ввергающих супругов в вечный сон.
Я спас тебя не для того, Гюльнар,
Не дай подумать, что напрасен дар;
Будь счастлива — прости с моей тюрьмой!
Уходит ночь — последний отдых мой!»

«Твой отдых обречет тебя судьбе —
Страдать в предсмертных корчах на столбе.
Но казнь я не увижу поутру:
Погибнешь ты — и я с тобой умру.
Любовь, и жизнь, и ненависть, Корсар,—
На этой карте. О, один удар!
Без этого наш козырь будет бит —
Настигнет нас погоня. Боль обид,

Растоптанную юность, власть седин
Один удар покроет — лишь один!
Но ты брезглив, кинжал тебе претит —
Моя рука тирану отомстит:
Один удар — и вмиг конец беде!
Мы встретимся на воле — иль нигде.
А промахнусь — с утра узрит народ
Мой саван, твой кровавый эшафот!»

IX

Она ушла — ответить он не смог,
Но взгляд за ней метнулся за порог.
Он цепи намотал на кисти рук,
Чтоб их уменьшить, обуздать их звук,
И к двери подошел — замок открыт,
За нею он, закованный, спешит;
Кругом потемки: как, куда идти?
Ни сторожей, ни лампы на пути;
Вот тусклый свет — направиться ль к нему
Или от света спрятаться во тьму?
Шаги направил случая каприз, —
И утренний в лицо повеял бриз:
Открытой галереи он достиг
Под небом посветлевшим; в этот миг
Из дальней двери света полоса,
Внезапная, ударила в глаза;
Туда пошел он; вход едва прикрыт;
Светильник яркий там, внутри, горит;
Поспешно вышел кто-то — вот видна
Фигура — медлит — смотрит вспять — Она!
И нет кинжала... «Жалости хвала!
Она убить — о радости! — не смогла!»
Он глянул вновь — и вот в ее глазах
Увидел он дрожащий, лютый страх;
В дверях застыв, отбросила назад
Закрывший грудь густых волос каскад,
Казалось, что недавно смоль волос
Ей наклонять над чем-то довелось.
И видит он: на лбу ее — одно
Несмытое, забытое пятно —
Кровавый цвет, знакомый с юных лет, —
Клеймо убийства, преступленья след!

Х

Он знал бои — и в башне, за стеной,
Над осужденной размышлял виной;
Он знал соблазн, расплату, был готов
Окончить жизнь под бременем оков;
Но ни борьба, ни плен, ничто из мук
Все чувства так не трогали, как вдруг
Увиденный пурпурный цвет пятна,
Оледенивший душу всю до дна.
Кровавый след, преступный ручеек
Смыл красоту со смуглых женских щек!
Он сам лил кровь, чужую и свою, —
Но в схватке меж мужчинами — в бою!

ХІ

«Он встать хотел — не встанет больше он.
Ты дорогой ценой освобожден.
Молчи! Не медли — ждет корабль. Идем!
Готова ночь смениться светлым днем.
Те, кто со мной, усердием горят,
Они готовы в твой вступить отряд;
Проклятый берег! Расставанье с ним —
Вот оправданье действиям моим».

ХІІ

Хлопок в ладони — мавров смуглый рой
Примчался к ним; звучит хлопок второй —
И с Конрада свалился груз стальной,
Свободен он, как ветер над волной,
Но мрачен так, как будто сталь цепей
На сердце пала тяжестью своей.
Опять сигнал безмолвный — поворот
Ключа — открыт на берег тайный ход;
Они спешат; вот город за спиной,
Вот берег с набегающей волной.
Он холоден к тому, что суждено:
Измена ли, спасенье? Все равно!
Покорен он — как если б сам паша
Его бы влек, неистовством дыша.

XIII

Расправлеп парус, ветер бьет в корму;
О, многое припомнилось ему,
Пока он видел кряж береговой,
Где бросил он недавно якорь свой.
Да, хоть недавно он приплыл сюда —
Столетье длились ужас, боль, беда;
Пока тень мыса шла над кораблем,
Прикрыл лицо он в скорби о былом,
О тех, кто близко, тех, кто вдалеке,
Победе жалкой, дрогнувшей руке;
О той, любимой, вспоминал Корсар
И вдруг убийцу увидал — Гюльнар!

XIV

Она смотрела — был как приговор
Его пустой, заледеневший взор;
Под ливнем слез в глазах ее угас
Блеск ярости, чужой для нежных глаз,
Опа сказала, голову склоня:
«Бог не простит — но ты простишь меня;
Когда б не я, давно б твой пробил час.
О, пощади! Казни — но не сейчас.
Не та, какой кажусь я, — кровь и тьма
Смутили ум — о, не своди с ума!
Ты умер бы, когда б не эта страсть;
Живи — хотя бы чтоб меня проклясть...»

XV

Бедняжка ошибалась — он скорей
Себе бросал упреки, а не ей:
Он грешен сам! В груди его, угрюм,
Течет поток кровавый смутных дум...
Тем временем корабль проворный шел,
Взрезая носом вод лазурных шелк;
И вдруг на горизонте все видней,
Как точка, парус — палуба, на ней
С оружием люди — видят их, — и к ним
Несется, ветром яростно гоним,
Корабль, как демон, наводящий страх.
Неотвратим он — пушки на бортах —
Фитиль — огонь — удар, — ядра полет

С шипеньем завершен в глубинах вод.
И Конрад вдруг, как бы очнувшись, встал,
В глазах — огонь и в голосе металл:
«Он мой, он мой, кровавый флаг — он мой!
Нет, я не вовсе обойден судьбой!»
И голос узнал! Ликованья крик,
На волнах — шлюпка, убран парус вмиг;
Их вопль: «О, Конрад!» — как пектар, он пил,
Никто, ничто не усмирит их пыл!
Гордясь, глядят на чудо: оп, живой,
Несломленный, на бриг восходит свой;
Их лица красит радости прилив,
К объятьям руки тянутся; забыв
О пораженье, милостив и горд,
С достоинством ступает он на борт
И руки жмет — он снова убежден,
Что может побеждать и править он!

XVI

Смолк хор приветствий; людям жаль слегка —
Без мщенья вернули Вожака;
Когда б им знать, что женщиной оно,
Кровавое, уже совершено,
Ее царицей выбрали б тотчас,
Им Конрада надменность — не указ!
Улыбки вопросительные, взор
Пытливый, долгий пристальный, в упор,
Ее страшили, — приходилось ей
Сильней других быть женщиной — и слабей:
Ей кровь врага пролить хватило сил,
Но взор толпы вконец ее смутил.
Чадра сползла; она и он стоят
Бок о бок; о защите молит взгляд,
Она молчит, трепещет, ко всему
Готовая, раз жизнь спасла ему!
На ненависть была осуждена —
И все ж осталась женщиной она...

XVII

Все видел он, — а чем он полон сам?
Враждой — к делам, сочувствием — к слезам;
Им, горьким, смыть поступок не дано,
Который Небо покарать должно;

Но чем бы ей суд Неба ни грозил,
Он знал, что для него кинжал разил
И отданы бестрепетной рукой
Земная жизнь — и в Небесах покой.
Он повернулся — перед ним она
Стоит, робка, смущения полна
И кажется усталой и больной,
И смуглота сменилась белизной,
Увяла прелесть дивного лица,
Окрашенная кровью мертвеца!
Он руку взял, — ах, как эта рука
Дика во гневе и в любви мягка! —
Он сжал ее, собрав остаток сил,
И голос эту слабость разгласил:
«Гюльнар!» — В ее глазах зажегся свет,
И это был единственный ответ.
Она к нему прильнула. Если б тут
Он, непреклонный, не дал ей приют, —
То был бы он как зверь или как бог,
Но — человек — он оттолкнуть не мог!
Когда б Медору Конрад не любил,
О сдержанности он бы позабыл;
Но и Медора, чья душа чиста,
Простила б сопряженные уста —
Здесь Слабость поцелуй украла, здесь
Любовь дыханье отдала, и весь
Дыханьем этим мир благоухал,
Как бы под ветром крыльев-опахал.

XVIII

Смеркается — но вот он, их приют,
Где даже скалы им улыбку шлют;
Шум гавани, которая близка;
Привычные сигналы маяка;
Снующие в заливе челноки,
Дельфинов юрких резвые прыжки;
И даже хриплый голос птиц морских
Приветствует неблагозвучно их;
Под каждой лампой, в каждом из окон
Мерещится им тот, кто им знаком;
Что лучше осветит домой возврат,
Чем реющей Надежды добрый взгляд!

XIX

Повсюду в окнах виден яркий свет;
Окно Медоры Конрад ищет — нет,
Не видно света! Странно, что оно —
Единственное изо всех — темно.
Обычно там всегда огонь горит.
Как странно! Ставней, видимо, прикрыт...
Он в лодку сел — и лодка отошла,
Торопят взоры медленность весла;
О, будь весло, как сокола крыло,
Чтоб, как стрелу, его к земле несло!
Гребец устал. Не совладав с собой,
Поспешно Конрад прыгает в прибой,
Вот он на суше, вот бежит к холму.
К тропе крутой, столь ведомой ему.
Вот он у двери. Но безмолвен дом.
Из-за дверей ни звука — тьма кругом,
Стучит, — в ответ не слышно ничего,
Как будто здесь никто не ждет его.
Стучит, — но тише, — дрожь — руке невмочь
Веленью сердца мрачного помочь.
Открылась дверь — знакомые черты
Не той, к кому стремились все мечты.
Стоит он молча, — кажется, вопрос
Незаданный к губам его прирос,
Он лампу взял — и удержать не смог,
Она погасла, грянувшись у ног.
Ждать, чтоб светильник засиял опять,
Бессмысленно, словно рассвета ждать;
Но свет другой на затененный пол
Квадратом лег — и он к нему пошел,
И на порог ступил, и увидал
Все то, что голос тайный нагадал!

XX

В нее вперил он неподвижный взгляд
И был как будто столбняком объят;
Ах, как глядим мы часто, несмотря
На то, что знаем, что глядим мы зря!
Она была при жизни так светла,
Что смерть смягчилась, когда к ней пришла;
Легко сжимала стебелек цветка

Холодная, бескровная рука;
Как будто, спящей притворившись вдруг,
Она шутила над людьми вокруг.
По краю век густых ресниц кайма
Скрывала то, что сводит нас с ума,—
Смерть губит очи более всего,
Лишая дух сияния его!
Глаз синеву затмили облака,
Но прелесть губ не тронута пока —
Они как бы уснули, чтоб чуть-чуть
От смеха, от улыбки отдохнуть.
Белеет саван; струи длинных кос,
Прекрасных, дивных — мертвенных волос —
Забавы столь недавней ветерка —
Лежали вкось, скользнув из-под венка,—
Убор, покров, наряд последний весь...
Она — ничто, так почему он здесь?

XXI

Он не спросил — но ясен был ответ,
Как только он вступил в обитель бед;
К чему же знать, как радость лучших лет,
Источник страхов и надежд его,
Единственное в мире существо,
Которое любил, которым жил,—
Угасло?.. Он свой жребий заслужил.
Покоя ищет праведный Вверху,
В раю, куда не воспарить греху,—
К тщете земной гордец привязан так,
Что, ставя все на мелочь, на пустяк,
Теряет то небольшое, что есть,
Кому ж под силу это перенести?
Суровость и бесстрашие — маски лиц,
Бывает, прячут горе без границ,
И скорбную угрюмость не найдешь
В улыбках тех, кому они — как нож.

XXII

Тем, кто глубок, подчас трудней других
Сказать о смутных, мучающих их,
Бессчетных мыслях, слившихся в одной,—
Ей не утешить сердце тишиной;

В словах, увы, страданье не избыть —
Речистым горю не пристало быть...
Корсар сражен усталостью такой,
Что душу всю оцепенил покой;
Он слаб, как мальчик, — мягкости открыт
В глубь сердца путь, — и плачет он навзрыд;
Бессилие подобралось к уму,
Не принося спасения ему;
Он вволю мог рыдать — глаза ничьи
Не видели, как льются слез ручьи.
Но вот он осушил их — чтоб уйти,
Чтобы разбитость сердца унести.
Восходит солнце — горем свет гоним,
Приходит ночь — и остается с ним;
Нет больше тьмы, страшнее нет бельма,
Чем туча горя на глазах ума.
Он ищет тень, из света тьму творя,
И не потерпит он поводыря!

XXIII

Он для добра был сотворец, по зло
К себе, его коверкая, влекло.
Глумились все, и предавали все;
Подобно чувство выпавшей росе
Под сводом грота; и как этот грот
Опо окаменело в свой черед,
Пройдя свою земную кабалу...
Но рассекает молния скалу,
И, как скалу, его удар рассек!
В его тени один возрос цветок;
Хоть тень темна, она цветок хранит,
Но грянул гром — и сокрушил Гранит
И Лилию — не стало ни листка,
Чтоб рассказать о гибели цветка,
А друг его расколот и разбит,
Песком бесплодным занесен... забыт!

XXIV

Один Апсельмо был настолько смел,
Что поутру войти к нему посмел.
Но Вождь исчез. Обшарили весь дом,
До ночи остров обошли кругом;

Наутро снова бродят, ищут след,
Зовут — лишь эхо слышится в ответ;
Вновь ищут — в гроте, в чаще, на лугу,
И лодочную цепь на берегу
Находят — вновь надежда! Корабли
Вблизи упрямо рыщут и вдали,—
Бесплодно все.

Мелькнула череда
Идущих дней — он сгинул без следа
И без вестей, без слухов, где же он,
Где с горем — жив иль с горем — погребен...
Оплакан он; надгробием в горах
Прекраснейшим почтен Медоры прах;
Ему ж не ставят памятник пока —
Вдруг жив Корсар? А слава — на века:
Одною добродетелью был он —
И тысячью пороков наделен...

Лара

(ПОВЕСТЬ)

Теснь первая

I

Кипит в поместьях Лары торжество.
Рабов — и тех как будто подменили.
Вернулся он! Вернулся тот, кого
Уже не ждали, хоть и не забыли.
Движенья слуг проворны и сильны;
Столы накрыты в пиршественной зале,
Камин затоплен, свечи зажжены,
Приветливо витражи засверкали,
И гости раскраснелись от вина —
Все веселы, беседа их шумна.

II

Из долгих странствий прибыл феодал!
Но для чего он замок покидал
И край родной?.. Он вырос сиротою,
Но боли от утрат не испытал,
Скорее — тяжесть: с детства Лара стал
Владыкой на людьми и над собою.
Наставника лишенный, он не мог
Понять, как отвратителен порок;
Ни мудрости людской, ни светских правил
Не зная, Лара сам судил и правил.

Чем жил он, чем его дышала грудь?
Стремительным и ярким, как зарница,
Был путь его, но слишком жгучий путь,
Чтоб сердцу Лары не испепелиться.

III

И он покинул край своих отцов.
Но лишь корабль исчез в безбрежной дали,
Отчалив от родимых берегов,—
О Ларе больше и не вспоминали.
Отец почил, а сын — давно пропал,
Не шлет гоццов, не едет сам, и, может,
Там, на чужбине, голову он сложит —
Вот все, что говорил любой вассал.
Портрет его сливался с полутьмой,
Ни звука — в анфиладе темных комнат;
Невесту Лары в жепы взял другой;
Во гробе старцы, юные — не помнят.
«Но Лара жив!» — наследник говорил,
По черном облачении тоскуя;
Во склепе рода Лары, среди могил,
Пестрят гербы, о смерти повествуя
Готической геральдикой своей —
И лишь о Ларе нет и нет вестей.

IV

Вернулся он — нежданно одинок.
Что значит это странное событие?
Уж если отчий кров его привлек,
Зачем он так откладывает прибытье?
Без свиты он, с единственным пажом
(Тот юн и смугл; язык его — неведом);
А время отмеряет день за днем
Скитальцам так же, как и домоседам;
Но если нет о ком-нибудь вестей —
Длинней разлука и быстрее забвенье,—
И все теперь загадка для людей:
Отсутствие его и появленье.

Он жив, и возмужания весна
В чертах его сурово пламенеет;
Утрат, должно быть, жизнь его полна,
Но, видно, ни о чем он не жалеет.

Ни доброго, ни злого — ничего
В родном краю о нем давно не знают.
Всем памятна безудержность его,
Но этот грех смертельным не считают,
И если не зашел он далеко,
Давнишнее прощается легко.

V

Кем бы ни стал он — стал не тем, кем был.
Страстей глубоких след избородил
Его чело морщинами. Но власти
Над ним не возымели эти страсти.
Надменность, но не пыл минувших дней,
Холодный взгляд, спокойные реченья,
Умение разгадывать людей,
К словам льстецов сухое небреженье,
Насмешливость, присущая сердцам,
Глубоко и жестоко уязвленным,
В которой — горечь, с шуткой пополам,
В которой — яд, смешавшийся со стоном,—
Все это отличало пришлеца.
Но было нечто в нем, не до конца
Понятное: обычные стремленья —
К любви и славе,— те, что всех влекут
(И лишь немногим баловням не лгут),—
Утратили, давно ль, свое значенье
Для Лары. Лишь глубоких чувств порыв
Мелькал порой, весь облик озарив.

VI

Он не любил расспросов о былом.
Не говорил о чудесах неожиданных,
Какие повстречались в дальних странах,
О пальмах, о пустынях — ни о чем.
Гадали любопытные о том,
Что взор его таил, что сердце скрыло,
Навязчиво следили за пажом,—
Но тот хранил молчанье, как могила.
А князь умел с достоинством пресечь
Нескромной становящуюся речь.

VII

С ним рады были свидеться; и он,
Забыв, казалось, некое заклатье,
Был возвращеньем умиротворен.
Высокородный, был он принят знатью,
Присутствовал на празднествах вельмож,
Где стар и млад беспечно веселился,—
Но именно присутствовал. Похож
На них он не был, да и не стремился.
Он не желал того, что целый свет
Безмерно чтит,— ни золота, ни власти,
Ни почестей, ни славы, ни побед,
Ни вечно переменчивого счастья.
Он словно в круг магический вступил —
Гордыни, одиночества, печали,—
И лишь об этом взор его гласил.
И потому нескромные молчали,
Встречаясь с ним. А робкие о нем
Шептались по углам не без опаски.
Но зоркие сходились на одном:
Что он добрей своей надменной маски.

VIII

Загадочно переменился он,
Кто в юности был жизнью упоен!
Сраженья, бури, женщины — миры,
Вовеки не сулящие покоя!
Он смолоду изведаль все земное,
В слезах и счастье, все вкусил дары
И только золотою серединой
Побрезговал в отваге ястребиной.
Мятежно воспаряя надо всем,
Готовый над стихиями смеяться,
Он думал: есть ли в небе Тот, пред кем
Склониться должен он иль с кем сравняться?
Гордец, бросавший вызов небесам,—
Как он переменился? Как случилось,
Что он очнулся? Он не ведал сам,
Но проклял сердце — лучше бы разбилось.

Читал он раньше в душах, а теперь
 Его тома старинные манили.
 Приказывал он часто, чтоб закрыли
 Ворота в замке и в покоях дверь.
 Надолго укрываясь от людей,
 Бродил он (как рассказывали слуги)
 Ночами вдоль угрюмых галерей,
 Где лишь портреты были да кольчуги.
 Слыхали слуги, как с самим собой
 Он говорил (иль был в библиотеке
 Глубокой ночью кто-нибудь другой?):
 «Пусть тайною останется навеки!»
 А то еще на череп он взирал,
 Кощунственно изъятый из могилы,
 Который возле книги возлежал
 Как образ тьмы и дар нечистой силы...
 Нет, что-то здесь неладно. Почему
 Он музыки и слушать не желает?
 Зачем теперь не ездит ни к кому?
 Зачем и сам гостей не принимает?
 Таится в чем-то страшная беда...
 Но в чем? Иные, может, и прознали,
 Да только не расскажут никогда...—
 Так слуги о владыке толковали.

Стояла ночь, и светлая луна
 На безмятежной глади отразилась.
 Вода в реке почти остановилась,
 А все, как счастье, прочь бежит она.
 Ночных светил волшебная краса
 Сияньем озаряла — небеса,
 Речную быстрину и луг прибрежный,
 Тенистые деревья и кусты,
 И пчел усладу — милые цветы,
 Которые Диана безмятежно
 Вплела бы в свой венок — юна, светла..
 Река, блестя, змеилась и текла,
 И нега тихо землю обняла,
 И даже призрак, вдруг явившись взору,
 Казался б добрым духом в эту пору.
 «Такая ночь не создана для зла.

Такая ночь даруется благим!» —
Подумал Лара... Вот она — пред ним
Во всем великолепии... Прочь отсюда!
Такое зрелище, такое чудо
Ему напоминает о былом,
О небесах синей, о звездах краше,
О ночи, расплескавшейся огнем,
О сердце, что теперь... Но нет, он чашу
Испил до дна, душа его пуста,
Ему невыносима красота!

XI

Он возвратился в мрачный свой покой,
И тень его скользнула вдоль по стенам,
Где шепчут фрески тихою толпой
О том, что уцелело в мире тленном
От предков, обратившихся во прах,
Об их благодеяньях и грехах,
О жертвах их кровавых преступлений,—
А полстолбца напыщенных речений
Доскажут остальное, так смягчив,
Что не поймешь, когда рассказ их лжив.
...В раздумье Лара меряет шагами
Решетчатый — от лунных пятен — пол,
Фигуры наверху, под потолками,
Следят за ним, куда бы он ни шел;
И кажется, дыханьем неземным
Разбужены, летят они над ним,
И сам он в этом тягостном круженье
Никак себе покоя не найдет,
Как будто ожидает привиденье
И мертвецы стучатся у ворот.

XII

Полночный час. Все спят. В покоях Лары
Свече не разогнать ночные чары.
Чу! Кто там шепчет, тишину смутив?
Звук, голос, крик, неистовый призыв
Слышны. Вдруг — вопль!.. И вновь молчанье. Чаше
Сердца забились. Встал с постели спящий
И будит друга. Челядь, чуть жива,
Мечами опоясавшись едва
И факелом светя перед собою.

XIII

Пред ними — Лара. Боже! он лежит,
Как мрамор бел, упав на мрамор плит.
Меч брошен рядом. Но какая сила
Меч вырвала и Лару победила?
Что скрыла здесь ночная темнота?
Он пал без чувств, вокруг не видно крови,
Как прежде, гордый вызов сдвинул брови,
И, как пред битвой, стиснуты уста.
На них угроза полузамерла,
Отчаянье, тревога, отречение,
Укор судьбе, таящей бездну зла,
Мольба... Простерто тело без движенья;
Почти закрыты очи, но бойца
Решимость в них — сражаться до конца!
...Его приподымают и несут —
Но тише! Вот он дышит, вот очнулся,
Порозовели щеки, и зовут
Чуть слышно губы. Блеск очей вернулся,
Хотя взирают дико. Речь его
Звучит, увы, почти нечеловечьи —
Не понимают слуги ничего:
Должно быть, иноземное наречье.
Но тот, чьего ответа Лара ждал,
Не слышал... ах! и слушать бы не стал.

XIV

Явился юный паж. И он один,
Хоть речь не для него предназначалась,
Сумел понять, что молвил господин,
И страшной переменою, казалось,
Не удивлен... И тот язык ему,
Наверное, известен от рожденья.
Он отвечает Ларе. Но значенья
Речей не раскрывает никому.
И князю легче от спокойных слов,
И сновиденье вроде б отлетело.
Но — сновиденье ль? Лара не таков,
Ночная блажь его бы не задела...

XV

Наутро Лара был почти здоров,
Хоть не забыл, наверно, о припадке.

Светило дня взошло из-за холмов,
А почь ушла, тая свои загадки.
Он не позвал священника с врачом
(И что ж лечить им — душу или тело?),
Шутил, не изменил себе ни в чем,
И время, как и раньше, полетело.
А если ночи темные с тех пор
Его невыносимо угнетали —
Он запер это в сердце, как позор.
Но слуги — чуть стемнеет — трепетали:
Попарно (кто отважится один?),
Минуя те покои роковые,
Где пал без чувств их гордый господин,
Шли крадучись они в часы ночные.
Скрип двери, шум шагов и зыбь знамен,
Деревьев оживающие тени,
Летучей мыши шорох, ветра стон —
Все ночью приводило их в смятенье.

XVI

Напрасны были страхи! Этот крик
Не повторился боле. Этот миг,
Запавший в души и невыносимый,
Окутал Лара тьмой неизъяснимой.
И все-таки вассалы смущены.
Припадок был... Иль он забыл причину?
Иль, может быть, не мучит господина
Ни ужас, ни сознание вины?
Не сном ли это было? Не во сне ль
Привиделось им все? И неужель
То было с Ларой? С воином, с вельможей?
Тот голос, с человеческим не схожий?..
Страдалец, разве мог он все забыть,
Чему они свидетелями стали
Невольными — и то затрепетали
И дрожи до сих пор не могут скрыть?
А ведь они *все*го не увидали:
Князь был сражен, но *чем* — не объяснить...
Земною тайной или замогильной
То было? — Той и этой. — Грудь его
Таила все, не выдав ничего.
Такие чувства слову непосильны...

XVII

Все, что обычно выступает врозь,
В душе его причудливо сплелось;
Недаром свет, свои догадки строя,
Судил о нем, хвалу смешав с хулою.
Развязывало людям языки
Его молчанье. Все о нем шептались —
Прелат и паж, юнцы и старики, —
Но лишь в бессильных домыслах терялись:
Он — враг людей? Зачем же громче всех
Смеется на пиру? Но этот смех,
Внезапно вспыхнув, и погас мгновенно,
Усмешкою уста искривлены,
А очи остаются холодны,
Надменны и печальны неизменно.
Надменны и печальны? Но из них
Порой струится радость кротким светом!
Но кто к нему подступит в этот миг,
Тот будет оскорблен его ответом,
Хоть Лара оскорблением казнил
Скорей себя — за то, что добрым был.
Да, он за доброту себя терзал,
За то, что в сердце прежнюю святыней
Любовь сияла... Грустный идеал
Избрал он — равнодушье и гордыню.

XVIII

Презренье ко всему владело им!
Чудовищным и непереносимым
Его казалось прошлое. Чужим
Вернулся он к местам своим родимым.
Он гибельной опасности искал
Повсюду — словно жизни не желал,
Но тщетно в этом самоистязанье
Он подавить хотел воспоминанья —
То нежные, то скорбные. Его
Сама любовь как будто возлюбила,
Но юношеской грезой это было, —
Мужая, не обрел он ничего.
Он помнил все: растроченные годы,
Избыток сил, безумие идей,
Обманчивое зарево свободы

И бешенство бушующих страстей,
Которое — сильнее всего на свете —
Влекло его в таинственные сети.
Но этой темной тяги побороть
Он даже не пытался, возвелича
Себя, а все грехи — свалив на плоть:
Души темницу и червей добычу.
Он чтил, как бога, каждый свой порыв,
Черту добра и зла переступив.

Он себялюбья мелкого не знал;
Творя добро — себе во вред порою, —
Дарил, вступался, жаловал, терял —
Увы, не ради ближнего... — Одною
И той же мыслью вечно вдохновен:
Не ведать равных! Этим искушеньем
Охваченный, не погнушался б он
Вступить на путь, ведущий к преступлениям.
Не ведать равных! Люди на земле
Едва ль такой исполнятся отваги,
Чтоб подглядеть, как он погряз во зле,
Чтоб разглядеть, как он расцвел во благе.
Обычные заботы упялись
В душе его, а дух — в такую высь
Взлетел, что кровь струилась по-иному,
Лишь отвращенья полная к земному.
Ах! Эта кровь была живым огнем,
Струись хоть век в спокойствии льдыном!
...И все-таки он жил среди людей,
Внемля словам, смеясь в ответ на шутку, —
Безумие души, а не рассудка
Скрывая под личиною своей.
И речь его рвалась в своем начале,
Чтоб оскорбленья в ней не угадали.

XIX

Но хоть пугал он мрачностью лица
И резкостью в отрывистом рассказе, —
Людей к нему влекло. И в их сердца
Впечатывался гордый образ князя.
Не ненависть будил он, не любовь —
И нет такого слова в нашей речи.
Но каждый с ним стремился к новой встрече,
О нем осведомляясь вновь и вновь.

Порой случайно что-то бросит он
В пустячном мимолетном разговоре,
А слушатель — взволнован и смущен,
Невольнo очарован Ларой. Вскоре,
Испытывая злобу или стыд,
А может, радость (но не все равно ли,
Какое чувство вспыхнет в нем?), до боли
Захвачен, он за Ларою следит.
Князь тайною окутан был, но вас
Томила тайна эта тем сильнее,
Что ускользала от ума и глаз
И вы не знали, что вам делать с пею.
Был дух его — как сеть. И в той сети
Завязнувшим — покоя не найти.

XX

Шло празднество в чертогах у Оттона.
Соседи, знать — все съехались на бал.
Среди других и Лара здесь предстал,
С почетом и любовью приглашенный.
Все удалось на славу в этот день:
Оттон созвал под дружескую сень
Блистательных красавиц вереницы,—
Их грация с божественной сравнится,—
И юношей, чьи пылкие сердца
Любовные восторги предвкушают;
При виде их светлеет взор отца,
И мысль о прошлом старца воскрешает,
А молодость не чаает, что она
Пройдет быстрее, чем нежная весна.

XXI

И Лара — если вид его не лгал —
Все это благосклонно созерцал.
Красавицы... Но прелесть их живая
Вилась вокруг, его не задевая.
Он у колонны замер, недвижим,
Не замечая даже, что за ним
Следят... Следят настойчиво, сурово...
Меж тем в толпе увидели чужого
Осанистого рыцаря, чей взор,
На Лару неотрывно обращенный,
Таил надменный вызов и укор,
Отвагу и вопрос бесцеремонный.

И вот их очи встретились. Сперва
Явил собою Лара удивленье,
Растерянность, заметную едва,
И еле уловимое волненье.
А незнакомец... Кто в толпе людской
Истолковать посмел бы взор такой!

XXII

«Он! Это он!» — вскричал пришлец. И вмиг
Все в зале разгласили этот крик.
«Он! Это он! Но кто он?» — так сказали,
Подумали, спросили, зашептали.
На Лару взоры всех обращены:
Что значит этот зов и взгляд упорный?
Но холодностью, может, и притворной,
Ответил Лара. Чувства смятены,
Но вид бесстрастен. Самообладанье
Вернулось, чтобы встретить испытанье.
Меж тем, приблизясь, вновь пришлец вскричал:
«Ха! Это он! Как он сюда попал?»

XXIII

Такая речь звучит как оскорбленье.
Стерпеть его — едва ли не позор.
Но Лара возразил без возмущенья,
И прозвучал ответ, а не отпор, —
Ответ, хотя и твердый. «Имя Лара
Ношу я. Это имя знати старой,
И если ты, любезный, тоже князь,
Расспрашивай — ответу не таясь.
Я Лара! Что еще узнать желаешь?
Вопросами меня не запугаешь!» —
«Не запугаешь? Вздор! Уже постиг
Ты мой вопрос, да слушать неохота.
Узнал меня? Конечно, в тот же миг!
Хоть память послужила для чего-то!
У памяти ты — в вечных должниках.
Тебя убьют твои воспоминанья...»
Но Ларой в этот миг владел не страх,
Скорей сомненье или колебанье.
Он не узнал пришельца (иль не счел
Возможным это выдать) и пошел

К дверям. Но там, у самого порога,
Встал незнакомец: «Погоди немного!
Ответь тому, кто князь и ровня твой,
Коль сам ты — титул носишь не чужой.
Не тот ли ты... О нет, не хмурься сразу,
Ты б защитил себя от клеветы,
Но правда — поражает, как проказа,
И если это правда — проклят ты!
Не тот ли ты...» —

«Кто б ни был я, но гнусной

Не стану слушать лжи. Потешь гостей
Напраслиной и небылью своей,
Нелепицей, придуманной искусно.
Ты был учтив, уже ее начав
И тем обычай празднества поправ.
Пусть сам Оттон решает, с кем водиться,
А мне сейчас позвольте удалиться!»

Здесь возразил взволнованный Оттон:
«Не ведомо, чем спор ваш вдохновлен,
Но на пиру, внезапно, перед всеми —
Не место пререкаться и не время.
Помедлите, достойный Эзелин,
И завтра — здесь иль там, где захотите,—
Поведаете все, что вы таите,—
К молчанию не вижу я причин.
За вас я поручусь, вы мне знакомы,
Хотя, подобно Ларе, много лет
В скитаньях провели вдали от дома
И вас забыл сородич и сосед.
Высокородный Лара, твой ответ
Мне ясен: предков славные гробницы
Ты — верю — не заставишь устыдиться
И защитишь, как должно, честь свою
В беседе, а быть может — и в бою!»

«Пусть будет завтра,— рыцарь отвечал,—
Мы снова соберемся в этот зал,
Чтоб выслушали гости, негодуя,
Все то, в чем князя Лару уличу я!»

Что ж Лара?.. Он и слушал-то едва.
Душа его как будто отступила,
Не долетали до нее слова,
Владела ею пагубная сила.

Все взгляды устремились на него,—
А он молчит. Молчит не оттого ли,
Что память, как волна жестокой боли,
Не пощадила в сердце ничего?

XXIV

«До завтра... Что ж...» — помедлив, молвил он,
А более — не проронил ни слова.
Он не был зол, ни гневен, ни взбешен,
Весь вид его не предвещал дурного;
Но в голосе — решимость до конца
Внезапно прозвучала. В миг единый
Он плащ схватил и вышел из дворца,
Почти не замечая Эззелина,
И лишь усмешкой легкой дал понять,
Что яростью — его не запугать.
Не так, с презреньем выслушав хулу,
Тот улыбнется, чья спокойна совесть.
Так усмехнется, к худшему готовясь,
Зла не искавший, но привычный к злу.
...А что душа его? Чиста ль она,
Иль позабыта старая вина?
Увы! Одно похоже на другое,
В речах и взорах смертных правды нет,
И лишь в деяньях явится на свет
То, что в душе скрывается порою.

XXV

Пажа окликнув, Лара вышел вон.
Тот был благовоспитан, и смышлен,
И ласково послушен господину.
Для Лары он приехал на чужбину,
Без колебаний бросив рай земной,
Где вечно светит солнце, — край родной.
Он Ларе предан был не по летам
(Ведь юность переменчива). Бывало,
Владыка молчалив — молчит он сам,
А князь окликнет — радость засияла
В чертах пажа, — и к Ларе он летит
И на родном наречье говорит.
Те звуки — речь загадочных краев,
Где он и князь когда-то повстречались,—

Священными для юноши остались,
Хоть он для Лары все забыть готов.
Князь мир ему затмил, так мудро ли
Что к Ларе влекся он в своей юдоли?

XXVI

Был легок стан его, милы черты,
Расцветшие под солнцем южной дали;
Густой загар не портил красоты.
Нередко щеки юноши пылали,
Но был румянец этот не похож
На аттестат отменного здоровья —
Тревога в нем жила, волнение крови
И сердца неразгаданная дрожь.
Грусть темная, тоска глухих утрат,
Слияние гордыни и печали
В очах его болезненно сверкали
(Ресницы чуть смягчали этот взгляд),
И если горе — то такое горе,
Какого не откроешь в разговоре.
Его серьезный и надменный нрав
Чуждался шуток, пажеских забав,
Мальчишеских проделок. Он часами
Следил за Ларой нежными глазами;
А отошлют — он бродит, одиноч,
С вассалами в беседы не вступает,
Идет взглянуть на рощу, на поток
Иль книги чужестранные читает.
Он был, как Лара, от людей вдали
И вечно — там, куда ведет страданье;
Он жил таясь, из всех даров земли
Приняв лишь горький дар существованья.

XXVII

И если он кого-нибудь любил —
То только Лару. Но сердечный пыл
Лишь пылкое служенье воплощало,
И паж молчал, хоть сердце не молчало.
Такой заботы — златом не купить,
Есть у нее особая причина;
Казалось, он спешил предупредить
Все мысли и желанья господина;
При этом паж хранил надменный вид,

Как будто он не служит, а велит.
Нетяжкое пажу досталось бремя,
Ему — лишь верность друга вменена:
Он меч приносит, или держит стремя,
Иль древние листает письма
Вдвоем с владыкой; резкою границей
От прочих слуг сумел он отстраниться,
Но к ним не с отвращеньем относясь,
А ласково и сдержанно — как князь.
В его речах, в движениях — свобода,
Какой рабы не знали искони!
Возможно, он видал иные дни
И был, пожалуй, княжеского рода.
Его запястья были так узки,
А руки — так изящны, так тонки,
Что многие подумали бы: это
Девица, что в пажа переодета!
Но взгляд его был тверд, неукротим,
Взирали очи пламенно и страстно,
И те, кто наблюдал порой за ним,
Считали, что шутить с пажом — опасно.
Он Каледом назвал себя. И все ж
Считали все, что он скрывает имя:
Ведь если «Калед!» громко позовешь,
Не сразу он откликнется. Такими
Ослышками он мненье укреплял,
Что Каледом — не от рожденья стал;
Но если князь окликнет — Калед сразу
Внимает обращенью и приказу.

XXVIII

На празднестве, затеянном Оттопом,
Он вместе с господином пребывал,
Внимал угрозам, всколыхнувшем зал,
Насмешкам и речам бесцеремонным.
Когда же зашумели все, дивясь
Тому, что оскорбленье терпит князь,
Не проявляя рыцарской отваги,
Он то краснел внезапно, то бледнел, —
Как пламень щеки, а уста — как мел, —
И на челе сверкали капли влаги,
Той леденящей влаги, что блестит,
Пока душа, бессильная, грустит.

Да, многое привиделось в тот миг
Пажу!.. Но губы стиснуты сурово,
И Калед не проронит здесь ни слова,
Какой бы страшной тайны ни постиг...
Он видел встречу Лары с Эззелином,
Прочел усмешку на его устах
И вдруг, забыв сомнения и страх,
Ликуя поспешил за господином.
Должно быть, он и раньше наблюдал
Усмешку эту на устах у Лары;
Ее значение — знак грядущей кары!..
Они ушли. И с их уходом зал,
Казалось, опустел. Одно мгновенье —
Пока не хлопнул дверью за собой —
Казался Лара длинной черной тенью
В кровавом свете, брошенном зарей.
Но он ушел — и легче всем дышать,
Как после сновиденья, что тревожно,
Хотя, как всякий сон, — бесспорно ложно;
Да ведь на худшем — истины печать!
А Эззелин, задумчив, молчалив,
Не больше часа пребывал с гостями;
Прощенья у хозяев попросив,
Он ускакал и скрылся за холмами.

XXIX

Разъехались, простились — ночь темна,
За тучами скрывается луна,
И звездный свет земли не достигает.
И гости и хозяин — почивают.
Найдя свою привычную постель,
Спит человек, во сне презрев заботы,
Тоску любви, и ненависти хмель,
И зависти отравленные соты.
Спит человек, предавшись забвению,
Не помня об отчаяньи и злобе,
Забыв мечту заветную свою;
Спит человек в постели, как во гробе.
И в этот миг всеобщей наготы
Добра и зла сливаются черты,
И смерть не отличима от рожденья;
Спит мощь и немощь, доблесть и порок,
Но сладкий сон — особенно жесток:
Чем слаще он, тем горше пробужденье.

Песнь вторая

I

Редает, исчезает мрак ночной,
Встает заря меж небом и землей;
Еще на сутки люди постарели,
Смерть подрастает в каждом брэнном теле.
Но вечная природа ото сна
Очнулася юной, дивной, обновленной:
Цветы пестреют, лес шумит зеленый,
И чистая в реке бежит волна.
Бессмертный человек! О, созерцай
Кипенье жизни, бьющей через край!
Здесь все твое! Но час, увы, настанет,—
И жизнь продлится, а тебя не станет.
И кто бы над тобой ни горевал,
Ни небо, ни земля не отзовутся:
Листок не упадет, не грянет шквал,
И тучи над могилой не сберутся;
И смертью потревожишь ты своей
Лишь хищных поминальщиков — червей.

II

Пробило полдень. Гости в нетерпенье
Съезжаются к Оттону во дворец.
Пусть Лара опровергнет обвиненье,
Иль чести его рыцарской — конец.

Все незнакомца выслушать готовы,
Как ни были б слова его суровы.
Он жизнью поручился — дать ответ
За дерзкий вызов. Но его все нет.
Зачем же медлит он? Настало время
Начать рассказ — пред богом, перед всеми.

III

Урочный час прошел, и Лара здесь,
В его осанке — холодность и спесь.
Но где же Эззелин? Что с ним случилось?
Все ждут, чело Оттона омрачилось.
«Я знаю друга! Он — вне подозрений!
И если жив он — значит, надо ждать.
Тот дом, где он решил заночевать,
Стоит меж наших с Ларою владений.
Я с гордостью бы дал ему приют,
И он бы нашим кровом не гнушался,
Но, видимо, свершить желая суд,
Он новых доказательств добивался —
И поспешил за ними. Если он
Не явится, отвечу я, Оттон!»

Но Лара возразил: «Я зван сюда,
Чтоб клевете под именем суда
Внимать по твоему, Оттон, совету.
Безумец он, мой враг или глупец —
Но положить хотел бы я конец
Наветчику, а также и навету!
Кто знает, может, мы встречались там,
Где я... А впрочем, что болтать пустое!
Давай его сюда, Оттон! Не то я
И впрямь с тебя спрошу за этот срам!»

Побагровев, Оттон швырнул перчатку
И меч свой обнажил. «Ты похвальбой
Унизил лишь себя. Отвечу кратко:
Немедля я вступлю за друга в бой!»

А Лара, ослепительно спокоен,
Свой острый меч (страшись его, Оттон!)
Ленивой дланью вынул из ножен,
И в этом жесте всем явился воин.

Его глаза, пощады не суля,
За яростным противником следили.
Враги схватились насмерть, не внемля
Увещеваньям, — тщетно их мирили.
Срывалась с уст Оттона злая речь,
Но брань бессильна там, где блещет меч!

IV

Был краток бой. Расчетливый клинок
Забешенного Оттона подстерег.
Он наземь пал, но рана не смертельна.
«Проси пощады!» Раненый молчит.
Все видят: злоба Лары беспредельна,
И страшное убийство предстоит.
В бою спокоен, холоден и сдержан,
Взъярился Лара, и заволокла
Теперь, когда недавний враг повержен,
Весь облик демоническая мгла.
То, что отвагой, опытом, искусством
В бою казалось, — сразу облеклось
В убийственную ненависть и злость,
Иным не приукрашенную чувством.
Так мало милосердья было в нем,
Что он едва не кинулся с мечом
На тех, кто вразумить его пытался, —
Но, словно вдруг очнувшись, удержался.
В последний миг он овладел собой
И отступился, втайне проклиная
Свое безумство и бесплодный бой
И гибели противнику желая.

V

Оттона принял лекарь, воспретив
Беседы с ним, чтоб тот остался жив.
В соседний зал направились бароны,
Шепча догадок смутные слова.
Виновник же лихого торжества
Вел себя дерзко и бесцеремонно.
Ни с кем не попрощавшись, он обвел
Всех равнодушным взглядом — и ушел.

VI

Но где же Эззелин? Его угроза
 Дымится след, как длинный хвост кометы,
 Предвестием несчастий, крови, слез.
 Но он не задал Ларе свой вопрос,
 В глухой ночи растаяв до рассвета.
 Во мрак он поспешил вчера, но это
 Не повод к опасеньям — путь знаком;
 Совсем неподалеку тихий дом,
 Где ложе для него приготавлилось. —
 Но Эззелина там не оказалось:
 Покой был пуст, а в стойле — конь стоял.
 Куда ж он ночью, пеший?.. Все в тревоге.
 Никто в округе ничего не знал.
 Ни на дороге, ни вокруг дороги
 (Искали долго, тщательно) — следов
 Борьбы не видно: ни засохшей крови,
 Ни ключев платя в зарослях кустов —
 Всегда такие знаки наготове
 Раскрыть убийства дьявольский секрет,
 Взывать к живым и требовать расплаты.
 Но здесь-то ничего такого нет!
 Но здесь-то даже травы не примяты!
 И злодеянье — совершись оно
 (Кто знает, может, и не совершилось) —
 Злодеем хорошо затаено...
 Но слава Лары несколько затмилась,
 Растущий ропот честь его пятнал,
 И страшные роились подозренья.
 Молчанье — если Лара входит в зал.
 Уходит — кривотолки, оскорбленья.

VII

Меж тем от ран оправился Оттон,
 Но был в душе жестоко уязвлен,
 Себя считая тяжко оскорбленным,
 Убийцей — Лару, друга — неотмщенным!
 Он требует — и вместе с ним вся знать —
 За Эззелина Лару покарать!
 Воистину — кто мог еще желать,
 Чтоб Эззелин исчез? Чья честь висела
 На волоске и вряд ли б уцелела,

Не встретясь смельчаку полночный тать?
Толпой — она до тайн чрезмерно падка —
Была его подхвачена догадка,
И друга не нашлось ни одного
За Лару заступиться. На него
Все новые возводят обвиненья:
Он проявил отвагу и уменье,
Которые — ведь Лара не солдат —
Об опыте немало говорят
В искусстве убивать. Гнев столь жестокий —
Свидетельство законченного зла.
Его рукой не вспылчивость вела,
А дерзкие привычки и пороки,
Присущие тому, кого успех
Заставил думать: он превыше всех.
Так люди говорили. Так толпа
Наветы и насмешки повторяла,
А к добродетелям — была слепа.
Сгущались тучи, князь попал в опалу;
Исчезнувший — живой или мертвец? —
Его к ответу требовал пришлец.

VIII

Жестоки были нравы в том краю:
Народ согбен под игом тирании,
А деспоты — безжалостность свою
В законы облекали вековые.
От князьих распрей, от кровавых смут
Изнемогал забитый нищий люд,
Стеная в муках и дрожа от страха.
Всегда коротким был неправый суд,
И недовольных ожидала плаха.
За крепостными стенами таясь,
Судил и правил ненавистный князь,
Своих людей держа в повиновенье.—
Но Лара ввел разумное правленье,
Вернувшись на отеческий престол.
Его рабы за князем позабыли,
Что означает зверский произвол,
И Лару — постепенно — полюбили.
Да, полюбили! Злобная молва
И близость новой смуты их пугали:
Их князь — не тот, каким он был сперва!

Судьба его и странные печали
Все худший принимают оборот,
Но он невинен — так судил народ.
И хоть угрюмо путника встречал
Его зловеший замок, но проситель,
Пришедший в эту мрачную обитель,
Был счастлив — Лара щедро одарял.
Суров с вельможей, холоден с бароном,
Князь был великодушен к угнетенным,
И знали все: несчастные найдут
В его владеньях милость и приют.
Поэтому — и слухи здесь верны —
К нему в вассалы шли со всей страны;
А после ссоры в замке у Оттона
Он стал еще радушной и щедрей,
И каждый обделенный, обойденный
Спешил войти в число его друзей.
Возможно, были княжки щедроты
Лишь следствием удачного расчета
И дальновидной мысли. Но толпой
Он почитался ныне как герой
И благодетель. Раньше не бывало,
Чтоб так в стране любили феодала.

Поборами не муча поселян,
Рабов не изнуря тяжким гнетом,
Купцов не разоряя, а дворян —
Пусть худородных — окружив почетом,
Он юных обещаньями привлек
Грядущей славы; и грядущей мести —
Тех, кто под игом власти изнемог;
Тем, кто напрасно грезил о невесте,
Сулил согласие знатного отца... —
Все станет победителям добычей,
Когда падет, разрушен до конца,
Позорного неравенства обычай.
...Все ждали только часа — час настал.
Оттона дерзость Лары изумила,
Хоть он к отмщенью случая искал.
Насилью знати отвечала — сила:
Князь людям роздал тысячи мечей,
И те за ним на смерть идти готовы,
Срывая с рук недавние оковы
И проклиная прежних палачей.

«За справедливость!» — клич их боевой.
За веру? За отчизну? За свободу? —
Любой призыв, подсказанный народу,
Подхвачен будет яростной толпой, —
Взовьются стяги, застучат копыта,
И грянет бой, и черви будут сыты.

IX

Король, взошедший в той стране на троп,
Князьями был от власти оттеснен;
Вассалы презирали государя,
И распря назревала, но пока
Смутьянам не хватало вожака —
Они его нашли в надменном Ларе.
От равных, тайной волею судьбы,
Отторгнут был гордец высокородный —
И вот мятеж возглавил всенародный,
И князю Ларе верили рабы.
Он был, пожалуй, к гибели готов
С тех пор, как месть вельмож ему грозила;
Не пожелав в краю своих отцов
Поведать, что с ним в дальних странах было,
Он жизнь свою на карту, как игрок,
Поставил — и ничем не пренебрег.
...Душа его, давно отбушевав,
Казалось, стала тише, безмятежней, —
Но вот в ней взвился вихорь бури прежней,
И все узрели: этот вихрь — кровав.
Былые страсти вспыхнули... Отныне
Он снова стал таким, как на чужбине.
Ни славой, ни собой не дорожа,
Он был душой и мозгом мятежа,
И гибель, что вставала отовсюду,
Готовился с врагами разделить.
Рабы? Ну что ж, с рабами он — покуда
Они господ желают истребить.
Как зверь, хотел он в логово закрасться,
Но даже там судьба подстерегла.
Охотники? Он дешево не дастся!
Пусть возле зверя лягут их тела!
Печальный, безучастный? Да, доселе
Таким казался он в родном краю, —

Но стал вождем — в походе и в бою,—
Ведя восставших к их заветной цели.
Он силой сатанинской дышал:
Во взоре — пламень, в голосе — металл.

Х

Что проку — повесть смуты и резни
Поведать миру? Войны все — как сестры;
Победы, поражения — они
Мелькают и чередой проходят пестрой:
Пир хищников, убийство и разбой.
И эта брань была точь-в-точь такой,
Жестокостью, однако же, своею
Обычные раздоры превзойдя:
Просить пощады — жалкая затея!
Ждет пленных смерть по манию вождя!
Кто б верх ни брал — восставшие крестьяне
Иль феодалы,— кровь лилась и кровь.
Ведь слишком много рук во вражьем стане,
И только мертвый в строй не встанет вновь!
Задуть пожар? Нет, пламя слишком грозно!
Задуть пожар восстанья было поздно.
Воистину — настало Царство Зла,
И, торжествуя, Смерть по трупам шла.

ХІ

За Ларою остался первый бой.
Свобода, гнев — рабам придали силы.
Но первая победа все сгубила:
Пропал порядок, смят военный строй,
Не слушают приказов, уповая
На дерзость и отвагу; принялись
Насиловать и грабить; разбрелись,
Алкая новых жертв, как волчьи стаи.
Напрасно Лара, к разуму взывая,
Хотел порядок в войске уберечь
И вольницу разбойную пресечь —
Ему не погасить лихое пламя,
Которое он сам рискнул разжечь.
Он чувствовал: победа — за врагами.
А враг меж тем был ловок и хитер:
То отступая, то вступая в спор,

Готвя то ловушку, то засаду,
Уничтожая мелкие отряды,
Лишая провианта, фуража,
Таясь за неприступною стеною...
Война и ход войны — совсем иное,
Чем думали герои мятежа:
Не яростные схватки, не сраженья,
А тяжкие всечасные лишения...
...Болезни, голод; быстро тает рать,
Иные поворачивают вспять,
Другие ропщут. Лара непреклонно
Ведет войска, преследует Оттона
И жаждет битвы. Но у полководца
Солдат почти совсем не остается!
Немногие, но лучшие бойцы,
Раскаившись в своем непослушанье,
Верны ему. Но сломлены крестьяне,
Добычей стали прежние ловцы.
Одна надежда — бегство за границу —
У Лары остается до сих пор.
Он медлит, медлит... Нелегко решиться,
Но тяжелее — гибель иль позор.

XII

И час настал — бегут — порукой ночь
И звезд сиянье — факелов не надо.
Пусть дремлет вражий стан — уходят прочь
По темным тропам смутные отряды.
Пред ними — пограничная река!
Но что там? — Враг встает из тростника!
Что дыбится во мраке? Вражки копыта!
Оттонов стяг вздымается над топью.
А на холме — пастушьи ли огни?
Нет, рыцари! В засаде ждут они!
Ловушка! Западня! Из окруженья
Одип лишь выход — дерзкое сраженье!

XIII

Остановились — дух перевести.
Что выгодней: занять ли оборону,
А может, быстрым натиском с разгона
Рать вражескую с берега смести?

Но и в бою спасенья не пайти,
Когда не дрогнут рыцари Оттона.
«Трус — смерти ждет, но бьется с ней герой! —
Воскликнул Лара.— Воины, за мной!»
Мечи блеснули, очи смотрят яро,
Быстрее, чем сказан, выполнен приказ,
Хотя звучит бойцам на этот раз
Лишь голос смерти в хриплом крике Лары.

XIV

Он был — и в этот миг — невозмутим;
И чувство, что теперь владело им,
Хотя и не лишённое печали,
Отчаянием вы бы не назвали.
Он обратил на Каледу свой взгляд:
Тот рядом был, сердца их бились в лад;
Наверно, это сумрак лунной ночи
Повинен в белизне его ланит
И в том, что хладный блеск подернул очи,—
Ведь юношу ничто не утратит.
И Лара, изловчившись, на скаку
Сжал руку молодому седоку —
Та не дрожала и была тверда;
Казалось, клялся Калед: «Князь, поверьте,
Отступятся друзья, но никогда
Вас не покину — в жизни или в смерти!»
...Раздался клич условный, грянул бой,
Сверкнула сталь, заржали разом кони,
И всадники смешали вражий строй,
По рыцарской ударив обороне.
Отвагою врага ошеломив,
Их рать как будто удесятерилась;
Кровь хлынула и в реку заструилась,
На много миль теченье обогрив.

XV

Опорой и надеждою — повсюду,
Где друг слабел и недруг рвался в бой,—
Был голос Лары, звавший за собой,
Хоть сам герой уже не верил в чудо.
Подмоги было неоткуда ждать,
И те, кто дрогнул, в бой пошли опять —

Им Лара подает пример отваги.
То на холме он бьется, то в овраге,
Разит врагов, крепит свой рваный строй,
Он здесь и там в одно и то же время —
И путь проложен!... Вот, взмахнув рукой,
Знак подал Лара... Но перо на шлеме
Поникло, чуть не пал он из седла:
Открыло грудь движение роковое —
Враг отомстил коварною стрелой —
И очи Лары тьма заволокла...
Воздетая в миг радости и гнева,
Рука, сжимая меч, скользнула вниз;
Меж тем поводья выпали из левой —
Их Калед подхватил, — и понеслись
Прочь с поля битвы, где над их отрядом
Опять возобладала вражья рать.
Без чувств был Лара; паж, скакавший рядом,
Не мог от князя взгляда оторвать;
А в битве, ни на миг не затихавшей,
Смешались друг и враг, живой и павший.

XVI

По мертвецам и раненым смертельно
Лениво бродят первые лучи:
Сорваны шлемы, сломаны мечи;
Пустые седла — и от них отдельно
Наездники и кони. Хриплый стон,
Предсмертный шепот, плач — со всех сторон.
Иные пали прямо над потоком,
А все не увлажнить разбитых губ:
Река проносит дерево и труп,
Но им в лицо не брызнет ненароком;
Ни капли — нет! — до самого конца!
Лишь пламень смерти гложет им сердца!
Другие проползли по луговине,
В полубреду, собрав остаток сил,
Речной воды коснуться, как святыни, —
Один из них застыл посередине,
Другой дополз, другой почти вкусил —
Но что же с ним? И жажда вдруг пропала,
И тело успокоилось... Забыл,
Куда его агония толкала....

XVII

Под лихой, в стороне от поля брани
(Не он ли в этот бой повел войска),
Лежит герой, и смерть его близка,—
Он жив, по при последнем издыханье.
И Калед, опустившись на колени,
Прижал к разверстой ране свой платок.
Но все темней, все гуще алый ток,
И жить вождю — лишь краткие мгновенья.
Дыхание слабеет... Постепенно —
Но это не благая перемена —
Кровь литься перестала... Он берет
(И в этом жесте — новое страданье)
Ладонь пажа, чьи страстные старанья
Не отдаляют пагубный исход;
А тот — извелся, замер, побелел,
Лишь Лару — видит, слышит, ощущает;
Лик Лары, очи Лары — вот предел,
Что для него весь свет небес вмещает.

XVIII

Бойцы Оттона — в ярости кровавой!
Мятежный Лара должен быть убит!
Нашли! Спешат! Но поздно для расправы,
И он на них с презрением глядит.
Пусть страшен рок его, но волей Рока
Врагов бессильна месть, как ни жестока.
Тем временем приблизился Оттон;
Он Ларой в поединке побежден,
Но долг за кровь заплачен — и с лихвою!
Теперь он хочет выслушать героя,
Но лишь с пажом (стоящие вокруг
Внимают жадно, ловят каждый звук)
Тот говорит. И — выше разуменья
Туманные пространные реченья.
В них ожили иные времена,
Иной язык... Событья, но какие?
Ах, эта речь... Для Каледа она,
А прочие — и слушая — глухие.
...И паж ответил. Тщетно внемлет враг —
Его не замечают эти двое;
Прощанья значенье роковое,
Судьбу их — все окутывает мрак.

ХІХ

Им надо было многое сказать
Друг другу. (Враг внимал словам разлуки.)
Легла на образ Каледа печать
Такой тоски, такой смертельной муки.
Как будто сам он должен умереть:
Был голос тих, слова едва звучали,
А голос Лары, хоть и полн печали,
Спокоен был... Но скоро стал хрипеть,
Слабеть, переходя в предсмертный шепот,
И гаснуть... Но черты его — ясны,
В них гордость, тайна, гнев и горький опыт;
И очи — лишь для Каледа — нежны.
И в миг, когда, совсем уже затихнув,
Князь указал перстами на восток, —
Сплошные тучи солнца луч прожег,
В его очах кровавым светом вспыхнув.
Случайность? Память? Или верность Року?
Душа ль его всегда влеклась к Востоку?
Но на восток перстом он указал;
А Калед ничего не замечал,
День настававший горько проклиная, —
Ведь Лару уносила тьма ночная...
Казалось, что мятежный отошел.
Но в миг, когда вручить ему хотели
Распятия божественный символ
(Сам Лара не носил креста на теле),
Он усмехнулся, и — о, пресвятой! —
Презрение в усмешке было той.
Напрасно Калед, взора не сводя
Со своего владыки и вождя,
Мечтал увидеть кротость и смиренье —
Тот не желал и думать о спасенье!
Он умирал и был как будто рад
Разбить навеки бранные оковы.
Он оттолкнул предметы, что сулят
Бессмертие по благодати Христовой.

ХХ

Он все трудней, прерывистой дышал,
Кромешный мрак глаза ему застлал,
Металось тело, голова скатилась
С колен пажа; и две руки, сплетясь

(Ладонь пажа сжимал свою князь),
Легли на сердце Лары... Нет, не билось!
Напрасно Калед — жалкий, весь в слезах,—
Хотел расслышать слабые удары.
Безумец, прочь! Ты видишь только прах,
Лишь жалкий прах, носящий имя Лары.

XXI

Едва ль он понял, что произошло.
Он все глядел на лик и на чело,
На губы помертвевшие... Хотели
Его от трупа увести, но еле
Опомнившись, опять уж он взирал
На тело бездыханное со страхом!
Вот голова — зачем не удержал
Ее в руках! — во прах упала, с прахом
Смешалась, обратилась во прах;
Вот труп бездушный... Перед мертвым князем
Хотел он удержаться на ногах,
Но рядом с Ларой пал внезапно наземь.
Как он его любил! Любви такой
Ничье, должно быть, сердце не вмещало!
И вдруг пред изумленною толпой
Завеса тайны с Каледа ниспала:
Грудь юноши решили обнажить,
Чтоб ожил он... И — женщина очнулась!
Не устыдись — кому ее стыдить?
Жизнь кончилась, хоть снова к ней вернулась.

XXII

Спит Лара не в гробнице родовой,
Но глубока, просторна под землей
Его могила. Спит он беспечально,
Хоть пренебрег молитвою прощальной,
Хоть нет над ним ни камня, ни креста...
По нем — одна па свете — плачет та,
Чье горе бесконечно... Все вокруг
Признанья от несчастной добивались,
Какие тайны в прошлом потерялись
И чем ее привлек угрюмый друг.
Чем он привлек? — Глупцы! — Любить, не зная,
За что ты любишь,— вот любовь земная!

...Быть может, с ней он нежен был; таким
Надменным душам скрытность подобает,
И если ими кто-нибудь любим,
Вовек об этом люди не узнают;
Признанья не идут таким устам,
Лишь сердце бьется — сильно, гордо, смело!..
Никто не смог найти разгадки сам,
А бедная — сказать не захотела.

XXIII

Сразила князя меткая стрела,
Но в старых шрамах грудь его была,
Увидев, изумились все, — как будто
В отметилах не этой — давней смуты.
Должно быть, он вступал в чужих краях
С врагами в спор — неравный и кровавый;
Вся грудь его — как повесть о боях,
Увенчанных позором или славой;
А Эззелин — кто б людям мог помочь
Узнать о прошлом Лары — канул в ночь.

XXIV

В ту ночь — рабы толкуют до сих пор —
Один из них, сойдя в долину с гор,
В тот час, когда Селены свет унылый
С полнебосвода солнце оттеснило,
Набрать охапку хвороста решил
И потому до света поспешил
В лес князя Лары, от земель Оттона
Широкою рекою отделенный.
И горец всем рассказывал потом,
Как, шум услышав, он насторожился —
И всадник с тяжелой ношей за седлом
Из темной чащи на берег явился.
Тревогою и ужасом томим,
Раб, крадучись, последовал за ним;
А тот, сойдя с коня, нетерпеливым
Движеньем поднял ношу, поволок
И, низко наклонившись над обрывом,
Швырнул ее в стремительный поток.
Она пропала из виду. Но он
Был недоверчив и насторожен;

Идя вниз по теченью, на воде
Высматривал он что-то, рыскал взглядом;
Вдруг вздрогнул («Я почувал: быть беде»)
И обернулся к каменным громадам —
Весь склон они усеяли крутой.
Он стал кидать их в воду пред собой,
Осколки покрупнее выбирая.
Раб подобрался ближе, наблюдая,
И видел, как в воде всплывала грудь
И на груди — звезда в крови мерцала;
Но камни градом сыпались, — всплывало
На миг все тело, чтобы утонуть —
И снова всплыть: все ниже по теченью,
Но вот пошло ко дну. Тогда злодей
Вскочил в седло и молнии быстрее
Умчался прочь от места преступления.
Он в маске был. Того ж, кто плыл в воде,
Раб не узнал. Но повесть устрашает!
Ведь сыздавна по золотой звезде
Герб рода Эззелина отличают.
В златой звезде явился он, не ждан,
На пир к Оттону. Господи, помилуй!
Рука злодея рыцаря сгубила,
И труп его поглотит океан.
Но может — беспредельна божья милость! —
Злодей не Лара иль рабу приспилось.

XXV

Герои нашей повести мертвы.
Убиты двое; третья же, увы,
С земли под липой шагу не ступила,
Где князя своего похоронила.
Померкли очи, гордый нрав пропал;
Не плакала — лишь горестно вздыхала;
Но если кто-нибудь ее сгонял
С могилы князя — в бешенство впадала:
Тигрицей за детенышей своих —
За тот клочок земли она сражалась.
Где Лара — пусть незримый для других —
Жил для нее... И часто предавалась
Мечтаньям, вызывала существа
Бесплотные — свою поведать муку:
Вон там он пал, туда простер сн руку,

А здесь его лежала голова —
Сюда потом упала... И она
Припоминала скорбные мгновенья
И снова опускалась на колени,
Как будто что-то вымолить должна...
Она остригла волосы. Лежат
Они под липой, словно черный плат,
Прижатый к ране... Впав в испуг, порою
Просила, заклинала: «Князь, беги!
Тебя — и здесь — преследуют враги!
Погнались привиденья за тобою!..»

Бог сжалился — и спит она давно.
Покойно ей в земле под липой спится.
Судьбы ее — значение темно,
Но в верности — никто не усомнится.



КОММЕНТАРИИ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Стр. 25. К Э.— Впервые опубликовано в декабре 1806 г. Обращено к ровеснику Байрона, сыну одного из ньюстедских арендаторов.

Стр. 26. Прощание с Ньюстедским аббатством.— Впервые напечатано в декабре 1806 г.

Оссиан — легендарный герой кельтского народного эпоса (III в. н. э.).

Ньюстед — с XVI в. родовое поместье семьи Байронов, ранее — Ньюстедское аббатство в Шервуде.

Аскалон — крепость в Палестине во времена крестовых походов.

...*При Креси... пали в бою...*— В 1346 г. английская армия в битве при Креси (Северная Франция) разбила французские войска.

Марстон.— В битве при Марстон-Муре в 1644 г. армия Кромвеля разбила войска Карла I.

Стр. 27. Отрывок, написанный вскоре после замужества мисс Чаворт.— Впервые напечатано в 1830 г.

Чаворт Мэри Энн (1786—1832) — дальняя родственница поэта, наследница соседнего с Ньюстедом поместья Анслей (точнее Энсли). Байрон полюбил ее пятнадцати лет и не смог преодолеть этого чувства в течение всей своей жизни. В августе 1805 г. Мэри Энн вышла замуж за Джона Мастерса.

Воспоминание.— Впервые опубликовано в 1832 г.

Сердолик.— Впервые опубликовано в декабре 1806 г. Сердолик был подарен Байрону хористом Эдльстоном в Кэмбридже. Байрон спас его в тот момент, когда он тонул в реке Кэм.

Стр. 28. К М. С. Г.— Впервые опубликовано в январе 1807 г. Посвящено, по-видимому, Элизабет Бриджет Пигот. См. прим. к стихотворению «К Элизе».

Стр. 29. Строки, адресованные преподобному Бичеру в ответ на его совет чаще бывать в обществе.— Впервые напечатано в январе 1807 г.

Бичер Джон Томас (1770—1848) — приходский священник, знакомый Байрона по г. Саутвелу, где жила мать поэта и куда он приезжал на каникулы. По просьбе Байрона Бичер просмотрел его первый поэтический сборник «Летучие наброски» и высказал резкие суждения о некоторых ранних стихотворениях поэта. В связи с этим Байрон дал указание сжечь весь тираж сборника.

Стр. 30. *Фокс* Чарльз Джеймс (1749—1806) — английский государственный деятель, один из крупнейших представителей партии вигов.

Чэтэм Уильям Питт Старший (1708—1778) — английский государственный деятель, лидер партии вигов.

Стр. 31. Д а м е т.— Впервые опубликовано в июне 1807 г. Эти строки, по-видимому, фрагмент из сатиры «Английские барды и шотландские обозреватели», в котором изображен один из современников поэта.

Д ж о р д ж у , г р а ф у Д е л а в а р у.— Впервые опубликовано в июне 1807 г.

Делавар Джордж Джон (1791—1869) — один из близких друзей Байрона по школе в Харроу.

Стр. 32. К Э л и з е.— Впервые опубликовано полностью в декабре 1806 г. в сборнике «Летучие наброски». В дальнейшем печатались лишь первые четыре строфы. Посвящено Элизабет Бриджет Пигот. Семейю Пиготов Байрон постоянно посещал, приезжая на каникулы в Саутвел. Искренние друзья, они натолкнули поэта на мысль об издании его юношеских стихотворений.

Стр. 33. Г р а н т а.— Впервые напечатано в декабре 1806 г.

Гранта.— В данном случае Байрон имеет в виду университетский город Кэмбридж. В качестве эпиграфа использован ответ пифийского оракула Филиппу Македонскому.

Лесаж, твой бес...— Байрон как бы ставит себя на место студента Клеофаса — героя романа «Хромой бес» французского писателя-сатирика А.-Р. Лесажа (1668—1747).

Стр. 34. *Враждуют Пальмерстон и Петти...*— В связи со смертью Вильяма Питта (1759—1806) — крайнего консерватора и врага французской революции, от Кэмбриджа был выбран в парламент

представитель партии вигов Генри Петти Фитцморис (1780—1863), победивший Генри Джона Пальмерстона (1784—1865).

Лорд Г.— Хок Эдуард Харви (1774—1824). Знакомый Байрона по Кэмбриджу.

Стр. 36. Подражание Катуллу (Елене).— Впервые напечатано в декабре 1806 г. При первой публикации в сборнике «Летучие наброски» был подзаголовок «К Анне».

Стр. 37. Стихи, посвященные леди, приславшей автору локон его и своих волос...— Впервые напечатано в декабре 1806 г. Это и некоторые другие юношеские стихотворения Байрон посвятил знакомой девушке по имени Мэри.

Стр. 38. Лохнагар.— Впервые напечатано в июне 1807 г. *...вершин каледонских громады...*— Каледония — древнее название Шотландии.

Стр. 39. *Куллоден*.— В 1746 г. в сражении при селении Куллоден в Северной Шотландии местное ополчение потерпело поражение от английских войск.

Бремар — местность и замок в Северной Шотландии.

К Анне.— Впервые опубликовано в 1832 г. Обращено к Анне Хаусон — знакомой Байрона по г. Саутвелу.

Стр. 40. К леди.— Впервые опубликовано в июне 1807 г. Посвящено Мэри Энн Чаворт.

Стр. 41. Когда б я мог в морях пустынных...— Впервые напечатано в 1808 г.

Стр. 42. К Музе вымысла.— Впервые напечатано в июне 1807 г.

Стр. 43. *Не верить в друга, как в Пилада*...— Дружба фокидского царевича Пилада с Орестом стала классическим примером мужской дружбы.

...Чувствительность — закон! — Через несколько лет, 23 ноября 1813 г. Байрон снова подчеркнул в дневнике: «Слово «чувствительность» издавна ненавистно мне».

Стр. 44. Стихи, написанные под старым вязом на кладбище Харроу.— Впервые напечатано в 1808 г.

Харроу — аристократическая средняя школа, в которой Байрон учился с 1801 по 1805 г. В 1807 г. он вновь посетил ее и написал эти строки. 26 мая 1822 г. Байрон сообщал Дж. Мерри: «На кладбище... под развесистым вязом есть могила, на которой я сидел часами, когда был еще мальчиком. Это было мое любимое место».

Стр. 45. К моему сыну.— Впервые опубликовано в 1830 г.

Стр. 46. Расставание.— Впервые напечатано в 1816 г.

Стр. 47. «Нет времени тому названья...» — Одно из девяти стихотворений Байрона, впервые напечатанных в сборни-

ке стихотворений его друга Дж. К. Хобхауза «Имитации и переводы», изданном в 1809 г.

Стр. 48. «Умру, оплаканный тобой...» — Впервые напечатано в 1809 г. в сборнике «Имитации и переводы» Дж. К. Хобхауза.

Стр. 49. «Зачем напоминаешь вновь...» — Впервые напечатано в 1809 г. в сборнике «Имитации и переводы».

Стр. 50. Ты счастлива. — Впервые напечатано в 1809 г. в сборнике «Имитации и переводы». Посвящено Мэри Энн Чаворт.

Стр. 51. Даме, которая спросила, почему я весной уезжаю из Англии. — Впервые напечатано в 1809 г. в сборнике «Имитации и переводы» под названием «Прощайте, леди!» В автографе указано: «Миссис Мастерс, спросившей о причине отъезда из Англии».

«Прости! Коль могут к небесам...» — Впервые напечатано в январе 1814 г. во втором издании поэмы «Корсар» под названием «Прощай».

Стр. 52. Стансы к некоей даме, написанные при отъезде из Англии. — Впервые напечатано в сборнике «Имитации и переводы» в 1809 г. В автографе помета: «К миссис Мастерс».

Стр. 53. Наполняйте стаканы! — Впервые напечатано в сборнике «Имитации и переводы» в 1809 г.

Стр. 54. Строки мистеру Ходжсону. — Впервые опубликовано в 1830 г. За несколько дней до отъезда, 25 июня 1809 г., Байрон писал Ф. Ходжсону: «Я покидаю Англию без сожаления и возвращусь без радости... На этом заканчивается моя первая глава».

Ходжсон Френсис (1781—1852) — друг Байрона, поэт, переводчик. Позже — приходский священник.

Стр. 56. *Флетчер, Меррей, Боб...* — слуги Байрона: Вильям Флетчер, Джо Меррей, Роберт Раштон.

Девушка из Кадикса. — Впервые напечатано в 1832 г. Первоначально было включено в текст Песни первой поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда», позже заменено стихотворением «К Инесе», датированным 25 января 1810 г.

Стр. 58. В альбом. — Впервые напечатано в 1812 г. В автографе помета: «Строки, написанные в альбом, на острове Мальта». Посвящено Спенсер Смит — дочери барона Герберта, австрийского посла в Константинополе.

Стансы, написанные у Амвракийского залива. — Впервые напечатано в 1812 г. Посвящено Спенсер Смит.

Амвракийский залив — залив на западном побережье Греции, в Ионическом море.

Акциум (точнее, Акций) — мыс у выхода из Амвракийского залива.

...*Египтянке отдал Рим свое владычество*...— Имеется в виду сражение у Акция 2 сентября 31 г. до н. э. между римским и египетским флотами, во время которого римский триумвир Марк Антоний (82—30 гг. до н. э.), изменивший Риму ради Клеопатры (69—30 гг. до н. э.) и сражавшийся во главе египетского флота, потерпел сокрушительное поражение от римского триумвира Октавиана (63 г. до н. э.— 14 г. н. э.).

Стр. 59. *Флоренс* — так Байрон называет Спенсер Смит.

Написано после того, как я проплыл из Сестоса в Абидос.— Впервые напечатано в 1812 г. 3 мая 1810 г. Байрон вплавь пересек пролив Дарданеллы.

Леандр — герой древнегреческого мифа. Ориентируясь на свет факела, каждую ночь переплывал Геллеспонт из Абидоса в Сестос к своей возлюбленной Геро. Однажды, в бурю, факел погас и Леандр погиб.

Стр. 60. *Эпитафия самому себе*.— Впервые опубликовано в 1830 г.

Романелли — врач, лечивший Байрона.

Песня греческих повстанцев.— Впервые опубликовано в 1812 г. Слова песни, переведенной Байроном с новогреческого языка, написаны Константином Фереосом Ригасом (1760—1798) — греческим патриотом, революционером, философом, музыкантом и поэтом, создавшим тайную революционную организацию «Филики Гетерия». Песня получила широкое распространение под названием «Военный гимн греков».

Стр. 61. *Стихи, написанные при расставании*.— Впервые опубликовано в 1812 г.

Стр. 62. *Прощание с Мальтой*.— Впервые напечатано в 1816 г. Остров Мальту Байрон вторично посетил перед возвращением в Англию.

Ла-Валетта — главный город острова Мальта, расположенный на высоком скалистом берегу.

Фрейзер Сюзанна — жена английского офицера, поэтесса.

Стр. 63. ...*гарнизонная теплица*...— Остров Мальта — чрезвычайно важный в стратегическом отношении, был оккупирован Англией вопреки Амьенскому миру 1802 г. и превращен в одну из главных баз английского военного флота на Средиземном море. Мнение Байрона шло вразрез шовинистическим настроениям, царившим среди офицеров английских кораблей.

Послание другу в ответ на призыв быть веселым и гнать печаль.— Впервые напечатано в 1830 г. Адресовано к Ф. Ходжсону.

Стр. 65. К Тирзе.— Впервые опубликовано в 1812 г. В автографе названо «На смерть — Тирзы».

Данное стихотворение и четыре нижеследующих посвящены Тирзе. Кого именно имел в виду поэт под этим именем, расшифровать не удалось.

Стр. 66. «Нет, не хочу ни горьких слов...» — Впервые напечатано в 1812 г. Приложив текст этого стихотворения к письму от 8 декабря 1811 г. к Ф. Ходжсону, Байрон уточнял: «Я написал это стихотворение день или два назад, услышав песню, которая напомнила мне об ушедших днях».

Стр. 67. «Еще усилье — и постылый...» — Впервые опубликовано в 1812 г. В изданиях 1812—1831 гг. называется «К Тирзе».

Стр. 69. Эвтаназия.— Впервые напечатано в 1812 г.

Эвтаназия (Euthanasia) — благая смерть (греч.).

Стр. 70. Мертва! Любимой, молодой... — Впервые напечатано в 1812 г.

Стр. 72. «Когда твой образ в шумный день...» — Впервые опубликовано в 1812 г.

Стр. 74. Ода авторам билля против разрушителей станков.— Впервые напечатано в понедельник, 2 марта 1812 г. анонимно в ведущем органе вигов — газете «Morning Chronicle» с примечанием к первой строфе: «Лорд Э[лдон] сказал в четверг вечером (то есть 27 февраля, отвечая на речь Байрона в защиту луддитов), что волнения в Ноттингеме произошли вследствие «просчета». Авторство Байрона подтверждается письмом поэта к редактору газеты Дж. Перри от 1 марта 1812 г. Стихотворение не переиздавалось до 1880 г., когда Дж. Пирсон окончательно установил принадлежность «Оды» перу Байрона.

Райдер Ричард (1766—1832) — министр внутренних дел (1809—1812), тори.

Элдон Джон Скотт (1751—1838) — реакционный политический деятель, лорд-канцлер (1801—1827).

Ливерпуль Роберт Бэнкс Дженкинсон (1770—1828) — премьер-министр (1812—1827), тори. Внес на рассмотрение палаты лордов законопроект о введении смертной казни луддитам — прядильщикам и ткачам Ноттингемшира, разрушавшим станки.

Даже по официальным данным, до 9 октября 1811 г. в окрестности Ноттингема были направлены 900 кавалеристов и 1000 пехотинцев, 8 января 1812 г. дополнительно — еще два полка в связи с тем, что начавшееся в 80-х годах XVIII в. движение луддитов (называвших себя так по имени вожака движения Нэда Лудда) с ноября 1811 г. приняло в графстве Ноттингемшир особенно широкий размах.

Стр. 75. Строки к плачущей леди.— Впервые напеча-

тано анонимно 7 марта 1812 г. под названием «Сочувственное обращение к молодой леди» в газете «Morning Chronicle».

Поводом для написания этого стихотворения послужил инцидент при дворе принца-регента, который демонстративно резко беседовал с недавними своими сторонниками — вигами, что и вызвало слезы у присутствовавшей при этом принцессы Шарлотты.

Напечатанное вторично (во втором издании поэмы «Корсар») в январе 1814 г., стихотворение вызвало невероятную газетную шумиху, положив начало многолетней травле поэта.

Перепуганный издатель изъясил это стихотворение из третьего издания «Корсара», но, по настоянию поэта, в последующих изданиях, так же как и в первом четырехтомном Собрании сочинений 1815 г., Байрон продолжал его публиковать.

Любовь и злато.— Впервые напечатано в 1900 г. с автографа, хранящегося в архиве издательства Джожа Мерри, под условным названием. Обращено, возможно, к Анне Изабелле Милбэнк (1792—1860), будущей жене поэта, которой в 1812 г. Байрон сделал первое предложение, но получил отказ.

Стр. 76. К времени.— Впервые опубликовано в 1814 г.

Стр. 77. На вопрос о возникновении любви.— Впервые напечатано в 1814 г. В автографе названо «К Ианте» (см. прим. на стр. 440).

Стр. 78. «Не забывай того, кто властно...»— Впервые напечатано в 1814 г. Посвящено Френсис Уэддерберн Уэбстер, которой Байрон был увлечен в 1813—1814 гг.

Стр. 79. Экспромт в ответ другу.— Впервые напечатано в 1814 г. Адресовано поэту Т. Муру.

Сонет к Дженевре.— Впервые напечатан в январе 1814 г. Посвящен Ф. У. Уэбстер.

Стр. 80. Подражание португальскому.— Впервые напечатано в 1814 г.

На посещение принцем-регентом королевского склепа.— Впервые опубликовано в 1819 г. в парижском издании произведений Байрона на английском языке. Написано в связи с тем, что в склепе короля Генриха VIII (1491—1547) был обнаружен гроб с прахом короля Карла I (1600—1649), казненного во время английской революции XVII в. В связи с болезнью короля Георга III (1738—1820), с 1811 г. страной правил принц-регент (1762—1830), король Георг IV — с 1820 г.

Стр. 81. Ода к Наполеону Бонапарту.— Впервые напечатана 16 апреля 1814 г. анонимно отдельным изданием, а в 1815 г. в четырехтомном Собрании сочинений (в обоих случаях только 16 строф). Полностью (19 строф) — в 1831 г. Написана в связи с первым отречением Наполеона 6 апреля 1814 г.

Ювенал Децим Юний (I—II вв. н. э.) — древнеримский поэт-сатирик.

Ганнибал — знаменитый карфагенский полководец (ок. 247—183 гг. до н. э.).

Непот Флавий Юлий — император Западной Римской империи (V в. н. э.).

Гиббон Эдуард (1737—1794) — английский ученый-просветитель. Байрон приводит цитату из его книги «История упадка и разрушения Римской империи».

Строфа I. *Тот — ложно названный Денницей...* — По библейским сказаниям — Люцифер, сын утра.

Строфа IV. *Веселье битв...* — *Certaminis gaudia* — слова Аттилы из речи его к войску перед битвой на Каталаунских полях; приведено у Кассиодора [прим. Байрона].

Строфа VI. *Грек, разломивший дуб руками...* — Имеется в виду Милон — древнегреческий полулегендарный атлет VI в. до н. э. из Кротона, который на Олимпийских играх поднимал целого быка.

8 апреля 1814 г., через два дня после отречения Наполеона, Байрон занес в дневник: «Подобно Милону он хотел разодрать дуб, но тот сомкнулся и защемил ему руку... Московская зима защемила ему руки — с тех пор он дрался ногами и зубами».

Строфа VII. *Сын Рима...* — Сулла Луций Корнелий — римский полководец и государственный деятель, в 82—79 гг. до н. э. — военный диктатор Рима. За год до смерти отказался от власти.

Строфа VIII. *Испанец, властью небывалой...* — Карл V (1500—1558) — император Священной Римской империи и испанский король. Незадолго до смерти отрекся от престола и ушел в монастырь.

Строфа XIII. *...цветок австрийский...* — Императрица Мария-Луиза (1791—1847).

Строфа XIV. *«Дионисий в школе».* — Дионисий Младший (395—335 гг. до н. э.) — тиран Сиракуз; после второго изгнания открыл школу в Коринфе.

Строфа XVI. *...сын Япета...* — Прометей.

Строфа XVII. *Маренго* — деревня в Ломбардии (Северная Италия), где 14 июня 1800 г. произошло сражение, в котором наполеоновская армия нанесла поражение австрийским войскам.

Строфа XIX. *Цинциннат* — римский консул (V в. до н. э.), владелец небольшой фермы; выполнив государственный долг, вернулся к сельскому труду.

Стр. 86. Стансы для музыки («Как имя твое на' писать, произнести...»). — В 1816 г. было положено на музыку композитором И. Натаном и опубликовано. В собрании сочинений Байрона было напечатано лишь в 1830 г.

Стр. 87. *Она идет во всей красе.* — Впервые напеча-

но в 1815 г. Обращено к родственнице поэта Энн Беатрис Уилмот Хортон, которую он встретил на балу. В четырехтомном Собрании сочинений опубликовано в серии стихотворений, названных «Еврейские мелодии». Десять из их числа — светского содержания.

Стр. 88. Юлиан (Отрывок).— Впервые напечатано в 1900 г. с автографа.

Стр. 89. Валтасару.— Впервые напечатано в 1831 г. См. комм. к стихотворению «Видение Валтасара».

Стр. 90. «Убита в блеске красоты!».— Впервые напечатано 23 апреля 1815 г. в газете «Examiner». Последнее из числа стихотворений, посвященных Тирзе.

Стр. 91. Душа моя мрачна.— Впервые опубликовано в 1815 г. Это стихотворение, так же как и пять нижеследующих, включено поэтом в серию «Еврейские мелодии».

Ты плачешь.— Впервые напечатано в 1815 г.

Стр. 92. Ты кончил жизни путь.— Впервые напечатано в 1815 г.

Видение Валтасара.— Впервые опубликовано в 1815 г.

Валтасар — сын последнего царя Древнего Вавилона Набонида. Был убит в 539 г. до н. э., когда в осажденный Вавилон проникли войска персидского царя Кира.

Стр. 94. Солнце бодрствующих.— Впервые опубликовано в 1815 г.

Поражение Сеннахериба.— Впервые опубликовано в 1815 г.

Сеннахериб (VII в. до н. э.) — ассирийский царь. По библейской легенде, Сеннахериб потерпел поражение после того, как ангел смерти поразил мечом ассирийских воинов.

Стр. 95. Стансы для музыки.— Впервые напечатано в 1816 г. Посвящено памяти Дорсета — товарища Байрона по школе в Харроу.

Стр. 96. На бегство Наполеона с острова Эльбы.— Впервые напечатано в 1830 г. Наполеон бежал с острова Эльбы 26 февраля 1815 г. и 20 марта с триумфом вошел в Париж.

Ода с французского.— Впервые напечатана 15 марта 1816 г. в газете «Morning Chronicle». Ссылка на перевод с французского сделана, видимо, по цензурным соображениям.

Ватерлоо — историческая битва при поселке Ватерлоо, близ юсселя, 18 июня 1815 г., в которой англо-голландские и прусско-саксонские войска под командованием А. Веллингтона и Г.-Л. Блюхера нанесли армии Наполеона сокрушительный удар.

Лабэдойер (точнее Лабэдуайер) Шарль-Анжелик (1786—1815) — французский офицер, участник наполеоновских войн. Первым пешел со своим полком на сторону Наполеона, бежавшего с Эльбы.

...«Отважнейший из храбрых»...— Ней Мишель (1769—1815) — французский маршал.

Стр. 97. ...ты, в плюмаже снежно-белом...— Мюрат Иоахим (1771—1815)— маршал наполеоновской армии, с 1810 г. король Неаполитанский. Лабедойер, Ней и Мюрат в период «Ста дней» перешли на сторону Наполеона и после реставрации Бурбонов были расстреляны.

Стр. 98. *Капет* — так иронически называли во время французской революции Людовика XVI, а позже — Людовика XVIII. Основателем этой династии французских королей был Гуго Капет (X в.).

Стр. 99. Звезда Почетного легиона.— Впервые напечатано 7 апреля 1816 г. в газете «Examiner».

Звезда Почетного легиона — французский орден. Был учрежден по предложению Наполеона еще в период консульства.

Стр. 100. *Из трех цветов она слита*...— флаг Французской республики — сине-бело-красный.

Стр. 101. Прости.— Впервые напечатано 14 апреля 1816 г. Посвящено жене Байрона. 14 апреля 1816 г., помимо воли поэта, было напечатано торийской газетой «The Champion», что послужило поводом для девятидневной острой полемики между тори и вигами на страницах десятков газет, сопровождавшейся клеветой в адрес Байрона.

Стр. 103. Стансы («Ни одна не станет в споре...»).— Впервые опубликовано в 1816 г.

Стансы к Августе («Когда сгустилась мгла кругом...»).— Впервые напечатано в 1816 г. под названием «Ж —». Под названием «Стансы к Августе» печаталось лишь в посмертных изданиях. Посвящено сводной сестре поэта Августе Ли (1783—1851).

Стр. 105. Стансы для музыки («Нам говорят: «В надежде — счастье...»).— Впервые опубликовано в 1829 г.

Стансы к Августе («Когда время мое миновало...»).— Впервые напечатано в 1816 г. Первоначально публиковалось под названием «Ж —».

Стр. 106. Сон.— Впервые опубликовано в 1816 г. Отражая некоторые события из жизни Байрона, стихотворение в значительной части обращено к Мэри Энн Чаворт.

Стр. 110. ...*Звездным Светом юности его*...— В. Ирвинг, со слов старого слуги семьи Чавортов, сообщает, что Байрон называл Мэри Энн «Яркой утренней звездой Эннсли».

...*он спокойно клятву произнес, как подбало, но ее не слышал*...— Дж. К. Хобхауз, присутствовавший на бракосочетании Байрона, вспоминает о царившей там напряженной атмосфере и о своем впечатлении «Будто я потерял друга».

Стр. 111. *Владычицу его любви постигла болезнь душевная*...—

Как видно из писем Байрона, в октябре 1814 г. Мэри Энн, уже добившаяся по суду права жить отдельно от мужа, но боясь, на основании закона, лишиться права на малолетних сыновей, перенесла, находясь в Лондоне, тяжелое нервное заболевание.

Понтийский царь — Митридат (132—63 гг. до н. э.), боясь быть отравленным, постоянно принимал сильные противоядия, в результате чего его организм будто бы перестал реагировать на яды.

Стр. 112. *Тьма*.— Впервые опубликовано в 1816 г. В автографе названо «Сон». В переводе И. Тургенева, видимо, по требованию царской цензуры, в двух местах пропущены строки. После слов: «собрано вещей святых» у Байрона следует «не для священнодействия», а после слов «ушали мертвыми» у поэта мысль заканчивается словами: «...не зная, кто был тот, на чьем челе голод начертал «дьявол».

Стр. 113. *...снова вспыхнула война, погасшая на время... Кровью куплен кусок был каждый...*— В начале мая 1816 г., менее чем через год после битвы, Байрон посетил поле Ватерлоо, где, по словам поэта, «свобода кровью истекла». Думается, что, создавая это стихотворение, поэт не только отразил фантастические картины отдаленных космических катастроф, но и не смог отрешиться от событий, принесших бедствия народам Европы и жестокий голод 1814—1817 гг.

Стр. 114. *Прометей*.— Впервые напечатано в 1816 г. 12 октября 1817 г. Байрон писал издателю Дж. Мерри: «Эсхиловым «Прометеем» я в мальчишеские годы глубоко восхищался... «Прометей» всегда так занимал мои мысли, что мне легко представить его влияние на все, что я написал».

Стр. 116. *Послание Августе*.— Впервые напечатано в 1830 г. в связи с тем, что сводная сестра поэта возражала против публикации этого стихотворения.

...на морях не знал покоя дед...— Байрон Джон (1773—1786) — адмирал, известный путешественник и мореплаватель.

Стр. 118. *Леман* — Женевское озеро, близ которого на вилле Диодати жил Байрон в 1816 г.

Стр. 120. Строки, написанные при получении известия о болезни леди Байрон.— Полностью впервые напечатано в августе 1832 г. в журнале «New Monthly Magazine». Стихотворение написано после безуспешных попыток Байрона примириться с женой.

Стр. 121. *...Клитемнестра, мечом сразившая любовь и честь...*— Клитемнестра — жена древнегреческого царя Агамемнона, убила его при помощи своего возлюбленного, Эгиста.

Стр. 122. *Венеция (Отрывок)*.— Впервые напечатано в 1901 г. по рукописи.

Стр. 123. Песня для луддитов.— Впервые напечатано в 1830 г. В конце 1816 г. вновь начался подъем движения луддитов. Узнав об этом, Байрон писал Т. Муру 24 декабря 1816 г.: «Клянусь богом! Если начнется потасовка, я к вам приеду! Как там ткачи — разрушители станков — политические лютеране-реформаторы?!»

«Не бродить нам вечер целый...» — Впервые напечатано в 1830 г.

Стр. 124. Томасу Муру.— Впервые напечатано в 1821 г.

Поединок.— Впервые напечатано в 1901 г. по автографу. Обращено к Мэри Энн Чаворт. Байрон вспоминает о поединке между дедом Мэри Энн и двоюродным дедом Байрона, в результате которого дед Мэри Энн погиб, и между семьями Чавортов и Байронов началась многолетняя семейная вражда.

Стр. 126. Стансы к реке По.— Впервые напечатано в 1824 г. Посвящено Терезе Гвиччиоли (1799—1873), которая в мае—июне 1819 г. находилась с мужем в поместье, расположенном в устье реки По.

Стр. 128. Стансы («Когда б нетленной...».)— Впервые напечатано в журнале «New Monthly Magazine» в 1832 г.

Стр. 130. В день моей свадьбы.— Впервые опубликовано в 1830 г. Байрон женился на Анне Изабелле Милбэнк 2 января 1815 г.

Эпитафия Вильяму Питту.— Впервые напечатано в 1830 г.

Питт Вильям Младший (1759—1806), долгое время был главой торийского правительства, ярый враг французской революции и решительный сторонник войны против республиканской Франции. Душитель демократического движения в Англии.

Стр. 131. Эпиграмма на Вильяма Коббета.— Впервые напечатана в 1830 г.

Коббет Вильям (1762—1835) — английский публицист, один из руководителей радикального движения в Англии.

Пейн Томас (1737—1809) — публицист, участник борьбы за независимость Северо-Американских Штатов, автор популярной книги «Права человека». В 1819 г., по инициативе В. Коббета, прах Т. Пейна был перенесен в Англию.

Стансы («Кто драться не может за волю свою...».)— Впервые напечатано в 1830 г. Не имея возможности включиться в движение за демократические права широких масс Англии, принявшее особенно большие размах в 1819 г., Байрон, как видно из его «Обращения к неаполитанским повстанцам», решил примкнуть к движению карбонариев в Италии и участвовать в неаполитанском восстании, начавшемся в марте 1820 г.

Эпиграмма на адрес медников.— Впервые напечатана в 1830 г. Написана в связи с сообщениями газет о том, что медики преподнесли адрес королеве одетые в медные латы и шлемы.

Из Марциала.— Впервые опубликовано в 1833 г.

Стр. 132. На смерть поэта Джона Китса.— Впервые опубликовано в 1830 г.

Китс Джон (1796—1821) — выдающийся английский поэт, рано умерший от туберкулеза.

Бэрро, Саути, Милмэн.— Этих литераторов Байрон считал косвенными виновниками преждевременной гибели поэта.

Стансы, написанные по дороге между Флоренцией и Пизой.— Впервые напечатано в 1830 г. Обращено к Терезе Гвиччиоли.

Стр. 133. На самоубийство британского министра Кэстелри.— Впервые опубликовано 18 октября 1822 г. в первом номере журнала «The Liberal», издававшегося Байроном и Ли Хантом.

Кэстелри (точнее Каслри) Роберт Стюарт (1769—1822) — английский политический деятель, активно поддерживавший реакцию в Европе; наряду с Меттернихом руководил Венским конгрессом 1814—1815 гг., приверженец Священного союза.

Катон Марк Порций Младший (95—46 гг. до н. э.) — древнеримский республиканец; покончил с собой после прихода к власти Юлия Цезаря.

Графине Блессингтон.— Впервые опубликовано в 1830 г.

Блессингтон Маргерит (1789—1849) — английская писательница. С ней Байрон встречался в апреле — июне 1823 г. в Генуе.

Стр. 134. Стансы на индийскую мелодию.— Впервые напечатано в 1832 г. Написано незадолго до отъезда Байрона в Грецию на мелодию индийской песни, которую часто пела Тереза Гвиччиоли.

Аристомен (Отрывок).— Впервые опубликовано в 1901 г. по рукописи. Один из последних незавершенных поэтических замыслов Байрона.

Аристомен — герой во второй войне между Мессенией и Спартой (685—668 гг. до н. э.), возглавивший восстание поработенных мессенцев. Согласно легенде, трижды отбивал натиск сотни спартанцев. В честь его подвигов слагались гимны. «Умер Пан!» — точнее, «Умер Великий Пан!», по Плутарху, возглас, который услышал кормчий одного из кораблей в Ионическом море в I в. н. э. В иносказательном смысле это выражение означает закат эллинской культуры или вообще конец какого-либо исторического периода.

Стр. 135. Песнь к сулиотам.— Впервые напечатано в 1904 г. по автографу.

Сулиоты — свободолюбивое и воинственное племя в Албании, упорно боровшееся против турецкого гнета, за свою независимость.

Стратиоты — воины. *Сули* — город в Албании. *Бауа* — военный клич сулиотов.

Из дневника в Кефалонии.— Впервые напечатано в 1901 г. по автографу. Эти строки Байрон поставил в качестве эпиграфа к дневнику, который вел во время пребывания на острове Кефалония с начала августа до конца декабря 1823 г.

Стр. 136. Последние строки, обращенные к Греции.— Впервые напечатано в 1887 г. в «*Murray's Magazine*» за февраль 1887 г.

Любовь и смерть.— Впервые опубликовано в «*Murray's Magazine*» в феврале 1887 г. По поводу этого стихотворения Дж. К. Хобхауз сообщает: «Последнее из того, что он написал». Сопоставление текста последних строф данного стихотворения и «Поединка» дает некоторое основание считать, что оно посвящено Мэри Энн Чаворт.

Стр. 137. В день, когда мне исполнилось тридцать шесть лет.— Впервые напечатано 29 октября 1824 г. в газете «*Morning Chronicle*».

Пьетро Гамба (брат Терезы Гвиччиоли), находившийся в Греции вместе с Байроном, вспоминает: «Сегодня (22 января) лорд Байрон вышел из своей спальни в комнату, где находились полковник Стэнхоп и другие наши друзья, и, улыбаясь, сказал: «Вот, вы как-то жаловались на то, что я теперь не пишу стихов. Сегодня день моего рождения, и я только что кончил стихи, которые, кажется, лучше того, что я обыкновенно пишу». Вслед за тем он прочел это стихотворение».

ПАЛОМНИЧЕСТВО ЧАЙЛЬД-ГАРОЛЬДА

ЭПИГРАФ

В качестве эпиграфа к песням первой и второй поэмы Байрон взял вступительные строки из книги французского писателя и путешественника Фужере де Монброна (? — 1761) «Космополит, или Гражданин мира», Лондон, 1753.

ПРЕДИСЛОВИЕ

(К песням первой и второй)

Стр. 141. *Эпир* — западная часть Северной Греции.

Акарнания — западная область Средней Греции.

Иония — в Древней Греции средняя часть западного побережья Малой Азии с прилегающими островами.

Фригия — в Древней Греции область на северо-западе Малой Азии.

Столица Востока. — Байрон имеет в виду столицу Османской империи г. Стамбул.

Стр. 142. *Чайльд* — род титула для молодого английского дворянина, готовившегося к посвящению в рыцари (XIII—XIV вв.).

«Прости, прости!» — В начале первой песни навеяно «Прощанием лорда Максвелла» в «Пограничных песнях», изданных м-ром Скоттом. — Имеется в виду сборник народных баллад: «Песни пограничной Шотландии». Герой одной из баллад — лорд Джон Максвелл отомстил за гибель своего отца, за что был осужден на изгнание. Покидая родину, он спел прощальную песню, которая послужила Байрону образцом.

...некоторое сходство с различными стихотворениями, темой которых является Испания... — Байрон имеет в виду, в частности, поэму Вальтера Скотта «Видение дон Родериха», опубликованную в 1811 г.

Спенсерова строфа — строфа в девять строк, впервые введенная великим английским поэтом Возрождения Эдмундом Спенсером (1552—1599). За основу ее взята октава, к которой добавлена девятая шестистопная александрийская строка. В отличие от октавы, спенсерова строфа строится не на трех рифмах, а на четырех, трех и двух.

Битти — английский поэт Джеймс Битти (1735—1803). Его неоконченная поэма «Менестрель» написана спенсеровой строфой.

...освященном именами Ариосто... — Байрон говорит о великом итальянском поэте Лодовико Ариосто (1474—1533) и его поэме «Неистовый Роланд».

Томсон Джеймс (1700—1748) — английский поэт. Его поэма «Замок праздности» написана спенсеровой строфой.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРЕДИСЛОВИЮ

Дополнение к предисловию впервые опубликовано в четвертом издании поэмы, в сентябре 1812 года.

Стр. 143. *...обычную порцию критики.* — Основное обвинение критиков сводилось к тому, что Байрон высказал в поэме «нерыцарственное отвращение к войне».

Сент-Пале — Ла Кюрн де Сент-Пале, автор книги «Записки о старинном рыцарстве», изданной в Париже в 1781 г.

«Суды любви» — средневековые ассамблеи рыцарей и дам, на которых обсуждались и утверждались правила галантного поведения.

Роллан д'Эрсевиль — автор книги «Разыскания о правах дам при судах любви», Париж, 1787.

Стр. 144. *«не трагичным слугой, а тамплиером».* — Байрон

приводит реплику из пародии на реакционно-романтическую поэзию «Паломники, или Двойной сговор» Дж. Хукхэма Фрера, одним из героев которой является рыцарь, переодетый по ходу действия в трактирного слугу. Рыцарь-тамплиер — член духовно-рыцарского ордена тамплиеров, или храмовников, основанного в 1119 г. в Иерусалимском королевстве.

Сэр Тристрам и сэр Ланселот — идеализированные образы рыцарей средневековых романов.

Орден подвязки — орден св. Георгия, учрежденный в 1350 г. королем Эдуардом III для особо узкого круга приближенных (25 кавалеров) во имя «оживления военного духа».

Берку не следовало сожалеть о том... — Байрон имеет в виду «Размышления о революции во Франции» Эдмунда Берка (1729—1797), английского публициста и политического деятеля, проливавшего слезы не о временах рыцарства вообще, а о «галантном веке» Людовика XVI.

Мария-Антуанетта. — С упоминания о встрече с королевой Франции Э. Берк начинает свои «Размышления».

Баярд Пьер дю Терайль (1476—1524) — французский полководец; с течением времени образ Баярда утратил свои реальные черты, воплотив в себе лишь отвлеченный идеал рыцаря.

Сэр Джозеф Бенкс. — Байрон говорит о тех фрагментах из книги «Путешествие Хоксворта, составленное на основании судовых журналов нескольких капитанов и записок Джозефа Бенкса» (1773), которые посвящены королеве Таити.

Современный Тимон. — Тимон Афинский жил в V в. до н. э., в годы Пелопоннесской войны. Междоусобные распри, войны и упадок нравственности превратили его в человеконенавистника, поселившегося в доме-башне.

Зелуко — ожесточенный и нравственно опустошенный герой одноименного романа английского писателя Джона Мура (1729—1802).

ИАНТЕ

Посвящение было впервые опубликовано в седьмом издании поэмы в феврале 1814 года. Адресовано одиннадцатилетней дочери графа Эдуарда Оксфорда Шарлотте Мэри Харли, с которой Байрон познакомился во время посещения поместья ее родителей.

Стр. 145. *Ианта* — имя, означающее цветок нарцисса.

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

В автографе песней первой и второй поэмы помечено: «Байрон — Янина в Албании. Начал 31 октября 1809 г. Закончил, Песнь 2-я, Смирна, 28 марта, 1810. Байрон».

1. ¹ *Дельфы* — древнегреческий город в Фокиде (Средняя Греция) у подножия горы Парнас. Дельфийский храм с знаменитым оракулом и священный Кастальский ключ были посвящены Аполлону — богу солнца и покровителю искусств.

Стр. 152. *Предвидишь ты с французом бой...*— В условиях войны между Англией и наполеоновской Францией бриг, на котором Чайльд-Гарольд отправился в свое паломничество, мог подвергнуться нападению судов французского военного флота.

14. *Синтра* — невысокий горный хребет Серра-да-Синтра в Португалии в пятнадцать милях к северо-западу от Лиссабона.

15. *...в эту землю вторглись палачи...*— На основании секретного договора между Испанией и наполеоновской Францией (октябрь 1807 г.) о завоевании и разделе Португалии наполеоновские войска через территорию Испании вторглись в Португалию. Английское правительство, в свою очередь, направило туда свои войска, которые нанесли французской армии поражение.

16. *Луз* — мифический король древней Лузитании, находившейся в западной части Пиренейского полуострова.

...охраняя трон...— Направив в августе 1808 г. в Португалию войска и флот, Англия стала на защиту феодальных порядков и поддерживала феодально-клерикальные силы, подавлявшие революционное движение в стране.

18. *...Элизий, над которым // Завесы поднял бард...*— В шестой книге поэмы Вергилия (70—19 гг. до н. э.) «Энеида» описано посещение Энеем подземного царства и царства теней — Элизия.

22. *Ватек*.— Именем халифа Ватек — героя повести «Ватек. Арабская сказка» Байрон называет автора этой повести Уильяма Бекфорда (1760—1844), баснословно богатого аристократа, который в 1794—1796 гг. жил в Португалии в роскошном замке, позже совершенно заброшенном. В автографе поэмы У. Бекфорду посвящена еще одна строфа, в которой Байрон осуждает расточительство и гневно клеймит порок:

Несчастный Дайвс! Ты стал, по воле рока,
Природе вопреки, добычею порока.
В немилость нынче ты и у Фортуны впал,
Излившей на тебя проклятия фиал.
Пред блеском и умом твоим склонялся каждый.
Какую светлую была заря твоя!
Но несказанного греха нечистой жаждой
Томился ты, и вечер бытия
Влачить в презрении — нет горестнее доли —
И в одиночестве полнейшем против воли.

(Перевод О. Чюминой)

¹ Цифра в начале примечания обозначает номер соответствующей строфы.

Родственник поэта Р.-Ч. Даллас настоял на изъятии этой строфы при первой публикации поэмы. Посмертно она была напечатана как самостоятельное стихотворение под названием «К богачу».

24. *...в этом замке был совет вождей...*— Текст Синтрской конвенции, заключенной 30 августа 1808 г. между представителями английского и французского командования в Португалии, не был подписан, как ошибочно предполагал Байрон, в замке Марьяльва в Синтре, а лишь отправлен отсюда.

...карлик-шут, пустельший из чертей...— зрительный поэтический образ, дающий представление не только о внешнем виде дипломатического документа (пергаментный свиток), но и о неожиданном, почти шутовском характере условий, содержащихся в Синтрской конвенции.

25. *Конвенция, на ней споткнулся бритт.*— По условиям Синтрской конвенции, французской армии, побежденной 21 августа 1808 г. в битве при Вимиере, было предоставлено право эвакуировать свои войска из Португалии на английских судах. Подписание Конвенции на столь унижительных для победителей условиях вызывало в Англии резкую критику политики торийского правительства со стороны оппозиционных кругов.

Не побежденным здесь, а победившим горе! — Байрон не учел, что быстрое освобождение территории Португалии от армии наполеоновской Франции укрепило стратегические позиции Англии на континенте и в Средиземном море.

29. *Мафра* — колоссальных размеров дворец-монастырь близ Синтры.

Вавилонская блудница.— Имеется в виду католическая церковь.

31. *В соседстве с необузданным врагом // Испанец должен быть солдатом иль рабом.*— Фактическая оккупация Испании наполеоновской армией вызвала ряд восстаний народных масс в Аранхуэсе, Мадриде, Астурии, Валенсии, которые жестоко подавлялись французскими оккупантами.

32. *Сиерра* — горный хребет Сьерра-Морена на юге Испании.

34. *Гвадиана* — река на Пиренейском полуострове, впадающая в Атлантический океан, на протяжении пятидесяти одного километра образует государственную границу между Испанией и Португалией.

Двух вер враждебных там кипели станы...— В 711 г. на Пиренейский полуостров вторглись арабы и захватили большую часть его. Более семи столетий испанцы и португальцы вели упорную борьбу за отвоение своих земель, вошедшую в историю под названием «Реконкиста». Католическая церковь, призывая испан-

цев и португальцев-христиан к борьбе «за веру Христову» против арабов-мусульман, достигла исключительного могущества.

35. *Где крест, которым ты была сильна, // Когда предатель мстил за слезы Кавы...*— Население Пиренейского полуострова в момент нападения арабов не смогло дать должный отпор захватчикам. Успешное сопротивление оказалось лишь население горной Астурии. В 718 г. в битве при Ковадонге арабам было нанесено поражение. Вспыхнувшая в Астурии партизанская борьба положила начало Реконкисте.

Крест.— По преданию, в бою при Ковадонге у астурийцев вместо знамени был крест из астурийского дуба.

Слезы Кавы.— Вестготский полководец Юлиан, оборонявший форпост Сеута в северо-западной Африке, вступил в союз с наместником арабского халифа в Африке и способствовал внезапному нападению арабов на королевство вестготов, будто бы желая отомстить королю вестготов Родериху за насилие над его дочерью Флориндой-Кавой.

...полумесяц пал, крестом сражен...— В 1492 г. отвоеванием территории Гранадского эмирата (современная Андалусия) закончилась Реконкиста.

37. *К оружию, испанцы!*— Восстание в Аранхуэсе в марте 1808 г. и отречение Карла IV от престола вызвало всеобщий героический подъем и упорное сопротивление населения многих городов наступлению наполеоновской армии.

38. *Я слышу звон металла и копыт...*— В ноябре 1808 г. Наполеон двинул в Испанию огромную армию и начал новое наступление. 27—28 июля 1809 г. соединенная англо-португало-испанская армия в битве при Талавере близ Мадрида нанесла французам поражение, но ценою огромных потерь.

43. *О, поле скорбной славы, Альбуера!*— 16 мая 1811 г. англо-испанские войска вновь нанесли поражение армии Наполеона, но так же, как и в битве при Талавере, потери были огромны.

45. *Севилья*— население этого города капитулировало перед наполеоновскими войсками лишь в начале 1810 г.

Тир— крепость и важный порт древней Финикии. В историю вошла осада города войсками Александра Македонского в 332 г. до н. э., длившаяся более семи месяцев.

48. *«Да здравствует король!»*— точнее: «Да здравствует король Фердинанд VII»— пароль-лозунг, которым испанские патриоты выражали свое доверие Фердинанду VII— сыну отреченному от престола Карла IV.

Годой Мануэль (1767—1851)— испанский временщик; при Карле IV фактически управлял страной. В 1807 г. подписал договор с Францией о совместной войне против Португалии, на ос-

новании которого в ноябре 1807 г. наполеоновские войска двинулись на территорию Испании и фактически оккупировали страну.

...Карла рогоносного клянет, // А с ним его Луизу...— В годы правления Карла IV (1748—1819), страдавшего слабоумием, власть принадлежала придворной клике, которую возглавляла испанская королева Мария-Луиза и ее фаворит Годой.

49. *Здесь орды вражьи... // Андалусийский селянин встречал.*— В горах Сьерра-Морена, в Андалусии, значительная часть крестьян участвовала в партизанской войне против французских захватчиков. 19 июня 1808 г. в бою при Байлене двадцатитысячная французская армия была вынуждена сдаться окружившим ее отрядам партизан.

50. *Здесь, не надев на шляпу ленты красной...*— Красную кокарду носили испанские патриоты, которые требовали возвращения испанского короля Фердинанда VII, отрекшегося от престола по требованию Наполеона в пользу его брата Жозефа.

51. *С нагих высот Морены...*— Байрон проезжал через горы Сьерра-Морена до вторжения войск захватчиков, но население уже приготовилось к сопротивлению. «Были укреплены все проходы, через которые я проезжал на пути в Севилью»,— уточняет он в примечании к данной строфе.

54. *...Дочь Испании... с мужами рядом полетела.*— Среди защитников города Сарагоссы во время осады мужеством и отвагой прославилась девушка Августина, прозванная Сарагоссой.

61. *Парнас передо мной.*— Байрон посетил деревушку Кастри, стоявшую на месте древних Дельф, 16 декабря 1809 г.

64. *...горький мир твоей, о Греция, земли!*— Байрон имеет в виду четырехвековой гнет турецкого господства в Греции, завоеванной Османской империей в середине XIV в.

70. *...почтить священный Рог*— шуточный обычай «клятвы на рогах» в Англии.

85. *Ты был средь бурь незыблемой скалой...*— К началу 1810 г. наполеоновская армия была остановлена у стен Кадикса, население которого героически обороняло город более двух лет.

...суд был над изменником презренным.— Маркиз Солано, губернатор и главнокомандующий испанскими войсками, был расстрелян, как изменник, за отказ выполнить приказ Центральной хунты атаковать французский флот, стоявший на рейде близ Кадикса.

88—93. Эти строфы Байрон написал по возвращении в Англию, по следам событий.

89. *...вновь войска // Идут сквозь пиренейские проходы.*— Байрон говорит о битвах при Талавере (июль 1809 г.), при Барросе и Альбуере (май 1811 г.), в которых обе стороны понесли огромные потери.

...за ней воспряло больше стран, // Чем раздавил Писарро.— Национально-освободительная борьба испанского народа положила начало выступлениям против наполеоновской Франции в ряде других стран Европы.

Писарро Франсиско (ок. 1471—1541) — один из испанских конкистадоров, возглавлял завоевание огромной территории государства инков на западном побережье Латинской Америки.

Кито — древний индейский город в Южной Америке, население которого неоднократно восставало против испанского господства. 10 августа 1810 г. в Кито вспыхнуло восстание, положившее начало борьбе за независимость и образованию государства Эквадор.

91—92. *А ты, мой друг!* — Эти строфы Байрон посвятил памяти школьного товарища Джона Уингфильда.

93. *Там, где заморских варваров отряды // Бесстыдно грабили наследие Эллады.* — Байрон имеет в виду лорда Элджина (1766—1842), шотландского пэра, археолога-любителя. В бытность свою в Афинах в качестве дипломата добился разрешения «вывезти из Афин несколько кусков мрамора» и почти опустошил афинский Парфенон. Варварски разбивая на части архитектурные и скульптурные произведения, на нескольких кораблях вывез из Греции ценнейшую коллекцию памятников древнегреческой культуры.

ПЕСНЬ ВТОРАЯ

1. *Над Грецией прошли врагов знамена.* — После взятия турками Константинополя в 1453 г. и падения Византийской империи Греция в течение четырех веков была лишена национальной независимости.

Стр. 179. В автографе поэмы после седьмой строфы следует еще одна, развивающая и логически завершающая мысль поэта:

Угрюмый пастор! Не сердись, коль я
Не вижу жизни там, где ты желаешь;
Мне не смешна фантазия твоя;
Нет, ты скорее зависть мне внушаешь:
Так смело новый мир ты открываешь,
Блаженный остров в море неземном;
Мечтай о том, чего ты сам не знаешь;
О саддукействе спор не поведем:
Любя свой рай, ты всех не хочешь видеть в нем.

(Перевод П. О. Морозова)

Приведенная выше строфа была снята родственником поэта Р.-Ч. Далласом при первой публикации поэмы.

8. *Саддукей* — приверженец древнееврейской секты, основанной во II в. до н. э. в среде ортодоксального иерусалимского жречества. Саддукеи отрицали загробную жизнь и бессмертие души.

11. *Сын шотландских гор*.— Имеется в виду Элджин (см. прим. к 1, 93), который был шотландцем по происхождению.

12. *Пикты*.— Древнейшие кельтские племена. Здесь Байрон вновь имеет в виду Элджина.

14. *Ахилл*.— Байрон вспоминает предание о том, как король вестготов Аларих, захвативший и ограбивший в 395 г. Афины, был повергнут в ужас при виде появившихся на Акрополе Афины и Ахилла.

21. *Арион* — древнегреческий поэт и музыкант (VII—VI вв. до н. э.).

27. *Обитель Афона*.— Лесистые склоны горы Афон на юге полуострова Халкидика в Греции с VII в. были переданы в полное владение многочисленных монастырей.

30. *Флоренс*.— См. прим. к стихотворению «В альбом».

36. *...утописты наших дней*.— Байрон был современником великих социалистов-утопистов К.-А. Сен-Симона, Ш. Фурье и Р. Оуэна.

38. *Искандер*. // *Героя тезка*...— крупнейший военный и политический деятель средневековой Албании Георгий Кастриот-Скандербег (1405—1468). Служил в турецкой армии в качестве заложника, за выдающиеся военные способности получил титул бея и имя Искандер (по-турецки — Александр, в честь Александра Македонского. Отсюда: Искандер-бей — искаженное Скандербег). Бежал на родину и, возглавив борьбу албанского народа против ига Османской империи, объединил Албанию.

Калойер — греческий монах-отшельник.

39. *...скалу*... // *Где скорбной Сафо влажная могила*.— Знаменитая древнегреческая поэтесса Сафо (VII—VI вв. до н. э.), по преданию, бросилась в море с Левкадийской скалы.

40. *Левкады* — остров Левкас в Ионическом море.

Трафальгар.— Имеется в виду морское сражение у мыса Трафальгар на побережье Атлантического океана в Испании 21 октября 1805 г., в котором английская эскадра под командованием адмирала Нельсона (1758—1805) разгромила французский и испанский флоты.

Аквиум.— См. прим. к «Стансы, написанные у Амвракийского залива».

42. *Албания*.— В момент пребывания Байрона в Албании страна находилась под игом Османской империи. Фактически независимым государством были лишь земли на юге Албании с центром в городе Янина.

Пинд — горная система в Греции.

44. *Красный крест* — эмблема рыцарей-крестоносцев.

45. *...залив, где отдан был весь мир // За женщину*...— См. прим. к «Стансы, написанные у Амвракийского залива».

Продолжатель Цезаря.— Гай Юлий Цезарь был пожизненным

диктатором Рима. Самоубийство триумвира Марка Антония открыло Октавиану путь на трон первого императора Рима.

46. *Город побед* — Никополь, построенный Октавианом на берегу Амвракийского залива в честь победы при Акции.

Иллирийские долины — в древности область Иллирик на северо-восточном берегу Адриатического моря.

Доля Тампейский — живописная долина в Греции, в Фессалии, близ горы Олимп.

47. *Ахеруза* — озеро близ города Янины.

...лютый вождь Албанию гнетет... — Али-паша Тепеленский (ок. 1744—1822) — правитель фактически самостоятельного государства (1788—1822) в пределах Османской империи в западной части Балканского полуострова. С 1803 г., после жестокого подавления сопротивления племени сулиотов, государь Албании, Эпира, Морей с главным городом-цитаделью Яниной.

48. *Зигца* — деревня и монастырь близ Янины.

53. *Додона* — древнегреческий город в Эпире, центр культа Зевса.

55. *Томерит* — гора в Эпире между Яниной и побережьем Ионического моря. В древности носила название Томарос.

Лаос (точнее, Вайосе) — река в Северной Греции, на которой расположен город Тепелена.

58. *Шкипетар* — албанец.

Дели — почетное звание в турецкой армии.

63. *Гафиз* (точнее, Хафиз) — выдающийся ирано-таджикский поэт XIV в.

Анакреон (Анакреонт, ок. 570—478 гг. до н. э.) — один из крупнейших древнегреческих поэтов-лириков.

68. *Сулиоты*. — См. прим. к «Песни к сулиотам».

69. *Ахелой* — древнегреческое название реки Аспропотамос.

70. *Утракийский залив* — на побережье Ионического моря, севернее города Превезы.

71. *Паликары* — солдаты турецкой армии, говорящие по-ромейски (на новогреческом языке).

Стр. 197. *Тамбурджи* — барабан, барабанщик.

Киммериец — житель Химерских гор.

Стр. 198. *Паргийский пират*. — Парга — морской порт в Албании во владениях Али-паши Тепеленского.

Ты помнишь Превезу? — В 1798 г. город Превеза был отбит у Франции войсками Али-паши Тепеленского.

Селиктар — оруженосец.

74. *...за вольность бился Фразибул...* — Афинский политический деятель, сторонник рабовладельческой демократии, изгнанный из Афин в 403 г. до н. э. аристократическим по составу «советом

тридцати». Собрал сильный отряд и, овладев Афинами, избавил город от ненавистной олигархии «тридцати тиранов».

77. *Осман*.— Так называли малоазиатских турок, проживавших на территории Османской империи, которая была основана эмиром Османом I (1258—1326) и названа его именем.

Франки — племена западных германцев, образовавшие в V в. Франкское государство.

Ваххабиты — последователи Мухаммеда ибн Абдель Ваххаба (1703—1787) и участники религиозного движения среди бедуинов Неджа на Аравийском полуострове в середине XVIII в. В начале XIX в. подчинили государство Недж и Хиджас с городами Меккой и Мединой. Проповедуя единобожие и простоту, уничтожили храмы местных святых и снесли роскошные украшения с гробницы Магомета.

84. ...сыны Лакедемона — спартанцы.

88. *Марафон*.— Здесь Байрон говорит о Марафонской равнине в Аттике, на берегу моря, которую он посетил 25 января 1810 г.

89. «*Марафон*» (Марафонская битва) — первое крупное сражение во время греко-персидских войн (12 сентября 490 г. до н. э.), в котором греческие войска одержали победу над превосходящими силами персидского царя Дария I не только благодаря лучшему вооружению, но и ввиду непоколебимой стойкости воинов, отстаивавших независимость своей родины. Победа персов несла грекам рабство.

90. *Мидяне* (точнее, мидийцы) — жители раннерабовладельческого государства Мидия, завоеванного персами в VI в. до н. э.

93—98 строфы второй песни, так же как 8 и 9, написаны Байроном по возвращении в Англию в 1811 г.

95. *Любимая, кто всех мне заменила...*— Строфы 95—96 пост посвятил памяти любимой женщины, умершей после его возвращения в Англию. Ей посвящены стихотворения, в которых Байрон называет ее условным именем Тирза.

ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ

Песнь третью поэмы Байрон начал в первых числах мая 1816 г. Сохранилась лишь копия с подлинной рукописи песни третьей, выполненная Клер Клермонт — сводной сестрой Мэри Шелли, жены поэта П.-Б. Шелли. 10 июля 1816 г. эта копия, вместе с сопроводительным письмом Байрона, была вручена П.-Б. Шелли и, по приезде последнего в Лондон, передана издателю Дж. Мерри. Опубликована 18 ноября 1816 г.

Стр. 206. Эпиграф к песни третьей взят Байроном из письма Фридриха II, короля Пруссии (1740—1786), к Жану-Лерону Далам-

беру (1717—1783), философу, математику и филологу, потерявшему друга. Горе утраты можно облегчить лишь напряженным трудом над какой-либо сложной теоретической проблемой, утверждает Фридрих II.

1. *Ада* — Ада Августа Байрон, дочь поэта. Родилась 10 декабря 1815 г., умерла 27 ноября 1852 г. В последний раз Байрон видел ее в Лондоне 15 января 1816 г.

И вновь плыву... — Байрон покинул Англию во второй и последний раз 25 апреля 1816 г.

Строфы 17—45 были написаны Байроном под впечатлением посещения поля битвы Ватерлоо в апреле 1816 г., то есть менее чем через год после кровопролитного сражения.

17. *Ты топчешь прах Империи...* — Поражение наполеоновских войск в сражении при Ватерлоо привело к падению наполеоновской империи.

Но мир на самом страшном из полей // С победой получила лишь новых королей. — В годы реставрации и торжества дворянско-монархической реакции десятки новых королей и герцогов заняли троны во многих странах Европы.

18. *Ватерлоо.* — См. прим. к «Оде с французского».

...Влачит он цепь над бездною соленою... — После Ватерлоо Наполеон сдался в плен англичанам и был сослан на остров Св. Елены.

20. *...в миртах меч... меч Гармодия, меч Аристокигона!* — Гармодий и Аристокигон в 514 г. до н. э. убили тирана Афин Гиппарха кинжалами, спрятанными в ветках мирта.

21. *В ночи огнями весь Брюссель сиял...* — 15 июня 1815 г. в Брюсселе, с ведома командования союзных войск, был дан бал, на котором присутствовало значительное число офицеров английской и голландской армий. На рассвете 16 июня началась битва при Катр-Бра близ Брюсселя — пролог Ватерлоо.

23. *Брауншвейгский герцог* — Фридрих-Вильгельм (1771—1815), убит в битве при Катр-Бра. Отец герцога Карл Вильгельм Фердинанд (1735—1806) погиб в бою с наполеоновскими войсками при Ауэрштедте.

26. *«Кемроны, за мной!»* — боевая песня шотландского клана кемронов.

27. *Арденны.* — Байрон ошибочно называет лес Суаньи Арденским.

29. *Воспет их подвиг был и до меня...* — Байрон имеет в виду поэму В. Скотта «Поле Ватерлоо», опубликованную в 1815 г.

...один средь них — он мне родня, — // *Его отцу нанес я оскорбление...* — Фредерик Говард, родственник Байрона, погиб в бит-

ве при Ватерлоо. Его отца — лорда Карлейля поэт неумышленно задел в поэме «Английские барды и шотландские обозреватели».

36. *Сильнейший там... не худший пал.* — В строфах 36—46 Байрон говорит о Наполеоне.

...енювь ему корону возратил... — Байрон имеет в виду «Сто дней» пребывания Наполеона во Франции после бегства с острова Эльбы.

41. *Филлипа сын.* — Александр Македонский был сыном македонского царя Филлипа II.

Стр. 222. *Драхенфельс* — развалины замка на одной из Семи гор на Рейне.

56. *Кобленц* — город в Германии, во время Великой французской революции — центр контрреволюционной эмиграции.

Марсо Франсуа-Соверен (1769—1796) — генерал Французской республики, талантливый полководец. В бою близ Кобленца был смертельно ранен.

58. *Эренбрейтштейн* — крепость близ Кобленца. Безуспешная осада этой крепости войсками республиканской Франции длилась два года. Капитулировала лишь после вторичной осады в 1799 г.

63. *Морат* — небольшой город в Швейцарии. В сражении при Морате в июне 1476 г. ополчение городских и сельских кантонов Швейцарского союза, отстаивая независимость своей Федерации, нанесло сокрушительный удар войскам бургундского герцога Карла Смелого.

64. *Канны* — селение в юго-восточной Италии, где в годы второй Пунической войны произошла знаменитая битва (216 г. до н. э.), в которой карфагенский полководец Ганнибал (ок. 247—183 гг. до н. э.) добился полного окружения и разгрома римских войск.

Сопоставляя сражения при Ватерлоо и Каннах с битвами при Марафоне и Морате, Байрон отчетливо проводит границу между войнами завоевательными и войнами во имя независимости родины.

65. *Авентик* (точнее, Авентикум) — столица древнеримской провинции Гельвеция в Швейцарии.

76. *Он здесь рожден...* — Имеется в виду Жан-Жак Руссо (1712—1778).

77. *...Над книгой, полной чувств и мыслей новых, // Читатель слезы лил...* — Байрон говорит о романе Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761).

81. *...Народ, разбуженный Руссо с его друзьями.* — Так иносказательно вынужден говорить Байрон о Великой французской революции.

82. ...мир опять узрел насилья торжество.— Байрон писал эти строки во время разгула дворянско-монархической реакции в Европе, начавшейся после реставрации Бурбонов во Франции и заключения, в сентябре 1815 г., Священного союза между Россией, Австрией и Пруссией.

100. В Кларане все — любви бессмертной след...— В романе Руссо «Новая Элоиза» действие разворачивается в окрестностях швейцарского города Кларан.

105. Лозанна и Ферней...— Лозанна — город, где долгое время жил и писал свой труд «История упадка и разрушения Римской империи» английский ученый-просветитель Эдуард Гиббон (1737—1794). Ферней — поместье близ Женевы, принадлежавшее Вольтеру (1694—1778).

110. ...От войн, пресекиших дерзость Карфагена...— Имеются в виду три Пунические войны, которые велись между Римом и Карфагеном за господство в средиземноморском бассейне и длились с перерывами более ста лет (264—146 гг. до н. э.).

115—118. Ада Августа Байрон — талантливый математик; незадолго до кончины завещала похоронить ее рядом с отцом в семейном склепе Байронов в Хакнолл-Торкард.

ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Первый вариант песни четвертой поэмы, созданный Байроном в период с 26 июня по 17 июля 1817 г., составил сто двадцать шесть строф. С августа 1817 г. поэт начал писать дополнительные строфы и вплоть до начала весны 1818 г. работал над ними, добавив еще шестьдесят строф. Значительные по объему примечания к тексту этой песни, за немногими исключениями, были составлены другом поэта Джоном Кэмом Хобхаузом. Опубликована песнь четвертая 28 апреля 1818 г.

ПИСЬМО К ДЖОНУ ХОБХАУЗУ

Стр. 241. Хобхауз Джон Кэм (1786—1869) — друг Байрона, английский литератор и общественный деятель, путешествовал вместе с поэтом в 1809—1810 и в 1816—1817 гг.

Стр. 242. ...годовщина самого несчастного дня моей прошлой жизни...— 2 января 1815 г. день свадьбы Байрона.

...китайцу в «Гражданине мира» Голдсмита.— Оливер Голдсмит (1728—1774) — известный английский поэт, прозаик и драматург. Байрон упоминает его книгу «Гражданин мира, или Письма от китайского философа из Лондона своему другу на Восток», опубликованную в 1762 г.

Стр. 243. ...великие имена...— Канова Антонио (1757—1822) — итальянский скульптор; Монги Винченцо (1754—1828) — итальян-

ский поэт и драматург, сторонник национального единства Италии; *Уго Фосколо* (1778—1827) — поэт и публицист, горячо поддерживал французскую революцию, выступал за объединение и независимость Италии; *Пиндемонте* Ипполито (1753—1828) — поэт-патриот, боролся за независимость Италии; *Висконти* Эрмес (1751—1818) — итальянский патриот, журналист, критик; *Морелли* Микеле (? — 1822) — борец за независимость Италии, участник Неаполитанского восстания в 1820 г.; *Чиконьяра* Леопольдо (1767—1835) — критик и искусствовед; *Альбрицци* Изабелла (1769—1836). — Ее литературный салон служил местом встречи многих выдающихся деятелей Италии, в том числе карбонариев. Часто посещал ее и Байрон; *Медзофанги* Джузеппе (1774—1849) — знаменитый итальянский лингвист-полиглот; *Маи* Анджело, кардинал (1782—1854) — филолог; *Мустоксиди* Андреас (1787—1860) — греческий археолог; *Альетти* Франческо (1757—1836) и *Вакка* Андреа (1772—1826) — врачи.

Стр. 244. *Альфьери где-то сказал...* — Альфьери Вигторио (1749—1803) — выдающийся итальянский драматург, создатель итальянской трагедии классицизма.

Резня при Мон-Сен-Жан. — Так зашифровано Байрон был вынужден в 1818 г. упоминать о кровавой битве при Ватерлоо.

...преданы Генуя, Италия, Франция, весь мир... — Байрон говорит о периоде Реставрации и Священного союза после Венского конгресса 1814—1815 гг. — разгуде реакции.

...описали в произведении, достойном лучших дней нашей истории. — Байрон имеет в виду публикацию Джона Хобхауза «Содержание некоторых писем, посланных одним англичанином-резидентом в Париже в период последнего правления императора Наполеона», изданную в Лондоне в 1816 г. анонимно.

...отмена Habeas Corpus. — Имеется в виду английский закон о неприкосновенности личности, принятый английским парламентом в 1679 г. В 1817 г. его действие было временно приостановлено.

1. *Ponte dei Sospiri* (Мост вздохов; и тал.) — крытый мост в Венеции, соединяющий Дворец дождей с тюрьмой Сан-Марко.

3. *...смолк напев Торкватовых октав...* — Байрон говорит о некогда широко распространенном обычае венецианских гондольеров петь отрывки из поэмы великого итальянского поэта Торкватто Тассо (1544—1595) «Освобожденный Иерусалим».

Пьер, Шейлок и Отелло — герои произведений английских писателей, действие которых происходит в Венеции (Пьер — герой трагедии Томаса Отвея (1651—1685) «Спасенная Венеция», Шейлок и Отелло — герои пьес Шекспира «Венецианский купец» и «Отелло»).

10. *«Среди спартанцев был не лучшим он».*— Так ответила мать спартанского полководца Брасида чужеземцам, высказывавшим похвалы ее погибшему сыну.

11. *«Буцентавр»* — название корабля Венецианской республики, на котором в день Вознесения дож Венеции выезжал в открытое море и символически обручался с Адриатикой, бросая в море кольцо.
...папе неугодный, // Склонился император...— Германский император Фридрих I Барбаросса (ок. 1125—1190 гг.), отлученный римским папой Александром III от церкви, чтобы снять отлучение, был вынужден отправиться в Венецию, где находился папа, и проделать унижительную церемонию целования папской туфли в знак покорности воле папы.

12. *Шваб* — здесь: император Фридрих I Барбаросса.

Австриец — Франц I, австрийский император (1768—1835).

Дандоло — Дандоло Энрико, венецианский патриций, с 1192 г. дож Венеции. Раскрыл свой блестящий коммерческий гений, умело использовав междоусобную борьбу претендентов на престол византийских императоров в качестве повода для направления на венецианских кораблях рыцарских войск Четвертого крестового похода, не «ко гробу господню», но в Византию. В 1204 г. девятилетный Дандоло возглавил, под предлогом борьбы с вспыхнувшим в городе восстанием, штурм Византии, сопровождавшийся неслыханным разграблением города. Могущественный торговый конкурент был уничтожен, а венецианское купечество несметно обогатилось.

13. *Кони Марка* — четыре бронзовых позолоченных коня на главном портале собора св. Марка.

Дориа Пьетро — генуэзский адмирал. В 1370 г. на предложение Венеции заключить мирное соглашение с Генуей ответил, что генуэзцы «не даруют мира, пока не взнуздают коней св. Марка».

14. *«Рассадник львов».*— В Италии венецианцев называют «панталони». Байрон предполагал, что название это произошло от *pianta leone* «водружающие львов».

...от Европы турок отразила.— В морском сражении при Лепанто в 1571 г. объединенный флот Испании, Венеции и римского папы нанес турецкому флоту крупное поражение.

16. *Когда Афины шли на Сиракузы...*— Сицилийская экспедиция 415 г. до н. э.; пример неудачи завоевательных стремлений Афинской морской державы.

...Стих Еврипида, согни граждан спас.— Во время сицилийской экспедиции (415 г. до н. э.) попытка продвинуть сухопутные войска внутрь острова привела к захвату в рабство семи тысяч афинян. На смягчение своей участи могли надеяться лишь те афиняне, кто знал наизусть отрывки из популярных среди населения

Сицилии трагедий великого древнегреческого драматурга Еврипида (480—406 гг. до н. э.).

18. *Радклиф Анна* (1764—1823) — английская писательница. В ее романе «Удольфские тайны» действие происходит в Венеции.

27. *Фриулы* — отроги Альп севернее Триеста и северо-восточнее Венеции.

30. *Аркуа* — небольшое селение юго-восточнее Падуи, где находится могила великого итальянского поэта Франческо Петрарки (1304—1374).

35. *Феррара* — город в Северной Италии на реке По. Один из центров Возрождения. В Ферраре жили Л. Ариосто, Т. Тассо и другие выдающиеся итальянские поэты.

36. *Альфонсо II Эсте* (ум. в 1597 г.) — феррарский герцог. По его приказу Т. Тассо был объявлен безумным и на семь лет посажен на цепь в больнице св. Анны для умалишенных.

38. *...гневу Круски дал он много пищи...* — Круска — известная в Италии Academia della Crusca во Флоренции. Боролась за утверждение общепитальянского литературного языка на основе литературного языка великих поэтов-флорентийцев, но отметала живую народную речь. Некоторые ее члены высказывали резкие суждения в адрес Т. Тассо и его поэмы «Освобожденный Иерусалим».

Буало-Депрео Никола (1636—1711) — поэт и теоретик французского классицизма. Байрон не был согласен с критическими замечаниями Буало о поэзии Т. Тассо.

40. *«Божественной Комедии» создатель* — Данте Алигьери.

Южный Скотт. — Знаменитого итальянского поэта Ариосто Байрон сравнивает со своим современником (называя его, в свою очередь, «Наш Ариосто северный»), выдающимся английским писателем Вальтером Скоттом.

44. *Друг Цицерона* — Сервий Сульпиций Руф, римский консул, друг знаменитого оратора и политического деятеля Древнего Рима Марка Туллия Цицерона (106—43 гг. до н. э.). В письмах к Цицерону Сервий дал интересные описания мест, которые он посетил во время поездки по Греции. Ряд этих городов Байрон также посетил во время путешествия в 1809—1811 гг.

Мегара — главный город древнегреческой области Мегариды. *Пирей* — порт Афин.

Эгина — остров в Сароническом заливе Эгейского моря.

Коринф — город на северо-востоке полуострова Пелопоннес.

46. *...рухнула Рим...* — В 476 г. последний римский император был низложен, и Западная Римская империя пала.

48. *Этрурия* — область на северо-западе Апеннинского полуострова, населенная в древности этрусками; современная Тоскана.

Наследница Афин.— Байрон называет так Флоренцию, которая сыграла значительную роль в истории культуры и искусства Италии.

49. *Вилла.*— Байрон имеет в виду художественную галерею Уффици во Флоренции, где находится статуя Венеры Медицейской.

54. *Санта-Кроче* — церковь-усыпальница во Флоренции.

56. *...где три брата кровных?* — Байрон говорит о трех великих основоположниках итальянской литературы — Данте, Петрарке и Боккаччо.

...рассказчик ста новелл...— Джованни Боккаччо (1313—1375).

57. *Как Сципион, храним чужою сенью...*— Сципион Африканский Старший, Публий Корнелий (ок. 235—183 гг. до н. э.) — римский полководец. По преданию, обиженный неблагодарностью граждан Рима, остаток дней провел далеко от столиц.

...вдали твой Данте спит...— Данте, родившийся во Флоренции, умер в изгнании, похоронен в Равенне.

...лавр носил Петрарка не родной...— За поэму «Африка» Петрарка был увенчан лавровым венком в Риме.

...ограблен был... тобой.— Имущество отца Петрарки было конфисковано, а сам он изгнан из Флоренции вскоре после изгнания Данте.

58. *...надгробье снял ханжа презренный...*— Ненавидевшие Боккаччо церковники в 1783 г. уничтожили его гробницу.

59. *...Когда на имя Бруга лег запрет...*— Брут Марк Юний (85—42 гг. до н. э.) — римский политический деятель, республиканец, один из убийц Юлия Цезаря.

62. *Тразимена... хитрость Карфагена...*— В 217 г. до н. э., близ Тразименского озера в битве между армией Карфагена и римскими войсками втянутые в засаду и окруженные войска консула Фламиния были полностью разбиты армией Ганнибала.

65. *Сангвинетто* — окровавленный (и т. а.).

66. *Клитумн* — речка между Фолиньо и Сполетто.

69. *Велино* — река в Италии с известным водопадом Терни.

74. *Химари* — Химерские горы в Албании.

82. *...торжество Трехсот триумфов!* — Считают, что за всю историю Древнего Рима город был свидетелем трехсот двадцати триумфов — торжественных встреч полководцев-победителей.

85. *Кромвель* Оливер (1599—1658) — крупнейший деятель английской буржуазной революции XVII в. После казни короля Карла I стал лордом-протектором республики, единоличным правителем Англии.

В день двух побед был смертью награжден...— Байрон подчеркивает, что 3 сентября было фатальным числом в жизни

Кромвеля: в этот день в 1650 и 1651 гг. он одержал победы над королевскими войсками и 3 же сентября 1658 г. умер.

87. *...монумент Помпея, // Пред кем... пал Цезарь...*— Статуя в Палаццо Спада в Риме, возможно, портретная статуя Гнея Помпея (106—48 гг. до н. э.) — римского политического деятеля и полководца, противника Юлия Цезаря, но, очевидно, не та, около которой был убит Цезарь.

89. *...раб своих рабов.*— Байрон имеет в виду Наполеона.

90. *Гость Клеопатры.*— По преданию, влюбленный Цезарь долгое время оставался при дворе египетской царицы Клеопатры.

За пряхкой изменяющей Алкид...— Алкид (иначе Геракл) за убийство Ифита должен был три года служить рабом у лидийской царицы Омфалы, выполняя исключительно женскую работу.

Который вновь пойдет, увидит, победит...— «Пришел, увидел, победил» — донесение Цезаря сенату о победе над царем Фарнаком.

96. *...Каким... Колумбия, был воин твой и сын?* — Имеется в виду Симон Боливар (1783—1830) — один из руководителей национально-освободительного движения в испанских колониях в Южной Америке.

97. *...сатурналия резни...*— Байрон вспоминает Ватерлоо.

...рабству мир себя обрек...— Так называет Байрон годы Реставрации и Священного союза в Европе.

99. *...мрачный бастион* — мавзолеей Цецилии Метеллы, жены римского триумвира Красса; в средние века был перестроен и превращен в бастион.

101. *Корнелия* — мать братьев Гракхов, Тиберия и Гая, возглавивших движение за проведение аграрной реформы в Древнем Риме (II в. до н. э.).

110. *И там святой стоит, // Где император был умерший не зарыт.*— В 1587 г. статуя римского императора Траяна Марка Ульпия (53—117 гг. н. э.) была снята с колонны и вместо нее установлена статуя св. Петра.

114. *Риенци Кола ди (1313—1354)* — итальянский политический деятель, возглавивший восстание 1347 г. в Риме.

132. *...Чтобы Ореста... // Свершившего неслыханное дело...*— Орест, согласно древнегреческой легенде, сын Агамемнона и Клитемнестры. Убил мать в отмщение за то, что она вместе со своим возлюбленным Эгистом убила его отца, Агамемнона.

152. *Башня Адриана* — гробница римского императора Публия Элия Адриана (76—138 гг. н. э.), возведенная в 135—140 гг. н. э.

153. *Храм Дианы* — один из прекраснейших памятников древнегреческой архитектуры в городе Эфесе в Малой Азии. По преданию, был сожжен Геростратом с целью прославиться.

153—157. Здесь Байрон говорит о соборе св. Петра в Риме.

167. *Мать-принцесса*.— Байрон говорит о смерти английской наследной принцессы Шарлотты, умершей в 1817 г.

173—174. *Неми и Альбано* — озера к югу от Рима.

174. *Лациум* (точнее, Лаций) — в древности область Центральной Италии, включавшая Рим и населенная латинами.

«Меч и муж».— Поэма Вергилия «Энеида» начинается со слов: «*Arma virumque canō*» («Оружье пою и мужей»).

175. *Пролив Кальп* — Гибралтар.

Эксинский Понт — Черное море.

176. *Симплегады* — две скалы в Босфорском проливе. По преданию, когда между ними проходил корабль, могли сдвинуться и уничтожить его.

ГЯУР

Поэма написана в мае—ноябре 1813 г. Изменения и дополнения к тексту поэт вносил по мере выхода в свет нескольких изданий: с первого издания (5 июня 1813 г.) по седьмое (27 ноября 1813 г.) объем поэмы вырос от 685 до 1334 строк.

Стр. 298. *Мур* Томас (1779—1852) — английский поэт, родом ирландец. В качестве эпиграфа взята строфа стихотворения Мура «*As a beam o'er the face of the waters may glow*» из известного цикла «Ирландские мелодии».

Роджерс Сэмюэл (1763—1855) — английский поэт, автор поэмы «Утехи памяти», которую Байрон высоко оценил в сатире «Английские барды и шотландские обозреватели».

Семь Островов...— Острова Корфу, Левкас, Кефалония, Закинф и другие в Ионическом море принадлежали Венеции с начала XIII в. до 1797 г.

...после вторжения русских...— в феврале 1770 г. (во время русско-турецкой войны 1768—1774 гг.) русская эскадра, для отвлечения турецкой армии с Дунайского фронта, прибыла в Коронский залив и поддержала восстание греков в Майне, на юго-западе Морей. Плохо вооруженные повстанцы смогли захватить лишь главный город Майны Мизитру, после чего первое национально-освободительное восстание греков было потоплено турками в крови.

Арнауты — воины-албанцы, совершавшие в годы турецкого владычества вооруженные набеги на Морюю.

Стр. 299. *...памятник герою*...— «Памятник на выдающейся в море скале некоторые принимают за гробницу Фемистокла». [Прим. Байрона.] Фемистокл (525—461 гг. до н. э.) — выдающийся государственный деятель Афин, во многом способствовал победе греков над персами в 480 г. до н. э.

...с высот *Колонны*.— Колонна — мыс на побережье неподалеку от Афин.

Стр. 301. *Страны той низким палачам*.— То есть турецким завоевателям.

Стр. 302. *Саламин* — остров близ Аттики, где в 480 г. до н. э. в морском сражении греческий флот разбил более сильный флот персидского царя Ксеркса.

Стр. 304. *К скалам Леоне*...— То есть в сторону порта Пирей.

Стр. 306. *Джирит* (точнее джеррид) — турецкое копьё.

Стр. 312. *Фингари* — луна.

Стр. 313. *Эль-Сират* — по представлениям мусульман, мост над адом, уже паутинки и острее лезвия меча, по которому идет путь в рай.

Стр. 315. *Пик Лиакуры* — гора Парнас.

Чауш — посыльный, курьер (т у р.)

Стр. 319. *Алла-Гу* — последние слова призыва к молитве у мусульман.

Стр. 320. *Монкир* — Монкир и Некир — судьи мертвых, подготавливающие их к вечной муке. Если на их вопросы подсудимый отвечает неудовлетворительно, его режут косой и бьют раскаленной булавой. [*Прим. Байрона.*]

Эблис — одно из имен сатаны.

КОРСАР

Поэма создана Байроном в очень краткий период времени — с 18 по 31 декабря 1813 г. Первое издание вышло в свет 1 февраля 1814 г.

ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ

Стр. 372. *На луч такой над крышами Афин // Глядел, прощаясь, их мудрейший сын*...— Приговоренный к смерти Сократ (ок. 469—399 гг. до н. э.) выпил яд, не ожидая захода солнца.

Стр. 373. *Киферон* — горный кряж в Греции.

Стр. 374. *Циклады* (Киклады) — группа островов в Эгейском море.

ЛАРА

Рукопись поэмы датирована 14 мая 1814 г., опубликована 6 августа 1814 г.

О. Афонина



СО Д Е Р Ж А Н И Е

<i>М. Кургиян. Путь Байрона-художника</i>	5
---	---

СТИХОТВОРЕНИЯ

1802—1824

К Э... <i>Перевод В. Левика</i>	25
Прощание с Ньюстедским аббатством. <i>Перевод Г. Усовой</i>	26
Отрывок, написанный вскоре после замужества мисс Чаворт. <i>Перевод А. Блока</i>	27
Воспоминание. <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	27
Сердолик. <i>Перевод В. Брюсова</i>	27
К М. С. Г. <i>Перевод А. Голембы</i>	28
Строки, адресованные преподобному Бичеру в ответ на его совет чаще бывать в обществе. <i>Перевод Л. Шифферса</i>	29
Дамет. <i>Перевод А. Блока</i>	31
Джорджу, графу Делавару. <i>Перевод В. Рогова</i>	31
К Элизе. <i>Перевод А. Ибрагимова</i>	32
Гранта. <i>Перевод В. Васильева</i>	33
Подражание Катуллу. <i>Перевод А. Блока</i>	36
Стихи, посвященные леди, приславшей автору локонов его и своих волос, перевязанных вместе, а также назначившей ему свидание в своем саду декабрьской ночью. <i>Перевод В. Васильева</i>	37
Лохнагар. <i>Перевод А. Сергеева</i>	38

К Анне. <i>Перевод В. Рогова</i>	39
К леди. <i>Перевод М. Донского</i>	40
«Когда б я мог в морях пустынных...». <i>Перевод В. Левика</i>	41
К Музе вымысла. <i>Перевод В. Брюсова</i>	42
Стихи, написанные под старым вязом на кладбище Харроу. <i>Перевод В. Левика</i>	44
К моему сыну. <i>Перевод В. Левика</i>	45
Расставание. <i>Перевод С. Маршака</i>	46
«Шет времени тому названья...» <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	47
«Умру, оплаканный тобой...» <i>Перевод А. Ибрагимова</i>	48
«Зачем напоминаешь вновь...» <i>Перевод А. Ибрагимова</i>	49
Ты счастлива. <i>Перевод А. Плещеева</i>	50
Даме, которая спросила, почему я весной уезжаю из Англии. <i>Перевод В. Левика</i>	51
«Прости! Коль могут к небесам...» <i>Перевод Ю. Лермонтова</i>	51
Стансы к некой даме, написанные при отъезде из Англии. <i>Перевод В. Рогова</i>	52
Наполняйте стаканы! <i>Перевод В. Левика</i>	53
Строки мистеру Ходжсону. <i>Перевод Ю. Петрова</i>	54
Девушка из Кадикса. <i>Перевод Л. Мея</i>	56
В альбом. <i>Перевод М. Лермонтова</i>	58
Стансы, написанные у Амвракийского залива. <i>Перевод Т. Гнедич</i>	58
Написано после того, как я проплыл из Сестоса в Абидос. <i>Перевод Ю. Петрова</i>	59
Эпитафия самому себе. <i>Перевод А. Арго</i>	60
Песня греческих повстанцев. <i>Перевод С. Маршака</i>	60
Стихи, написанные при расставании. <i>Перевод А. Сергеева</i>	61
Прощанье с Мальтой. <i>Перевод А. Сергеева</i>	62
Послание другу в ответ на призыв быть веселым и «гнать печаль». <i>Перевод А. Парина</i>	63
К Тирзе. <i>Перевод В. Левика</i>	65
«Нет, не хочу ни горьких слов...» <i>Перевод В. Левика</i>	66
«Еще усилье — и постылый...» <i>Перевод В. Левика</i>	67
Эвтаназия. <i>Перевод В. Левика</i>	69
«Мертва! Любимой, молодой...» <i>Перевод В. Левика</i>	70
«Когда твой образ в шумный день...» <i>Перевод В. Левика</i>	72
Ода авторам билля против разрушителей станков. <i>Перевод А. Парина</i>	74
Строки к плачущей леди. <i>Перевод А. Арго</i>	75
Любовь и золото. <i>Перевод А. Сергеева</i>	75
К времени. <i>Перевод Т. Гнедич</i>	76
На вопрос о возникновении любви. <i>Перевод В. Левика</i>	77
«Не забывай того, кто властно...» <i>Перевод А. Сергеева</i>	78

Экспромт в ответ другу. <i>Перевод А. Ибрагимова</i>	79
Сонет к Дженовуре. <i>Перевод А. Сергеева</i>	79
Подражание португальскому. <i>Перевод И. Козлова</i>	80
На посещение принцем-регентом королевского склепа. <i>Перевод С. Маршака</i>	80
Ода к Наполеону Бонапарту. <i>Перевод В. Брюсова</i>	81
Стансы для музыки («Как имя твое написать, произнести?..») <i>Перевод А. Ибрагимова</i>	86
Она идет во всей красе. <i>Перевод С. Маршака</i>	87
Юлиан (<i>Отрывок</i>). <i>Перевод Вяч. Иванова</i>	88
Валтасару. <i>Перевод Б. Томашевского</i>	89
«Убита в блеске красоты!..» <i>Перевод В. Левики</i>	90
Душа моя мрачна. <i>Перевод М. Лермонтова</i>	91
Ты плачешь. <i>Перевод С. Маршака</i>	91
Ты кончил жизни путь... <i>Перевод А. Плещеева</i>	92
Видение Валтасара. <i>Перевод А. Полежаева</i>	92
Солнце бодрствующих. <i>Перевод А. Ибрагимова</i>	94
Поражение Сеннахериба. <i>Перевод А. Толстого</i>	94
Стансы для музыки («Блаженства нас лишает мир — и ничего взамен...») <i>Перевод А. Парина</i>	95
На бегство Наполеона с острова Эльбы. <i>Перевод А. Арга</i>	96
Ода с французского. <i>Перевод В. Луговского</i>	96
Звезда Почетного легиона. <i>Перевод В. Иванова</i>	99
Прости. <i>Перевод И. Козлова</i>	101
Стансы («Ни одна не станет в споре...») <i>Перевод Н. Огарева</i>	103
Стансы к Августе («Когда сгустилась мгла кругом...») <i>Перевод В. Левики</i>	103
Стансы для музыки («Нам говорят: «В надежде — счастье...») <i>Перевод А. Ибрагимова</i>	105
Стансы к Августе («Когда время мое миновало...») <i>Перевод Б. Пастернака</i>	105
Сон. <i>Перевод М. Зенкевича</i>	106
Тьма. <i>Перевод И. Тургенева</i>	112
Прометей. <i>Перевод В. Левики</i>	114
Послание Августе («Сестра! Мой друг сестра! Под небесами...») <i>Перевод В. Левики</i>	116
Строки, написанные при получении известия о болезни леди Байрон. <i>Перевод Г. Шмакова</i>	120
Венеция (<i>Отрывок</i>). <i>Перевод М. Донского</i>	122
Песня для луддитов. <i>Перевод М. Донского</i>	123
«Не бродить нам вечер целый...» <i>Перевод С. Маршака</i>	123
Томасу Муру. <i>Перевод Л. Шифферса</i>	124
Поединок. <i>Перевод А. Сергеева</i>	124
Стансы к реке По. <i>Перевод А. Ибрагимова</i>	126

Стансы («Когда б нетленной...») <i>Перевод А. Парина</i> . . .	128
В день моей свадьбы. <i>Перевод С. Маршака</i>	130
Эпитафия Вильяму Питту. <i>Перевод Н. Холодковского</i> . . .	130
Эпиграмма на Вильяма Коббета. <i>Перевод С. Маршака</i> . . .	131
Стансы («Кто драться не может за волю свою...») <i>Перевод С. Маршака</i>	131
Эпиграмма на адрес медников, который общество их намеревалось поднести королеве Каролине, одевшись в медные латы. <i>Перевод Н. Холодковского</i>	131
Из Марциала. <i>Перевод С. Маршака</i>	131
На смерть поэта Джона Китса. <i>Перевод С. Маршака</i> . . .	132
Стансы, написанные по дороге между Флоренцией и Пизой. <i>Перевод Б. Лейтина</i>	132
На самоубийство британского министра Кэстелри. <i>Перевод С. Маршака</i>	133
Графине Блессингтон. <i>Перевод З. Морозкиной</i>	133
Стансы на индийскую мелодию. <i>Перевод А. Парина</i>	134
Аристомен (<i>Отрывок</i>). <i>Перевод М. Донского</i>	134
Песнь к сулнотам. <i>Перевод А. Блока</i>	135
Из дневника в Кефалонии. <i>Перевод А. Блока</i>	135
Последние строки, обращенные к Греции. <i>Перевод Г. Шмакова</i>	136
Любовь и смерть. <i>Перевод А. Блока</i>	136
В день, когда мне исполнилось тридцать шесть лет. <i>Перевод З. Морозкиной</i>	137

ПОЭМЫ
1812—1814

Паломничество Чайльд-Гарольда. <i>Перевод В. Левика</i> . . .	141
Гяур. <i>Перевод С. Ильина</i>	298
Корсар. <i>Перевод Ю. Петрова</i>	338
Лара. <i>Перевод В. Топорова</i>	391
Комментарии <i>О. Афониной</i>	425

Байрон Джордж Гордон

- Б17** Сочинения. В 3-х томах. Редакционная коллегия О. Афонина, М. Кургиняв, В. Левик. Т. 1. Стихотворения. Поэмы. Пер. с англ. Вст. статья М. Кургиняв. Коммент. О. Афиной. М., «Худож. лит.», 1974.

464 с.

В первый том трехтомного издания сочинений великого английского поэта Дж. Байрона вошли его лучшие стихотворения 1802—1824 гг. и четыре широко известные поэмы, написанные в период 1812—1814 гг.: «Паломничество Чайльд-Гарольда», «Гяур», «Корсар» и «Лара».

Б— $\frac{70404-121}{028(01)74}$ 158—74

И(Англ)

Байрон Джордж Гордон

Том 1

Редактор

Н. Будаев

Художественный редактор

Л. Калитовская

Технический редактор

О. Ярославцева

Корректоры

Т. Кузина, Г. Цветкова

Сдано в набор 27/IX 1973 г.

Подписано к печати 22/II 1974 г.

Бумага типогр. № 1. Формат 84×108^{1/16}.

14,5 печ. л. 24,36 усл. печ. л.

24,46 + 1 вкл. = 24,49 уч.-изд. л.

Тираж 100 000 экз. Заказ № 702.

Цена 1 р. 02 к.

Издательство

«Художественная литература»

Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Киевская книжная фабрика

республиканского производственного

объединения «Полиграфкнига»

Госкомиздата УССР, ул. Воровского, 24.

